



ЮНОСТЬ

7

1964



Роберт Рождественский

Назым

А у Назыма был голос протяжный.
Руки добрые были у Назыма.
У Назыма был характер бродяжий,
а в глазах была веселая сила.
Что любил он?
Он любил час, в который
можно лишь необъяснимо
проснуться и увидеть город —
странный, готовый
от мальчишечьего солнца
задохнуться...
Он с друзьями любил
за стол усестяся,
смаковал вина грузинского
терпкость.
Говорил:
«Пью за врачей!
За то, что сердца,
пусть обычного, они не могут
сделать...»
Только разве он бы смог
жить с обычным?!

Нет.
Конечно, не смог бы.
Это ж ясно...
Он любил погарцевать
в тосте пышном.
Он придумывал шутки.
И смеялся, как ребенок,
шоколадку нашедший,
на два города тепло
излучая...
А еще он любил
добрых женщин.
(Правда, злые
ему тоже встречались.)

Называли добряком его
инные.
Называли чудачком его
нервным.
Я не буду спорить,
но вижу поныне:
чудачком он не был,
добряком не был.
Человеком и поэтом был.
Всего лишь.
Человеком и поэтом.
И только...
Если он говорил о ком-то:
«Сволочь!» —
значит, это была сволочь.
Точно!..
Говорят, что были проводы
щемящи.
Невесомые цветы
легли на плечи.
И звучали похоронные
наши.
И текли заупокойные
речи.
Он не слушал.
Он лежал.
Смотрел на солнце.
И не шуря глаз,
наивных и дерзких.
Было гулко.
Было очень высоко.
Так высоко, как бывает
только в детстве...
Потеряла женщина
мужа.
Потеряла женщина
сына...
Я не верю
в эту смерть.
Потому что
как же может
Земля
без Назыма?



«Поэтам что!
Они
в хрустальных башнях,
Они на мир
взирают
смысока.
Они
нигде не значатся
в «опасных»,
им
только вечность звездная
близка...»
И человек
наслушавшись
про это,
все сравнивая
с собственной судьбой,
встречает
неожиданно
поэта
и говорит:
«Давай, приятель,
пой!
Чего молчишь?
Приятно и спокойно
по клавишам души
пройдись
едва.
И выдумай
про что-нибудь
такое
красивые-красивые
слова...
Начни, дружок...»
А солнце
в море
тонет.
Тревожны и темны
глаза Земли.
И колются
слова.
И на ладонях
от этих слов
аспугают
воздыри.

Тугой закат
на горизонте медлит.
С тяжелым звоном
колосится хлеб.
И люди
над газетами
немеют,
раздумья
кулаками
подперев.
Рокошет эхо
отдаленных гулов.
слепые ливни
по асфальту
бьют...
И вырастают
мальчишки
из курток
и трудные
вопросы
задают...
Но если б только это!
Если б только!..
«Начни, дружок!
Давай, приятель,
пой...»
И все ж таки
за этот мир
жестоким
нам
говорить!
Нам отвечать
с тобой!
И страшно жить на свете
и не страшно...
Звезда зажглась
в немнслимой
дали...
«Поэтам» что!
Поэты
жили
раньше.
Мы
не такие.
Мы —
поводыри.

Перед праздником

Кумачи
вихрастые
утром
запылают...
Пахнет
свежей краскою
и мытыми
полами.
Спящий город
прячет
настроенье
свадебное.
Спят
гирлянды лампочек,
в полусне
позванивая.
Спит,
забывшись с вечера,
лейтенант старательный.

Форма
спит на плечиках —
летняя,
парадная
В танцевальных залах
пусто
и непесенно...
Завтра,
завтра,
завтра
радиолы
взбесятся!
Завтра
будет выдано
и струнное
и медное!
Завтра
будет
выпито

Танцуют индейцы

Под Лос-Анжелосом есть парк аттракционов — Диснейленд (Земля Диснея). В одном из уголков парка построено бутафорское индейское поселение. Десять раз в день, в начале каждого часа, из вигвамов выходит индейцы, одетые в свои национальные костюмы, и исполняют боевой танец.

Бум!	Кто не убит,	тот, как мертвый,
Это не костюмированный бал.	спит...	
Бум!	Мы остановились.	
Это грянул боевой барабан.	Мы глядим,	
	удивясь.	
Бум!	Ах, какая шелковая кожа	у вас!
Он рокочет, как размеренный пульс...	Ах, какие волосы	
Вот в него влетаетсызвяканье бус.	у ваших жен!...	
В барабанном рокоте слышится мне:	А если по шелковой коже — ножом?!	
наши предки жили в этой самой стране.	А если бы, а если — посреди тишины — снова позвала бы нас	тропа войны,—
Мы сейчас шагаем по отцовским гробам...	как бы над росой свистел томагавк!	
	Ах, какие скальпы дымидись бы в руках!	
Громче, барабан!	Наши барабаны выбивали бы такт...	
Чаше, барабан!	Не бойтесь.	
Будто бы, будто бы все, как тогда,—	Не будем.	
наша земля.	Это мы...	
Наша вода.	так...	
Наши вигвамы у Зеленой горы.	Это на секунду нас обожгла жаркая кровь	
За этими деревьями — наши костры!...	Справедливого Орла...	
Шли мы на охоту, как река из берегов.	Мы нарежем ленты из березовой коры.	
Только по скальпам считали мы врагов, мы,	Смейся, бледнолицый!	
люди из племени Справедливого Орла...	Мы — дикари.	
Смейся, бледнолицый!	Будем сниться детям твоим по ночам...	
Твоя взяла.	Видишь, это пляшет наша печаль!	
Смейся, бледнолицый!	Танец наш древнее, чем отцовский вигвам.	
Кричи, воронье!...	Он скорей всего не понравится вам.	
Это ты здорово придумал — ружье.	Пусть!...	
Это ты здорово придумал — ширт.	Но заплатите хотя бы за то, что мы здесь жили прежде.	
	А больше — никто.	





А л е к с а н д р Я ш и н

Улыбка

А тебе улыбка идет.
Улыбайся почаще, милая!
Обладаешь ты редкой силою,
Ни к чему тебе красить рот.

Чуть раздвинутся уголки —
Вся земля озарится дó неба.
Разнаряженные дурачки
Разве смыслят в девушках
что-нибудь?

На кругу выходи вперед —
Что тебе их мода постылая?

Улыбайся почаще, милая,
Так улыбка тебе идет!

Теплоты и света полна,
И участливая, и беспечная,
Задумчивая,
Добросердечная,
Очень людям нужна она.

Счастье ждет тебя у ворот,
Красота твоя не бескрылая.
В мире много еще непогод,—
Улыбайся почаще, милая!

Покормите птиц

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна.
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло,

Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Зазимовавшая ласточка

(Из Георгия Леонидзе)

В осень похолодавшую
Жалко невыразимо
Ласточку зазимовавшую,
Жизнь, пролетевшую мимо.

Где уж мечтать об Индии!
Не улетила птаха.
Даже тростник заиндевел —
Песнь замерла от страха.

Кончится жизни горение —
И нет тебя на примете,

Не одолжишь мгновения
Ни у кого на свете.

Время смыкает начисто
Горе и радости буден.
Зазимовавшая ласточка
В небе парить не будет.

И никого не утешу я:
Станет землей и дымом
Ласточка неулетевшая,
Жизнь, пролетевшая мимо.

✱

Думалось, не прибратся —
Сору в избе полно.
Может, и не стараться,
Не справиться все равно...

Словно завоеватели
Ночь провели на полу —
Что тебе под полатями,
Что тебе в красном углу.

А помахала веничком,
Тряпкой сырой прошлась —
И оказалось, маненечко,
Ладно, что принялась.

Все уместилось в горсти,
Стояло лишь
Подмести!

Беличы свадьбы

Начинаются беличы свадьбы.
Бор в спящем морозном огне,
Не положено, а летать бы
По сосновым верхам и мне.

От возни на земле отрешиться,
От чужих отмахнуться забот,
Ни за что не болеть,
Ничего не страшиться,
Жить, как ветер в вершинах живет.

Небо зыбко, и сучья хрупки,
Но ведь тем и свята простота,

Что в глазах только беличьи шубки
Да манящие вспышки хвоста.

Я скольжу за колхозные гумна,
Оседает под лыжами снег.
Птицы с веток срываются шумно
И ныряют в сугроб на ночлег.

Как все просто в березнике частом,
Снова ростепель входит в права...
Не погибли бы только над настом
Простодушные тетерева.

Кто рассудил?

Счастливая ты на диво —
У южного моря росла,
Приливы его и отливы
В глаза свои вобрала.

Навеки в воспоминаниях
Соленый девятый вал
И каменное сияние
Перекаленных скал.

А у меня все детство,
Все радости ранних лет
Прошли с тайгой по соседству,
Где озера даже нет.

Где зимы длиннее лета,
На пажитях рябь хвоща...
Но светом земли согрета
Была и моя душа.

Не море ли рассудило,
Что до скончания дней
Нам встретиться нужно было,
Чтоб счастье стало полней?

Не хвойным ли то сузёмам
Потребовалось вдруг,
Чтоб в нашем с тобой доме
Сроднились север и юг?

Чего боюсь

Вот, кажется, не боюсь ни черта.
А ночью в лесу, когда тени густы,
В груди появляется вдруг пустота,
Как перед прыжком с большой высоты.

Из-за чего бы,
Ведь я один —
Ни ветра в верхих,
Ни возни в кустах...
Но из каких-то тайных глубин,

Из недр души поднимается страх.
Отчаянным называют меня,
Быть может, и впрямь я таким кажусь,
Был на войне —

не бежал от огня...
Так почему ж темноты боюсь?
Иль неизвестность пугает меня?

Как клеветы,
Темноты боюсь.

Спасибо солнцу

На восходе
вершины сосен
вспыкнули под солнцем,
и у каждой образовалась своя
корона.

Солнце понесло огонь свой по лесу,
по речным сенокосам,
по всей земле —
и все на земле
старалось уподобиться ему.
Папоротники,
еще не просохшие от росы,
развернувшись, будто солнечные
кокошники.

Водяная струя под берегом
превратилась в лучистый зонтик,
и по краям его заиграла радуга.
У рижей волнушки
пушистая юбочка с оборками
стала походить
на солнечные протуберанцы.
Подсолнух — солнце,
кружевная паутинка — солнце,

колесо у колодца — солнце.
Даже старый глухарь,
распустив хвост,
выдавал себя за восходящее
светило.

Птицы запели на все голоса,
восхваляя солнечный свет.
Все поклонялось ему одному.
Кому же и поклоняться в этом мире,
как не солнцу?

И я,
выйдя из своего охотничьего домика
на Бобришном угоре,
повернулся лицом к реке,
которая внизу текла тоже, как солнце,
снял кепку и сказал ему, огнеликому:
— Нет, человек пронзошел не от
обезьяны.

Мне хорошо с тобой, солнце.
Спасибо тебе!

1963 г.

Маленькая
повесть

Рисунки В. Юдина.

Фото 1944 г.



Западня

Первая атака сорвалась. Охватив подковой высоту, рота пробовала взорваться в траншею на самой ее вершинке, но не дошла даже до середины склона. Шквальный огонь немецких пулеметов заставил автоматчиков залечь на голом, скованном утренним морозом косяке. Вскоре бойцы поняли, что здесь им не удержаться, и перебежками вернулись туда, откуда начали атаку.

Это был глубокий, без единого кустика овраг с редкими пятнами еще не растаявшего грязного снега и замерзшим ручьем посередине. Он укрывал от огня, от неослабевающего напора студеного мартовского ветра и давал возможность подготовиться к новой атаке. Немного отдышавшись, ротный — капитан Орловец — позвал к себе командиров взводов и, недовольный и рассерженный, их на кого ни разу не взглянув, начал:

— Бабил! Клопы! Заморыши! Какой только дурак вам автоматы дал!

Натянув на голову воротник полушубка, он лежал на склоне оврага и, держа в зубах цигарку, высекал «катушей» искру. Обломок напильника тупо лязгал о камень: капитан большим пожилейшим ногтем прижимал к нему трут — пучок белых ниток, выдернутых из брезентового поясного ремня. Орловец злился, не попадая по нужному месту, и слабая зеленоватая искорка, едва сверкнув под кресалом, тут же гасла. Трут никак не загорался.

Капитану никто не отвочал — ни связист Капустин, курносый, глазастый парень, который копошился рядом, у обшарпанного телефонно-



го ящика, встав от стужи голову в широкий расстегнутый ворот шинели, ни молчаливый, хмурый с виду младший лейтенант Зубков, сидевший несколько ниже ротного на полё своей еще не обношенной шинели с новенькими, но уже помятыми погонами. Молчал и лейтенант Клименченко.

— Черта с два от нее прикуришь! А ну, высекай сам! — рассердился Орловец и бросил связиста его нематериальную заминку. Связист молча отложил в сторону трубку и, заслонившись от ветра, начал лязгать кресалом. Капитан вынул изо рта сигарку.

— Третий взвод отстал, первый растащился, как кишка, порядка никакого! Вы командиры или пастухи, черт бы вас побрал! — говорил он, нахмурив брови и рассерженно глядя на взводных. Зубков от этих слов еще больше сжался, а Клименченко вдруг швырнул в овраг кусок мерзлой земли.

— А что вы кричите? Мы что, по рву отсиживались? Или трусились? Или, заняв высоту, назад драпанули? Фриц вон — подойти не даст... — махнул рукой в сторону высоты Клименченко. — Его и ругай-те!

Капитан злобно взглянул на лейтенанта.

— Ты это что? — выдавил он угрожающе и в то же время будто недоумевая от дерзости подчиненного.

Связист зажег трут и, приподнявшись на коленях, протянул его капитану. Но Орловец в гневе будто не замечал этого, и ветер напрасно рвал в воздухе тоненькую струйку дыма.

— Ты что, митинговать вздумал?

Лейтенант поднял воротник своего иссеченного осклакиванному полушубка, из дырок которого торчали серые клочья шерсти.

— А то! Хватит на чужом горбу в рай ехать! — запальчиво сказал Клименченко и отвернулся. На круглом молодом лице его, с крутым подбородком и широким под нижней губой, отразились обида и злость. Ротный сплел с обрыва на каких-нибудь три шага и, перепоясанный ремнями, стал напротив взводного.

— Это кто едет! Я еду? Да?

— Да и вы не прочь! — бросил Клименченко.

Он не боялся капитана, хотя знал его крутой нрав, и держался уверенно, потому что сам волеал в этой роте всю зиму, знал каждого бойца так же, как и они знали и ценили его. А Орловец был тут человек новый, и хотя в трусости его никто не упрекнул бы, но все же бойцы недолюбливали капитана за его излишнюю крикливость.

Клименченко искоса взглянул на ротного. Однако первая вспышка гнева в нем уже миновала, и взводный, стараясь сдерживать себя, начал жалобливо сбивать с обрыва мерзляки; комья земли, подсакивая, наперегонки катились и замерзшему ручью. Ротный, стоя рядом и сдвинув брови на худом, почерневшем от стужи и щетины лице, сквозь зубы угрожающе бросил:

— Попридержал бы язык, болтун!

Клименченко вскинул голову.

— Ага! Правда глаза колот!

— Ах, правда! — вскриел Орловец. — Так и я тебе скажу правду! Твой взвод — самый худший! Самый разболтанный. Он задержал роту. Он сорвал темп наступления!

Клименченко вскокил на ноги, локтем толкнул назад туго набитую кирзовую сумку.

— Мой взвод сорвал! Немцы сорвали! Вот! Шесть ихних пулеметов сорвали. Вы что, не видите! — уже не в силах сдерживаться, закричал он. Связист, пораженный этой стычкой, раскрыв рот,

неподвижно сидел у аппарата. Зубков согнулся еще ниже и начал старательно счищать землю со своего кирзового сапога. На краю оврага из окопчиков высовывались и застывали в немом любопытстве головы в шапках и касках.

— Что это такое?! — топан Орловец своими порывевшими от подпалки валенками. — Что за болтовня, лейтенант! Вы что, на гулянке или в армии!

Он не договорил: наверху, видно, кто-то неосторожно высунулся из укрытия, и длинная пулеметная очередь с высоты бешено резанула воздух над их головами. На противоположном склоне оврага посыпалась земля, и когда ветер сдул пыль, в мерзлой почве появились свежие ямки от пуль.

Орловец, набившись, снова повернулся к Клименченко.

— Ты у меня дождешься! Я тебя заставлю с одним взводом высоту брать. Тогда запищешь, Умник!..

Лейтенант криво улыбнулся.

— Вот наугади! Ну и пойдя со взводом. Только когда возьму, вам докладывать в полк не придется. Сам доложу.

— Ах так!

— Так.

Капитан на полминуты застыл, что-то напряженно решая, а Клименченко, стоя вполборота к нему, ждал. Он и в самом деле готов был атаковать высоту хотя бы и одним взводом. Правда, надеждой на успех себя не тешил, но теперь больше всего не хотел в чем-либо уступить капитану.

Орловец зло сплюнул и, тяжело ступая валенками, взобрался на склон к телефонисту.

— Ну, где огонь? — вспомнил он о неприкуренной сигарке, которую все еще держал в руке. Связист снова начал заглядывать кресалом.

— Вот что! — сказал ротный, подумав. — Я такого не допущу. Болтунам каленным железом языки попржику. Ишь, разгильдяй тот, распустил роту!

Это был намер на бывшего командира роты, старшего лейтенанта Иржевского, раненного неделю назад. В полку о нем говорили разное, но Клименченко знал, что командир тот был стощий и был бы еще лучше, если бы умел ладить с начальством.

— Будь некоторые ротные такие, как Иржевский, уже не высоте пообедали бы! — сказал лейтенант.

— Что? Защищаешь? Конечно! Оно и понятно: коллективку устроили.

Клименченко промолчал.

— Ладно, — уже мягче сказал Орловец. — На том точка. И что мне ни-ни... Я здесь командир, а не пастух. Поняли! А теперь давай сюда!

Зубков, не понимая причин перемены в настроении командира роты, медленно встал, отряхивая с шинели песок, а Клименченко, насупившись, стоял внизу. Тогда капитан, сменив тон, нарочно грубо прикрикнул:

— А ну, чего надулись как суслики? Давай ближе, говорю!

Зубков, пригнувшись, послушно подошел к капитану, Клименченко, немного помедлив, также пошел вверх.

На голом овражном склоне дул свирепый морозный ветер. Разгоряченные недавней боготой, люди начали остывать. Лейтенант тут же затянул ремешок и неохотно подвинулся к командиру роты. Лицо его по-прежнему было отчужденным и мрачным.

Капитан прикурив, глотнул дыма, окинул взводного испытующим, но уже незлобивым взглядом и вытащил из-за пазухи карту.

— Так. Все. Точка! Слушай задачу. Ударим снова...

Спустя пятнадцать минут атаковали. Без единого выстрела, все разом высыпали из оврага и бросились на высоту.

Немцы вначале молчали — может, не заметили их, а может, выжидали, и с минуты в ветренном мартовском просторе был слышен только беспорядочный топот полсотни пар ног. Люди продрагли за утро на глинистой промерзшей земле и потому сразу же равнялись дружно. Однако путь их лежал в гору, бежать было далековато, и первого запала хватило ненадолго. Правый фланг взвода вскоре загнулся, начал отставать. Это не предвещало ничего хорошего, но Клименко не решился нарушать тишину — не стал кричать на младшего сержанта Голоного, который командовал правофланговым отделением. Сжав в руке пистолет с ремешком, одним концом прицепленным к поясу, лейтенант бежал вместе со всеми как можно быстрее туда, в гору, где, подготовив пулеметы, ждали их немцы. Слева и дальше к лесу, несколько медленнее, отставая, трусил и Орловец с ординарцем; время от времени он оборачивался в сторону первого взвода и на ходу потрясал кулаком: быстрее! Клименко, однако, не очень обращал внимание на эти многозначительные жесты: теперь в цепи он в какой-то мере стал независим от ротного, только солдатские силы не очень подчинялись ему. Лейтенант бежал, чувствуя, как дотлевают в нем остатки прежней злости, прорвавшейся там, в овраге. Он начал уже сжиматься с мыслью, что капитан сарали и горлопан, что он не поощрит и отца, чтобы выслужиться перед начальством. Но все же лейтенант вынужден был слушаться ротного и даже больше того: после недавней с ним стычки был полон решимости вернуться в траншею противника первым и тем доказать, на что способен его взвод. Это был рывок, рассчитанный разве что на одну только внезапность, и от его стремительности зависел исход атаки — либо они полагут здесь, на голом промерзшем косогоре, либо возьмут высоту.

«Шашь-шашь... Шашь-шашь», — мяли струхлевшую, прошлогоднюю стерню не доношенные за зиму валенки, ботинки с зелеными, сизыми, черными обмотками, запятанные кирзачи. У кого-то поближе в вещевом мешке или на поясе настойчиво заявлял пустой котелок. «Не мог закрепить, разгильдяй!» — злобно оглянулся Клименко. Люди бежали по обеим сторонам от него, расширенные глаза их настроенно скользили по высоте, силпо ремни автоматов. Ветер стлал по стерне длинные пряди пыли, стегал по разгоряченному лицу взводного тесемками шапки, но Клименко не замечал ничего, только бежал. Одна мысль владела теперь им — быстрее! Быстрее, пока не ударили немцы, пока тихо, пробежать хотя бы лишний десяток метров к этой высоте, куда — это хорошо знал лейтенант — путь вот-вот оборвется шквалом огня.

Рота выбегала из-за пригорка на пологий открытый склон. Клименко уже увидел изрытую траншеями высоту — всю, от леса до покато го косогора под самой деревней, на котором в бороздах и под межами серели редкие пятна грязного, жесткого по утрам снега. Он увидел над бруствером длинный ряд глубоко наданных на голову касок. В тот же миг ветер донес ослабленный расстоянием вскрик:

— Фойер!..

Прежде чем в пространстве погас этот вскрик, тишина взорвалась тысячеголосым громом, проглотившим команду, топот ног и тяжелое сопение людей. Первые очереди разорвали упругий воздух над головами, рядом кто-то тонко, не по-мужски вскрикнул. Клименко склонился ниже, оглянулся и тут же выпрямился — в пяти шагах сзади бежал с автоматом в руках его ординарец Костя. Каска на голове бойца вдруг дернулась, наверно, сбита пулей, одним краем осела на ухо, парень толкнул ее рукавицей на место и коротко, одними глазами улыбуясь командиру. Но лейтенант уже не заметил его улыбки, он увидел, что правый фланг отстал еще больше. Неповоротливый, пожилой Голоного с подоткнутыми под ремень полами шинели то бежал, то останавливался, кидаясь в стороны, крича на бойцов, которые все заметнее замедляли бег и, видимо, уже были готовы залечь. Этого допустить было нельзя, и Клименко, слыша, как сзади матерятся Орловец, также аскнул вверх обе руки и, потрясая ими, закричал сорванным, осипшим голосом:

— Голоного! Так твою... Вперед! Вперед!..

Но слова его бесследно исчезали в грохочущей боя. Он еще несколько раз потряс в воздухе кулаком с зажатым в нем пистолетом и рванулся вперед. Пули густо пронизывали воздух, клевали мерзлую землю у ног, брызгая песком. Хмурое небо гудело, гогосило, скулело тысячько голосов — казалось, непосижимая, бешеная сила неистово бушевала в вышине, и даже не верилось, что все это грохочущее буйство уничтожения направлено против реденькой цепочки наконец уставших людей, которые падали, шли и бежали по серому склону, медленно приближаясь к траншее.

— Вперед! Вперед! — кричал лейтенант, нагоняя цепочку бойцов, одолевших уже половину пути.

Но шквал огня с высоты делал свое дело: бойцы замедляли бег, все ниже жались к земле, некоторые уже лежали на стерне, и невозможно было понять, убиты они или просто испугались. В какую-то секундную паузу он уловил поблизости слабый стук солдатского котелка и с мимолетной радостью подумал: «Жив!» Но тут же Клименко почувствовал, что первый удачный порыв ослаб и что взвод вот-вот зальжет. Сердце его бешено стучало в груди, усталость распирала легкие, в висках с нутринным звоном пульсировала кровь. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — сверлила мозг упрямая мысль. Уже недалеко виднелась дорога — вытаявшая из-под снега полоска серой земли с редкими гривками бурьяна по сторонам. От дороги до траншеи оставалось всего шагов сто, и ни за что нельзя было позволить взводу залечь тут, любой ценой надо было прорваться к брустверу.

Однако они не успели еще подбежать к дороге, как откуда-то из деревни во фланг им ударила автоматическая пушка. Первые ее мелкокалиберные очереди загрозотали адали, синие трассеры мелькнули на черной земле, и колотие клубки разрывов рассыпались по низу. Несколько бойцов упали и сунными комками шинелей застыли на стерне. Кто-то в телогрейке уронил автомат и, обхватив ладонями лицо, с криком бросился назад по склону. В тот же момент хлесткие, горячие трассы пронеслись возле взводного, ударили по земле сзади, метнулись дальше вдоль неровной цепи людей. От неожиданности Клименко на миг растерялся, но тут же с необыкновенной отчетливостью сообразил, что нужно немедленно, рывком вперед уходить из-под огня. Он уже не подгонял бойцов, перестав отдавать команды, мчался, опережая всех и хорошо зная, что только так можно не дать людям залечь. Сзади и по

сторонам мерзлую землю зло секли пыльные очереди автоматической пушки.

Лейтенант перебежал дорогу, перескочил канаву с иссохшей, прошлогодней травой и, пригibas, бросился дальше. Траншея была уже совсем близко, а канхи-нибудь двадцати шагах, когда огненные клочие клуби разрывов взметнулись почти у самых ког. Клименко упал — первый раз за эту атаку. Но, кажется, он уцелел. Еще не уверенный в этом, лейтенант аскинул голову и скизю не осеющую от разрывов льну увидел, как в траншею напротив застелились зеленые каски; с бруствера, пульсируя белым огнем, торопливо ударил автомат, его пули брызнули в лицо Клименко песком, и он, аскинув в вытянутой руке пистолет, выстрелил туда три раза. Рядом напористо застрекотал автомат: это стрельа Коста. Оудевшим рукам лейтенант вытер с лица пот, оглянулся. Очереди с гулким треском катились по промерзшей земле, среди тех, что бажали, шли, падали. Собрав остатки сил, Клименко рывком аскинул свое тело с земли и, преодолев последние метры, отделявшие его от траншеи, взлетел на бугорчатый, усыпанный гильзами бруствер, пригнувшись, выстрелил несколько раз в загадочный зев траншеи и следом сунулся в нее сам.

Он едва не наскочил на что-то живое внизу — перед ним испуганно метнулась в сторону зеленая фигура в каске, казалось, без лица, с одной только худой кадыковой шей. Слово оборонялся, фигура ахнула навстречу локоты. Климчишко, чувствуя, что в магазине осталось несколько последних патронов, рукояткой пистолета наотмашь ткнул немца в висок, потом перемахнул через его тело и, пригибаясь, кинулся к повороту траншеи. Зади раздались взрывы гранаты и крик: «Братцы! Братцы! Братцы!» Костя вдруг оборвался, но где-то рядом завыл другой: «Носке! Носке!» И еще: «О Носке!..» Затем, обрушившаяся комья с бруствера, кто-то тяжело грохнулся в траншею. Климчишко не успел отпрянуть (лишь мелькнула доедкая — Костя), как с обеих стен в лицо ему брызнуло замлей, что-то острое толкнуло в плечо. Лейтенант, оседа, обернулось, и его взгляд на молчание встретился с помутневшими глазами Кости. Обронив автомат, ординарец падал ничком. В шинели на его груди чернела ранная, залитая кровью дыра. На успел он, однако, успеть, как из-за его спины на фоне серого неба вынырнул немец — молодой, простоватый, в растерзанном мундире, с безумными взглядами таких же белесых, как у Кости, глаз. Климчишко, откинувшись к стене, ослабевшей рукой поднял навстречу ему пистолет, но выстрелить, кажется, не успел: что-то огненно-черное нестерпимой болью в голове погасило его сознание.

3

Было очень холодно, знобило, особенно мерзла спина. Климченко внутренне сжался, будто удерживая в себе последние крупинки тепла, и мелко, напряженно дрожал. Однако покоя не было, его все время толкало в плечи, затылок бился обо что-то твердое. Стало ясно, что он куда-то сползает — полущубок и гимнастерка на спине задрожали, оттого и было так нестерпимо холодно. Он с усилием раскрыл глаза и увидел перед собой комья земли. Показалось, что он попал в яму, но почему тогда задрожали куда-то вверх ноги? Приподнял голову, он повернулся, пытаясь удержаться руками, и увидел перед собой чью-то согнутую спину, ластик

с оловянной пуговицей и черной кожаный ремень под ним. Вторая пуговка на хлястике была оторвана, от нее осталось только проволоочное, залепенное землей ушко, ниже которого болтался на ремне сумка. Климентю сразу узнал ее — это была его старенькая кирзовая сумка, выданная ему еще при выпуске из училища. Ноги лейтенанта были зажатые под мышками у этого человека, который, так недоволяясь, волочил его по тропинке.

Поняв, где он, Клименченко рванулся, пытается высвободить ноги. Немец сразу остановился, оглянулся: на его губе заросшем щетиной немолодое лицо отразилось переходящее в испуг удивление; нижняя губа его оторвалась от верхней, и на ней, наискось прилепясь, дымил желтый окуроч сигареты.

— Майн гот! — сказал немец и, встретившись взглядом с Клименко, выпустил из рук его ноги. Кирзовые сапоги лейтенанта глухо ударились о дно траншеи. Потом немец прищмокнул губами, насулил густые рыжие брови и, почему-то оглянувшись, стал снимать с груди автомат.

А Клименчук, осознав, что с ним произошло, понял, что наступил конец. У него не было сил защищаться, он только попытается сесть, его почему-то испугала мысль, что он будет убит легко. Однако автомат у немца был на коротком расстоянии, он цеплялся за воротник, и солдат, набивая голову, с усилием ставливал его поверх зимней, с длинным козырьком шапки. Вверху над ним плыли тучи, и стебли бурьяна на бровке бруствера часто-часто мельтешили от ветра.

Клиничко кое-как все же собрался с силами, оперся на левую руку, сел и незаметно для немца провел правой рукой по боку. Однако кобура была пуста, оборванный концы ремеша лежал на суглине. Лейтенант прислонился к стенке траншеи. Ослабевшее сердце его едва шевелилось в груди, а в голове стоял острый звон.

Немец тем временем подавил свое удивление и, уже почти безразличный к планушню, раз за раз потянул курок. Потом, прищурив от дыма глаз, держал рукоятку автомата и отступил на шаг. Выстрелил он почему-то помедлиль, поднял голову — слыди послышались шаги, и вскоре через плечо лейтенанта переступил испанский землей салог с множеством блестящих шилов на подошве. В следующее мгновение щеки Клименченко коснулись полы длинной шинели, в разрез которой мелькнули обштыне коричневой кожей бриджи. Немец опустил оружие, остановился, давая кому-то дорогу, но тот остановился, уставым взглядом скользя на лицу Клименченко и что-то аполголоса буркулл. Другой, держа автомат, с подчеркнутой готовностью отвеил, и лейтенант понял: появилась начальник.

Климченко поташнивало, туман то и дело застилал глаза, оба немца временами расплывались, словно тени в неспокойной воде, и он, склонив голову и закрыв глаза, безразличный ко всему, ждал выстрела.

Однако вместо избавительной очереди он получил резкий удар в бедро и, вздрогнув, взглянул вверх — оба немца стояли над ним, и солдат с автоматом, сплюнув окуроч, наклонился, заглядывая ему в лицо.

— Вставайт, рус! Вставайт!

С трудом преодолевая бессильное оцепенение, лейтенант понял, что смерть пока что откладывается.

И, как за спасение, он ухватился за эту коротыньку возможность жить, оперся рукой о стену, с преувеличенной уверенностью, не рассчитав силы,

встал и сразу же прислонился плечом к борю траншеи. Тогда немец-солдат сильной рукой подхватил его под мышку. Клименко от боли и слабости заскрежетал зубами, рванул руку, но немец держал крепко и, бесцеремонно толкая, повел его по траншее.

Ветер сдувал с бруствера пыли, видно, от стужи ложило в затылке, лейтенанта бросало в озноб. Он снова затрещал в лихорадке и, уже безразличный к тому, куда его ведут и что его ждет, тяжело переставляя ноги. Второй немец шел впереди, казалось, без всякого интереса к ним обоим. Поднявшись из траншеи, Клименко почувствовал себя лучше, появилось привычное беспокойство о воздухе, он вслушался: нет, боя поблизости не было, перестрелка повсюду стихла, только где-то, видно, в землянке, какой-то немец выкрикивал одно и то же слово, наверно, это был телефонист, который повторял позывные.

Лейтенант взглянул в одну сторону, в другую — траншея вела в тил; оврага и склона со стерней, по которым они атакowali, отсюда не было видно. Вокруг было по-весеннему привольно и просторно; дождавшись своего часа, бродил весенними соками лес, освободившись от снега, вот-вот готова была ожить извечно обновляемая земля. Местами на ручьях и в бороздах, на лесных опушках члели — дотавали жесткие на морозе, как наждак, плешины снега, неместо носился над просторами ветер — сущия землю. На смену бесконечно долгой морозной зиме шла весна, и лейтенант понял: она уже не для него.

4

Его вели все глубже и глубже в тил, подальше от своих, от роты, и Клименко все отчетливее осознавал, что этот путь последний, что возврата уже не будет.

Он чувствовал себя плохо, больно кололо в боку, и взгляд то и дело почему-то затуманивался. Часто Клименко замедлял шаг, готовый вот-вот остановиться, и тогда солдат, идущий сзади, толкал его автоматом в спину, приговаривая: «Пшел!» Но злости в его голосе лейтенант не чувствовал, хотя это теперь и не имело для него никакого значения.

На тропке им встретились шестеро солдат-связистов, обвешанных катушками с красным кабелем, сумками и оружием. Они уступили офицеру дорогу и, минуя пленного, разглядывали его настороженно враждебными взглядами. Отойдя, они еще долго оглядывались, но Клименко уже не отрывал глаз от земли: все, что происходило вокруг, его мало заботило.

Так они вышли к дороге. В неглубоком, но широком овражке, возле мостика через замерзший ручей, стояло несколько беспорядочно разставленных, крытых брезентов машин. Машины, видимо, находились тут давно, земля возле них была вытоптана и густо залита пятнами горячего и масел, рядом валялось несколько бочек, и солдат в комбинаэоне, откинувшись в сторону руку, нес к машине канистру. Два других, наклонив бочку, наливали в ведро бензин. Передний конвоир что-то спросил у солдата с канистрой. Тот, хлопнув по бедру рукой, коротко ответил, и они свернули в сторону, туда, где под обрывом оврага чернели двери землянки.

Сперва Клименко показалось, что тут шат и пржеде чем расстрелять, его допросят. Но, осмот-

рившись, он усомнился в этой своей мысли. Землянок было всего две; ни телефонов, ни обычной штабной суety тут не замечалось. Немец открыл выкрашенные под дуб, видно, снятые в каком-то доме двери с крохотным, врезанным в верхний филенке окошком и зашел в землянку. Следом, подталкиваемый конвоиром, вошел Клименко, и дверь, скрипнув, захлопнулась.

Он ступил на шаткие, наспех настеленные доски пола, в лицо ударило жаром накаленной железной печи. В землянке слегка пахлоавало дымом. На заставленном шерстяным одеялом столе лежали бумаги. Рядом мигала крохотная стearиновая плошка. Моложавый офицер в коротком, с разрезом сзади мундире подскокил к вошедшему и щелкнул каблучками. Пока они тараторили о чем-то, Клименко осмотрелся. Сзади сквозь филенчатое окошко проникал слабый свет пасмурного дня. Вместе с огнем в плошке он скудно освещал переднюю стену землянки, в несколько рядов оклеенную одним и тем же плакатом с изображением широколицего красноармейца, который хлебал что-то из плоского котелка, глумляясь при этом улыбаясь немцу в каске, стоящему рядом с такой же невеставиной, деланной улыбки на лице. Под плакатом повторялись надписи на русском и немецком языках. Плакат этот озадачил Клименко и окончательно убедил его в том, что тут не штаб. Но тогда что? Гестапо? Какой-нибудь пропагандистский отдел? От этих догадок становилось все тягостнее на душе.

Пока немец в мундире о чем-то докладывал, высокий в шинели, не снимая черных перчаток, перешел на столе бумаги и начальственным тоном произнес длинную фразу. Тот, в тесном мундирчике, сразу взглянул на Клименко, и лейтенант догадался, что речь шла о нем.

Немцы переговаривались уже втроем. Солдат-конвоир снял с плеча сумку Клименко и, вынув из-за пазухи, подал бритоголовому лачку бумаг. Клименко узнал среди них красную обложку своего командирского удостоверения, комсомольский билет, удостоверение о наградах, расчетную книжку, справки о ранениях. Тут было все, что месяцами лежало в его карманах, кроме часов и алюминиевого портсигара с табаком, о которых конвоир, очевидно, предусмотрительно умолчал. Офицер, безглаголиво скрывая тонкую губу на белом, хорошо выбритом лице, без особого интереса перелистал документы и бросил их на стол. Несколько бумажек, не долетев, затрепыхало в воздухе — их услужливо подобрал с пола другой, в тесном мундирчике.

Неконечный начальник что-то приказал, раза два прошелся по землянке, прогнбав половички, и, не взглянув на Клименко, вышел. Конвоир с автоматом так же последовал за ним и стал за дверью. Сквозь чистое протертое стекло лейтенант увидел его плечо с погоном, козырчатую шапку, дальше был виден брезентовый край кузова с пятнистым осенним камуфляжем и буквами «FW» в белом квадрате.

Ожидая, что будет дальше, Клименко взглянул на того, кто остался с ним, и замислился, как покорнатородливое выражение его лица уступило место самодовольной уверенности.

— Ну, лейтенант, начнем разговор! — на чистом русском языке спросил он, и от неожиданности Клименко даже вздрогнул. Немец, словно на то и рассчитывая, снисходительно заулыбался, вынул из кармана блестящий портсигар, раскрыл его и, стоя посредине землянки, протянул Клименко. — Курить?

Услышав такие незнакомые здесь слова, лейтенант вдруг утратил всю свою выдержку, изображе-

ния солдат на плакатах запрыгали в его глазах. Он пошатнулся и, чтобы не упасть, оперся локтем о дощатую стену землянки. Немец, заметив это, нерешительно прикрыл портсигар.

— Э, да ты, оказывается, ранен! Что ж они не сказали! Ну, это пустяки, подлечим! Садись вот! — Он схватил из угла крепко сколоченный табурет, поставил его на середине землянки, и лейтенант обесилленно сел.

Немец раскрыл за ним двери, что-то крикнул во двор, в ответ послышались голоса и торопливый топот ног. От свежего воздуха, хлынувшего снаружи, в землянку сразу похолодало, и Клименко постепенно овладел собой.

Немец отошел от порога, прикурил сам и подождал, пока где-то поблизости простучали сапоги и в землянку ввалились грузный, молодой уже санитар с сухим, желтым лицом. От него остро запахло дустом и еще каким-то лекарством. Недовольно ворча, он начал сдирать с Клименко его перепачканный, изодранный в клочья полшубок. Лейтенант вяло подчинялся настойчивым движениям санитаря: ему уже было безразлично, что сделают с ним. Он хотел лишь покоя и невидящим взглядом смотрел, как по доскам вокруг табурета тяжело ступают поношенные сапоги. Руки немца, бесцеремонно поворачивая его голову, пролазгали ножницами, и на пол упали светлые спутанные пряди волос. Затылок, видно, был сильно разбит и болел, но Клименко терпел все, только раз вздрогнул, когда рану обожгло лекарство. Вскоре, однако, санитар проворно обмотал голову желтоватым бумажным бинтом и собрал в сумку свое снаряжение. Все это время тот, в мундирчике, сидел на углу стола и с добродушной ухмылкой наблюдал за ним, пока санитар не вышел, пристукнув за собой дверь.

— Ну, так лучше! — просто и даже будто с чувством спросил немец, когда они остались вдвоем. — Это излечимо. У немцев медицина, как у нас говорят, на высоте. У нас — это значит у русских. Не удивляйся. Я русский. Как и ты, москаич. На Танганьке жил.

Клименко уже перестал удивляться и заметил про себя, что тут, очевидно, ко всему надо быть готовым. Нарочитая доброжелательность и заботы этого человека наводили лейтенанта на мысли, что ждет его тут нелегкое. Но неприязнь и открытая враждебность к этому «русскому» как-то начали ослабевать, и он, сам не заметив того, почувствовал себя будто наравне с ним. Правда, лейтенант понимал, что это ничего еще не означает и что надо держать ухо востро.

— Интересно, а ты откуда будешь? — спрашивал этот человек.

— Там написано. Наверно же, грамотный? — сказал Клименко, взглянув на стол с разбросанными на нем документами.

Человек в мундире, улыбнувшись неодобрительно, но терпеливо, повел русой бровью.

— Ну, конечно, там все написано! У нас, то есть у вас, на этот счет полный порядок. Как говорят, ажур. И где родился, и где женился, и где крестился. И был ли за границей, и имел ли колебания. Я это знаю, — совсем как-то просто и даже, как показалось Клименко, с дружеским в тоне сказал он. — Сам был такой! — Он с ухмылкой остановился перед Клименко и выпустил над его головой стружку дыма.

«Что за тон! Чего ради!» — думал Клименко. Утрачивая безразличие к своей судьбе, зародившееся в нем еще там, в траншее, он вдруг задумался над тем, что бы все это могло значить. Раздетый, а



одной гимнастерке, с кубиками на петлицах (погоны только недавно ввели, и он еще не успел их получить), без ремня, с перевязанной головой, он, как арестант перед следователем, сидел в неприлично обставленной землянке и настороженно слушал. А человек в немецком мундире с удовлетворенным выражением на лице, что-то соображая, оглядывал его.

— Орденичку давно получил? — кивнул он на его звездочку над левым карманом.

— Осенью, — сказал Клименко.

— За оборону, наступление?

— За окружение.

— Ну что ж, это похвально. Заслуженный, боевой офицер, — что-то имея в виду, сказал человек и быстро предложил: — Может, все же познакомимся? Я Чернов. К сожалению, не Белов, но что поделаешь, — засмеялся он, и внутри у Клименко что-то словно оборвалось: такой открытой показалась ему эта улыбка, что не хотелось думать, что перед тобой враг. «А может, он тут по заданию наших работает? Может, разведчик? А вдруг он выручит...» — на какое-то мгновение мелькнула у него мысль. Во все глаза глядя на этого человека, Клименко старался что-то понять, а тот, стоя напротив и покровительственно усмехаясь, мягко продолжал:

— Можешь называть меня Борисом. Ведь мы, почитай, ровесники. Ты с какого года? — Не ожидая

ответа, он заглянул в удостоверение на стол.— С двадцать первого. Ну, а я с девяносто семнадцатого. Так сказать, ровесник Октября...

Он бросил за пазуху сигарету и впервые сел на свое, видное, постоянное место за столом. Расстопырив пальцы, он осмотрел ногти и маленьким ножичком стал подрезать их. Клименко, напряженно морщась и чего-то ожидая, пристально следил за его легонькой ухмылочкой, которая блуждала на его белом, в меру упитанном, свежесбрилом лице. Казалось, такой человек никому и никогда в жизни не сделал ничего плохого.

— Полагаю, мы соговорились. Ты, наверно, думал, что в плену сразу растерял? Глупости. Ты же не комиссар. Немцы уважают достойных противников. Стрелковых командиров. Работают войны. Специалистов. Немцы к ним относятся, а бы, сказал, по-рыцарски. Да ты и сам уже успел убедиться в этом. Так ведь?

Клименко молчал.

— Ну, что замкнулся?— оторвав взгляд от ногтей, сдержанно упрекнул Черноз.— И чего так смотришь? Опомнитесь еще не можете? Это ничего, пройдет.

— Что вам нужно?— меряя его недоверчивым взглядом, спросил лейтенант.

Чернов облегченно откинулся на спинку стула.

— Вот это деловой разговор.— Он несколько преувеличенно и потому не совсем естественно обрадовался, вышел из-за стола и присел на его уголке. Вытянув вперед ногу в начищенном, щеголеватом сапоге, пошевелил носком, помолчал, собираясь, очевидно, сообщить главное.

— Очень даже немного. Я думаю, тебе не меньше нас жалко своих солдатиков. Не так ли? Через день-другой их погонят в наступление, и всем будет капут. А зачем? Не довольно ли России лить кровь?— спросил он. Казалось, он искренне переживал то, что говорил, и Клименко снова с некоторым любопытством заглянул на него.

— И зачем бессмысленные жертвы! Сколько их уже принесла Россия! Революция, классовая борьба, войны. Одним словом, лейтенант, вот что... Нужно выступить по звукоусилительной установке и поговорить со своими. Нет, нет, не пугайся, выдумывать ничего не придется— есть утвержденный текст.

«Вот оно что, теперь все ясно!» Тягостное напряжение у Клименко, усиливавшееся до сих пор, вдруг спало, впервые он повернулся на табуретке и вздохнул. Чернов встал из-за стола и подошел к нему ближе.

— Так как? Рисковать тоже не придется. Динамик— на передовой, мы— в траншеях. Несколько слов к конкретным лицам. Это подыстает. Это всегда действует.

— Ах, вот вы о чем!— сказал Клименко, взглянув в улыбающе-спокойные глаза Черноза.— Нет, ничего не выйдет! Ищите другого.

Клименко понял все: ничего нового в этом для него не было. Когда-то в дождливую, беспросветную ночь под Вязьмой он уже слышал подобную агитацию по радио. На опухшие в беспомощной ярости матерились бойцы, слушая брехню какого-то перебежчика, который сутки назад был с ними рядом и вместе из одного котелка хлбал суп, а потом агитировал их переходить на сторону фюрера.

Опершись локтями о колени, Клименко низко согнулся на табуретке и опустил голову, готовый ко всему. Чернов уюлился, перешел на другую сторону стола и сел, загадочно поглядывая на него. В печке догорали дрова, жара спадала, и от двери потянуло холодом. Лейтенант зябко передернул плечами.

— Так, так, не хочешь, значит? Ну, что ж...— неопределенно, что-то обдумывая и разложив на скатерти руки, сказал Чернов.

На дворе— слышно было— переговаривались солдаты, хлопали дверцы в кабинках, где-то адали ахнуло два взрыва. Огонек в плашке тихо мигал, вдруг он резко вспыхнул, едва не погаснув,— сзади стукнула дверь.

В землянке появился тот, долговазый, приведший его сюда. Клименко, не оборачиваясь, узнал его по кожаным бриджам (теперь он был без шинели) и медленно поднял голову. Чернов что-то буркнул, выскочив из-за стола. Вошедший перешелся несколькими словами с подчиненным и недобрим, испытующим взглядом уставился в пленного. Не сводя с Клименко этого взгляда, он вынул из кармана портсигар и щелкнул им перед самым лицом пленного. Клименко отвернулся. Немец тогда что-то коротко и строго сказал Чернозу, тот подскочил к Клименко, и лейтенант, получив в челюсть сильный удар, отлетел к стене. В левом его ухе при этом, кажется, что-то лопнуло, и голова наполнилась болезненным острым звоном.

Когда он медленно, держась за стену, поднялся, Чернов негромко сквозь зубы процедил:

— Отказываться у немцев не принято. Ясно?

Клименко сжал челюсти и подумал: «Вот где ты открываешься, гад ползучий!» С минуты он стоял у стены под этими взглядами двух пар разных, но снова, как ему казалось, совсем не враждебных глаз. Было обидно и больно, но опять почему-то не хотелось верить тому, что тут произошло: так обычно и просто смотрели на него эти глаза. Потом высокий, все в тех же черных перчатках, медленно подняв сигарету, мизинцем бережно стяхнул с нее пепел. Он такие выглядел столь спокойным, рассудительным человеком, что можно было подумать, будто оба они шутят.

— Ты будешь исполнять немецкие берфэль?— без угрозы, спокойно спросил немец.

— Я не предатель.

— О!— только и сказал офицер и почти назаметно, одним глазом моргнув Чернозу. Тот подошел и так же, как в первый раз, не размахиваясь, по-боксерски коротко и сильно, ударил Клименко в челюсть. Лейтенант снова отлетел к стене; падал, он задел печь— в трубе густо зашуршал посыпавшийся с потолка песок. Немец процедил «гут» и, сжав тонкими губами конец сигареты, вышел из землянки.

5

Как только дверь за офицером захлопнулась, Чернов спокойно, будто ничего плохого между ними и не произошло, подошел к Клименко.

— Ну как?

— Сволочь ты, а не земляк! Кол тебе в душу!— сказал лейтенант, слезывая на пол крошазую слюну. Чернов, почти не обращая внимания на его бранные слова, хитрово улыбнулся.

— Ну не сердись! Чепуха. Это так, для порядка. Иначе... Сам понимаешь: начальство!

Он подхватил Клименко под руки, рыком поставил его на ноги, сапогом пододвинул табурет.

— Садись!

Лейтенант сел и искомпо поглядывал на своего палача, острые подвижные глаза которого то и дело косились на дверь землянки.

— Сам понимаешь. Приходится. Иначе скоманду-

ет, и все: конец. Так что иногда лучше ударить. Правда ведь?

Покрывая на столе огонек, Чернов начал ходить по землянке.

Казалось, ничто не способно было вывести его из душевного равновесия, таким он был нетерпеливо-уверенным, расчетливым, аккуратно, почти что элегантно одетым... На его строгенном под бокс белесом затылке шевелилась розовая складка.

— Между прочим, тебе, можно сказать, повезло. Не каждому дается такая возможность реабилитировать себя. У немцев заслужить доверие нелегко. Зато они ценят преданность. Сужу по собственному опыту, я тоже, знаешь, когда-то ждал пули. Пришлось доказать кое-что. И вот видишь, вместо пули мундир! — Он с удовлетворением ощупал свой коротенький френч с узкими серебряными погонами.

«Что за наемник! Кто он такой? Политрук? Командир? Штабист какой-нибудь?» — думал лейтенант. И вдруг его будто осенило что-то, и он понял, что перед ним хитрый враг и что никакой он не москвич, хотя, может, когда-то и жил там.

— Зря стараешься, — злобно сказал он. — Не на того напал.

Чернов вдруг остановился и круто повернулся к Климченко. Выражение его лица не изменилось, только левый глаз как-то недобро округлился, и он несколько тише, чем прежде, будто затем, чтобы не услышал снаружи часовой, сообщил:

— А вообще ты того... Не слишком ерпенешься. Учи: выбор у тебя не очень богатый. Либо ты выступишь, либо в землю ляжешь. Сегодня же!

После всего, что случилось, угрозы могли только взорвать, и Климченко вскочил с табурета.

— Ну и пусть! Стреляйте! Все равно пристреляте! Уже не в своем же отпуске? Не верю я вам. Сволочи вы все!

Чернов холодно усмехнулся.

— Не горячись. В конце концов мы сможем сделать что надо и без твоего участия.

Он выглядел немного, хмура белесые брови, потом повернулся и спокойно занял за столом свое место. Потом с какой-то многозначительной важностью взял вынутый из сумки листок — список личного состава первого взвода автоматчиков.

— Командир отделения Голанович Иван Фомич, ефрейтор Оленкин Петр Петрович, красноармеец Сиззов, Гаймадуллин... Имя и отчество не проставлены — непорядок. Чирков, Федоров, Хиль, всего двадцать два человека. Выбывшие отмечены! Отмечены, а как же! Ну вот. Командир роты также извещен — Орловцев. Остальное и сами сделаем. Только ты тогда, понятное дело, пеняй на себя. А на той стороне все равно в квадрат возведут. Понял?

— Как это?

— А просто. Подумай — поймешь.

Климченко растерялся, ошеломленный еще не до конца осознанной, но, безусловно, какой-то сверхназойливой затеей эссы сволочей, и во все глаза смотрел на Чернова. А тот, уже сменяя свое редушное выражение на угрожающее, сполнил список взвода и сунул его под сумку.

— Вот так! — сказал он и откинулся к стене. — Так что, решаешь?

«Что они надумали? Что сделают?» — билась в голове безысходная мысль, и постепенно вырисовывалась догадка, от которой его бросило в жар. Климченко вскочил и, пошатываясь, шагнул к столу.

— Провокаторы! Сволочи продажные!

— Тихо! — строго сказал Чернов и встал за столом. Рука его твердо легла на сумку, под которой

находился список. — Тихо, лейтенант! Сначала подумай. Поостынь.

Климченко осотанело глядел ему в глаза — на этот раз уже холодные и жесткие. Несколько секунд они так и стояли — один против другого, разделенные только столом, и тогда к лейтенанту впервые пришло отчетливое понимание того, что эти звери сделают с ним все, что захотят.

Это оглушило, он беспомощно опустил руки, понурил голову и, почувствовав, как запыржали в глазах черные бабочки, вернулся на прежнее место посреди землянки.

Какое-то время оба молчали. В землянке стало прохладно, печка уже не светила огнистыми щелями, скупо серела заклеенная нелюпыми плакатами стена, на которой шевелилась головастая, до самого потолка тень Чернова. На дворе, видно, темнело, слышны были ленивые шаги часового, где-то дальше, безразличные ко всему, разговаривали, смеялись солдаты и тоненько наигрывала губная гармошка.

«Сволочи! Что делают, сволочи! И надо же было вчера отметить выбывших — убитых и раненых! Гаймадуллин, кажется, только не отмечен. Ночью подстрелили, не успел вычеркнуть... Нет, этого допустить нельзя. Но как?»

И Климченко понял, что единственный выход у него — схитрить, утонченному коварству врага противопоставить такую же изощренную хитрость. Однако ему, человеку прямой и открытой натуры, не так-то легко было сделать это. Главным теперь для него был список — лейтенант ясно понимал это. Ему тяжело было заставить себя не смотреть на этот неприятный сумкой листок бумаги, и все же он каждой частичей тела ощущал его там и даже опасался, что Чернов мог по какому-нибудь движению догадаться о зреющем в нем намерении. Но недаром, видно, его посадили на середине землянки. Точно рассчитать бросок к столу ему было трудно: теперь он не чувствовал в себе необходимой для этого ловкости.

Надо было что-то придумать, и Климченко решил растянуть время.

— А что я должен говорить там? — мрачным, но несколько более ровным голосом спросил он.

Чернов повел бровями, коротко взглянул на него.

— Вот давно бы так! Это очень просто. Промчесть вот эту бумажку... Где она тут у меня затерялась! Ах, вот! — Он отыскал среди бумаг какой-то листок и, пристав, через стол сунул его Климченко. Лейтенант недоуменно прочитал первые строки.

«Дорогие граждане, мои однополчане, — было написано мелким шрифтом. — Боицы и командиры... полка! («Вот сволочи, и место оставили, только проставляй!») Обращается к вам бывший командир (красноармеец)... Олять пропуск с многого-чием.

Климченко взглянул ниже: там также шли пропуски — точки, обращения к бойцам с предложением сдаваться в плен. Тут же рекомендовалось напомнить этим людям их конкретные обиды на Советскую власть и перечислить блага плана: семьсот граммов хлеба, горячий обед, утром кофе, каждому одеяло, свобода от большевизма, по желанию костел, кирка или церковь для верующих. В заключение бойцов, места жительства которых были заняты немецкой армией, обещали отпустить по домам.

«Здорово расписали, складно, — подумал Кли-мченко. — Так здорово, что и дурак не поверит». Стара-ясь быть более спокойным, он объявил:

— Ладно! Черт с ним. Я согласен.

— Ну вот и с богом! Поздравляю! — Чернов вышел из-за стола и пожал его руку выше локтя. — Как говорят, раскололся — и добро! Конечно, какой смысл умирать из-за какого-то там идиллического принципа! Правда? Значит, так... Он с удовлетворением, как после нелепкого, но уже законченного дела, потер ладони. — Значит, так... По российскому обычаю надеждит размочить. Как-никак, все-таки людей от смерти спасаем. Это, брат, не измена. Это скорее доблесть!

Он пружинисто присел на своих цегольских, с высокими задниками сапогах, забросил на стол кончик длинной, до полу скатерти-одеяла и вытащил из-под стола желтый, похожий на чемодан ящик. Щелкнул замок, в ящике оказались свертки в блестящем целлофане, бутылки, банки консервов. Точным, заученным движением Чернов поставил на стол два алюминиевых стаканчика. Рядом под сумкой лежал список личного состава взвода автоматчиков.

У Клименко расширились зрачки, когда он увидел его. Внутри все сжалось и похолодело, мышцы в его ослабевшем теле напряглись: всего два шага отделяли его от бумажки, которая сейчас могла круто изменить его судьбу. Это было так необычно, что просто не верилось. «Прошляпил или нарочно?» — напряженно пытался решить лейтенант. Он не сводил глаз с ящика на полу, но искоса видел на столе сумку: в считанные секунды надо было принять решение.

— Вот мы сейчас, как наши, то есть ваши, говорят, и обисом начало твоей новой службы! Коньяк! Видно, такого не пил? — с доброжелательностью радушного хозяина говорил Чернов, выкладывая на стол провизию. На скатерти-одеяле уже лежало несколько банок паштета, пачка галет, завернутый в целлофан кусок колбасы.

«Ошибки или провокация?» — сверлил голову лейтенанта все тот же вопрос. И какой-то неведомый, но настойчивый советник все время твердил: «Давай! Скорей! Скорей! Ну что же ты!»

— Сейчас... Сейчас...

Клименко удобнее расставил возле табуретки свои ноги, слегка наклонился, чтоб ловчее было прыгнуть: одной рукой он намеревался столкнуть сумку, другой — схватить список.

Чернов тем временем выложил на стол две солдатские вилки, склепанные вместе с ложками, и снова запустил руку в ящик.

Клименко подвинул на полу ногу, прыгнул всем телом и прыгнул... Правой рукой он дозволно сноровисто откинул в сторону сумку, левая же, сбросив колбасу, схватила сложенный вчетверо листок бумаги. Чернов недоумевая вскинул голову и почему-то вместо того, чтобы ринуться на него, схватил бутылку, которая падала со стола. А Клименко отскочил на шаг назад и, равную печную дверцу, сунул бумажку в огонь. Вместе с пламенем, мгновенно вспыхнувшим в печке, в нем взвилась торжествующая, победная радость. Но в этот момент сзади с какой-то непонятной истерической веселостью захохотал Чернов.

Не понимая причину этого смеха, но инстинктивно почувствовав свою неудачу, Клименко повернулся назад и, мучительно заломив брови, взглянул на Чернова. Он еще не сообразил, что произошло.

Чернов вдруг обрвался смехом, лицо его сразу одеревенело. Он сунул руку в карман брюк и почти под самым носом Клименко мотнул в воздухе листком бумаги.

— Видаль!

Список личного состава взвода был в руках врага. Чернов аккуратно засунул бумажку в нагрудный карман, старательно застегнул пуговицу и сделал шаг к пленному. В его расширенных глазах вспыхнула и погасла дикая, нечеловеческая злоба.

— Скот, кого обмануть вздумал!

Бешеный удар в левую щеку, в правую, удар в подбородок (кажется, хрустнула челюсть!), звон, треск в ушах, слеп искр из глаз... Клименко откинулся к стене и, напрасно пытаясь прикрыться руками, быстро сползал на пол. Тело помимо его воли стремилось сжаться, свернуться в малопосыный тугой комочек, чтобы как-нибудь выдержать безжалостные удары — в голову, в лицо, в живот, в грудь... Чернов бил яростно и молча, как можно бить только за личную обиду, за собственные неудачи, за непоправимое зло в жизни, вымещающее все на одном человеке.

Вскоре у Клименко перехватило дыхание, и он захлебнулся тягучей, вдруг поглотившей все ощущение мутой.

6

О и снова очнулся, как и там, в траншее, от нестерпимой, судорожной стужи.

Память его с необыкновенной ясностью воспроизвела последние минуты сознания. На этот раз он хорошо понимал, что с ним произошло, только не знал, сколько прошло с тех пор времени и где он лежал. Вокруг было темно. Но он повернулся огромным усилием больного, разбитого тела и увидел сбоку окошко — крохотные световые квадратики размером не более спичечной коробки. Он оперся руками о пол — ладони ощутили шершавое железное обшивки, и тогда он догадался, что лежит в машине. Тело его так дрожало от холода, что он едва совладал с этой дрожью, кое-как перебивая непрерывные мучительные судороги.

Клименко сел, склавшись, подвинулся к стене. Железо обшивки, прогнувшись, брякнуло, и тогда он понял, что его заперли, видимо, в каком-то «газен-вагоне», чтобы назваться куда-то отвести. «Хотя почему куда-то?» — невесело усмехнулся он. После того, что произошло там, в землянке, выкручиваться ему уже больше, видно, не придется. «Вот же сволочи! Надо же было так пережитить! Взяли, как щенка на блесну. Вот тебе и доблесть, дурань избилай!» — ругал себя Клименко, прижав к груди колени и локти, все еще не в силах унять дрожь. Лицо его, казалось, было сплошным струпом, шатались под языком коренные зубы, левый глаз едва раскрывался, так залпы опухолью. Болела челюсть под ухом, и ней невозможно было прикоснуться.

«Видно, кулачных дел мастер, «землячок» проклятый!» — с ненавистью вспомнил он Чернова. — А как подвезал! Как мягко стлал, чуть даже конячку не выпили! Вот тебе и «соотечественники»!

Вокруг стояла сонная, глухая тишина. Где-то в стороне, по-видимому, на дороге, прогудела машина, с передовой донеслось несколько далеких ворчливых пулеметных очередей. После всего, что с ним случилось, лейтенант ждал уже самого худшего — конца, подготовил себя к нему и хотел только, чтобы он наступил быстрее и без особых страданий.

«Ну вот и все!» — думал он. Сколько раз на войне смерть обходила его стороной, даже и тогда, когда надежды на жизнь уже не оставалось, когда обычная солдатская гибель в бою казалась избавлени-

ем! Это постепенно приучило лейтенанта к подосознательной надежде на то, что самое ужасное минует его, что он успеет. Отчасти помогал: он переставал остерегаться, заботился о себе, больше думал о людях, о деле. Так было в каждом бою, в каждой, самой безнадёжной ситуации. Но вот, кажется, настигла косячая и его!

Отдавшись наплыву своих горестных мыслей, он не сразу обратил внимание на новые звуки, что ропот в дремлотной тишине ночи. Сначала лейтенанту показалось, что это был разговор где-то там, на дороге, затем он почувствовал в нем что-то совсем не немецкое и как будто даже знакомое. Это сразу встревожило. Клименко вытянул шею, вслушался; показалось, будто где-то далеко-далеко говорит радио. Так когда-то до войны было у них в лагерях, когда под выходной день он, тогдашний красноармеец пулемётной роты, стоял часовым на самом дальнем посту — складе ГСМ¹, а в столовой «крутили» картину.

Далекое, едва доносившееся из темноты звуки человеческой речи пробивались в кузов этой машины. Клименко затаил дыхание, вслушался и вдруг содрогнулся в ужасе от страшной догадки.

Далеко на передовой звучал динамик. Опирались руками об остывшее железо пола, Клименко рванулся к двери. Тупая, неимоверная боль в боку сразу заставила его остановиться, но он все же дополз до тусклой щели в пороге и замер. Динамик звучал с переменной громкостью, то затухая, то вдруг отчетливо донося слова. Что они были русскими, лейтенант не сомневался, хотя и не сразу улавливал смысл сказанного. Он снова затаил дыхание и тогда услышал слабо, но все же неотвратимо отчетливо:

— ...красноармеец Круглов, младший сержант Агантин, эфрейтор Телушкин...

Они перечисляли его автоматчиков. Больше он не слышал уже ничего. Он вскочил на колени, вскинул над головой руки, ударил ими в дверь. Железо громко брянуло, и он изо всей силы начал колотить по нему кулаками.

— Вы, сволочи, что вы делаете?! Фашисты! Что делаете?! Откройте! Откройте немедленно! Откройте! — истошно кричал он.

Но за дверями было по-прежнему тихо, никто не отзывался в ответ; казалось, никто его тут и не слышит.

— Что вы делаете, звери! Гитлеровцы проклятые! Гадя!

Он бил и бил в двери до острой боли в кулаках. От натуги из затылка снова пошла кровь, горячая стружка ее тихо скользя по спине меж лопаток. Но Клименко уже не жал было крови да и самой жизни, — в отчаянной судороге зашло его сердце перед величайшей несправедливостью.

— Откройте! Откройте! Откройте!

Ему показалось, будто кто-то появился там, снаружи. Тогда он застучал и закричал сильнее — бесзастенчиво, задыхаясь от гнева и обиды. И в минуту безмерного изнеможения услышал:

— Хальт! Шиссен будэм дейайт!
— Ага! Шиссен! Черт с вами! Стреляйте! Стреляйте, сволочи!

Послышался приглушенный говор, видимо, там совещались. Динамик удалеке все еще звучал, но задержавшийся Клименко не мог разобрать ничего: так сильно стучало в груди сердце и билась в висках кровь. Как сквозь сон, доносились выстрелы оттуда, с передовой: наверно, в ответ на пропаган-

ду ударили длинные и короткие очереди «Детгарава». Это обнадёжило, и он застучал сильнее:

— Сволочи! Гадя! Что делаете! Откройте! Не имеете права! Дайте сюда Чернова сюда! Он и сам понимал, что его слова совершенно напрасны, ибо о каком праве можно говорить с этими людоедами, которые наверняка не послушают его! Но это было единственно возможным протестом, так как сделать что-либо он был уже не в силах. И он бил и бил кулаком, бил здоровым бедром, коленями; необъяснимое душевное напряжение придало ему силы. Изредка снаружи злобно рычали немцы, видно, часовые. Черт их побери, он готов был принять очередь сквозь дверь, это его не останавливало. Все его существо жаждало бунта и барачности.

Наконец он совсем обессилел, голос его стал слабым, хриплым, до крови разбитые о железо кулаки распухли. В его будке-кузове уже посветлело, серая мгла раступилась, и на пол из окошка легло пятно робкого утреннего света; ярче заблестела под дверью щель. А он все бил и не слышал, как снаружи нарастал говор людей, вскруж затоптали шаги, откуда-то приехала и остановилась машина, и вот уже возле его уха щелкнул замок-засов. Неожиданно дверь раскрылась, и он едва не выпал из кузова.

На него пахнуло острой сыростью утра. На склонах оврага стили в тумане голые ветви ольшаника, в поисках пищи куда-то пронеслась стайка воробьев. Перед дверью стояли и смотрели на него два немца — один в каске, с автоматом на груди, другой с непокрытой головой, в мундирчике, без шинели. За ними толпились по-разному одетые и разные по возрасту немцы, которые, одинаково приткнувшись, с нескрываемым злобным любопытством смотрели на него. Но он не видел никого: его взгляд, белое скользящее по этому десятку людей, сразу замер на фигуре того, кто вчера назывался Черновым. Нисколько не похожий на вчерашнего, холодно сдержанный, в высокой офицерской фуражке и подполсанной шинели, он стоял возле входа в землянку и, засунув руки в карманы, глядел на него. Рядом были еще два офицера: тот, вчерашний, высокий, в обшитых кожей бриджах, и другой — низенький, подвижной человечек в шинели с черным воротником.

Клименко все это схватил одним взглядом — раздумывая ему было некогда, — сразу же он ринулся из машины к Чернову.

Конечно, его схватили за руки, заломили их за спину, скрутили. Он, как мог, рвался, выкручивался, отчаянно сопротивлялся их грубой силе, и кричал:

— Зверь! Сволота фашистка! И ты, гитлеровский прихвостень! Сволочи! Ублюдок!

Чернов как-то многозначительно вытянул из карманов руки и неторопливо пошел к машине. Ближние солдаты встали, и он подошел к Клименко и сильно два раза ударил его по лицу. Лейтенант рванулся, закричал, но его крепко держали. Тогда он в бешенстве скинул ногу и едва не ударил ею Чернова в живот. Тот ловко увернулся.

— Абшнайден кноппел! — бросил он кому-то из солдат и отошел на три шага.

Двое из тех, что с ехидным любопытством смотрели на все это, подскочили к пленному. Рыжий, в синем комбинезоне солдат щелкнул большим перочинным ножом и сбоку, остерегаясь удара ногами, дернул его за штаны. Второй обхватил руками локоть обхватил его ноги. Клименко сначала не понял, что они придумали, рванулся, но напрасно. Рыжий реза-

¹ ГСМ — горюче-смазочные материалы.

¹ Срезать пуговицы! (Н е м.)

нул брезентовый пояс его штаны, и на землю одна за другой посыпались пуговицы, отлетавшие с ключком материи крючком.

— Гад! Что вам надо? Что вы делаете? Убейте сразу! Ты, сволота! — закричал он на Чернова. — Стреляй! Скорее, ну!

Чернов криво усмехнулся, искоса взглянул на офицеров, стоящих у входа в землянку, один из которых, низенький, льняно хохотал, а второй лишь брезгливо кривил губы и процедил сквозь зубы так, что услышать и понять его мог, видно, один только пленный:

— Это для тебя слишком большая роскошь. Ты еще меня попомнишь!

Вернувшись к землянке, он о чем-то заговорил с офицерами. Высокий только шевельнул густыми белыми бровями, низенький же, явно заинтересовавшись, подошел поближе и некоторое время слушал Чернова. Солдаты издали тоже вслушивались в их разговор. Наконец высокий сказал: «Яволь!», а низкий злобно захохотал.

— О, зор гут, гер Шварц! Яволь! Рус капут!

По чьей-то команде те, что держали его, отпустили: в отчаянии скрипя зубами, Клименко вынужден был обеими руками схватить свои брюки и держать их так, унизило и беспомощно. Душу его раздирало от гнева, бессилия и позора. Казалось, на минуту он захлебнулся в немом внутреннем вопле. А рядом, злобно потешаясь, ржало десятка полтора немцев и злобно хмурился этот проклятый «Чернов», настоящую фамилию которого он только что узнал.

Наконец этот Шварц-Чернов отошел от офицеров, передвинул на ремне жесткую кобурку «вальтера» и рывком расстегнул ее. Сбоку к Клименко подступил солдат, тот, что держал его за руки; второй, раздетый, бегом бросился куда-то; через полминуты, на ходу надевая шинель, он вернулся с винтовкой. Клименко толкнул в спину и погнался.

Конеч!

В который раз за эти сутки охватывала его эта гнезущая мысль, и в который раз она не сбывалась! Но вот, кажется, убьют. Он подумал тогда, что они делают это где-нибудь в овраге, подальше от людей. Однако немцы вывели его на вечернюю тропинку и погнались по ней все ближе к передовой. В нескольких шагах впереди шел Шварц-Чернов. Он все время молчал и не оглядывался. Сзади, о чем-то переговариваясь и попеременно затягиваясь одним окурком, толпились конвоиры. С окровавленной головой, в одной гимнастерке, пленный шел медленно, придерживая руками брюки.

«Ну и придумали, сволочи! Не удерешь и не ударишь. Видна выучка!» — думал лейтенант о Шварце. Голова его кружилась, пояска сбилась с затылка и держалась только за ухом, гимнастерка на плечах была забрызгана кровью. Ордена на груди уже не было видно, вчера отплатили в землянке.

На склонах оврага стлался клош тумана, низко нависало матово-серое небо, было сыро и холодно. Клименки мучительно захотелось хоть какого-нибудь конца...

7

Тем же, вчерашним путем его гнали на передовую.

«Что им еще надо? Что они надумали, сволочи!» — сильнее, чем боль и холод, начал изводить его этот вопрос. С отчаянием и ненавистью он бросил на ход Шварцу:

— Ты, гад! Хватит мучить. Стреляй!

Тот повернулся и, придерживая рукой фонарик, кожаным ушком пристегнутой к груди, взглянул на него из-под влажного козырька фуражки.

— Стреляй? Нет, стрелять я подожду. Я сначала устрою тебе маленький спектакль. Знаешь, как это у вас говорят: концерт самостоятельности.

— Подпола! Чего тебе еще надо?

— Скорее увидишь.

Так они вышли из оврага в низину. В сырой от тумана траве влажной набрякли сапоги. Идти становилось все тяжелее. Кругом в сером, туманном мареве лежала весенняя земля.

Шварц молчал, то и дело бросая из-под козырька быстрые взгляды по сторонам. С высоты доносились выстрелы — то автоматные, то винтовочные, — но они только свидетельствовали о защите на передовой. Боя там не было. Неопределенная тишина под высотой поразила лейтенанта угрюмой неизвестностью. Думалось: «Что там случилось? Где рота?» Но оттого, что он шел ближе к своим, становилось все-таки легче на душе, хотя он знал, что помочь ему тут никто уже не сможет.

Знакомой тропинкой они четверомером дошли до начала траншеи, что, извиваясь по склону, вела на высоту. Шварц спрыгнул в траншею — тут она была неглубокой — и быстро пошел, по-прежнему оглядываясь по сторонам. Впереди раздалось еще несколько выстрелов, сверху с тугим мужицким, замирая вдали, пронеслись пули. Но это были наши выстрелы и наши пули — тихой радостью отзывалось на них сердце пленного.

Шварц догнал группу солдат с поднятыми воротниками и натянными на уши пилотками. Они прижались спинами к стене, почтительно пропуская офицера. В руках у них были плоские алюминиевые котелки, видно, с завтраком. На Клименко пахнуло запахом кофе, и от внезапного ощущения голода у него помутилось в глазах.

Под арабско-любопытными взглядами притихших солдат он пошатнулся, по-прежнему придерживая брюки — темно-синие диагональные галифе, что достались ему от их последнего ротного.

Траншея петляла изгибами и все дальше и дальше взбиралась на высоту. Шварц начал понемногу пригибаться: где-то уже совсем близко были наши. Клименко гнуть голову перед своими не хотел, раза два выглянул из-за бруствера, но кто-то из конвоиров сзади прикрикнул, и Шварц зло оглянулся на него.

— А ну, ниже! — строго сказал он, и Клименко позлорадствовал в душе над этой заботой о его безопасности. В то же время его недоумение от необычности намерения этого палача все возрастало, и как он ни старался, не мог сообразить, что с ним порешили сделать. «Может, все-таки агитировать заставят? Так я им поагитирую! Запомнят, собаки!»

Но агитировать ему не пришлось.

Минута удаленных его появлением, мерзнувших в застленных соломою стрелковых ячеек немцев, они взобрались по траншее на самую высоту — чуть ли не в то место, куда он так неудачно воровался вчера. Где-то совсем близко, видно, в том же самом овраге, была его рота, и ощущение этой близости вызвало нестерпимую тоску по всему родному, что было для него навсегда утрачено. Как о нависшем счастье, мечтал он хотя бы один день провести там, хотя бы в одну атаку сходить вместе со всеми. Он бы не ругал теперь этого нерасторопного и неуклюжего, но, по существу, вовсе не плохого Голангу, готов был забыть все свои обиды на ротного. Он

бы пошел теперь с ними в любой бой, в самое пекло, лишь бы оказаться среди своих. Где-то внутри шевельнулась в нем и жалость к себе за такой нелепый, неудачный конец. Ну что ж!..

Они подошли к пулеметной ячейке, которая ближе других была к оврагу. Из ячейки выглянула молодой пулеметчик — небольшого роста, ладно сбитый крепкий в длинной, выпачканной глиной шинели. Шварц что-то сказал ему. Пулеметчик, оставив на бруствере пулемет с лентой в приемнике, удаленно посмотрел на пленного, потом окликнул кого-то, очевидно, соседа по траншее. Тот прокричал что-то дальше... Около них, скупно переговариваясь, собрались солдаты. Задымили сигареты, и сладковатый, хмельной на холодном воздухе дым своим запахом нестерпимо закружил голову.

Шварц терпеливо ждал, а у Клименченко все внутри сжалось; он чувствовал, что вот-вот настанет развязка.

Наконец тот, кого ждали, пришел. Это был толстенный, заспанный, небритый офицер. Медово-белый и бесцеремонно утасывая на пленного красноватыми, кроличьими глазами, он выслушал Шварца, буркнул свое «яволь» и прихлопато что-то приказал солдатам. Те передали приказ по траншее.

— Ну, иди! — затаяв что-то явно недоброе, крикнул он Клименченко.

Лейтенант почувствовал, что тот самый последний для него час настал, и был готов встретить его как победоносца.

Но он не понял своего палача.

— Куда?

— Вылезай. Иди. Туда, к своим. Ты же хотел, как жесть?

— Как к своим?

— Очень просто. Вылезай и толпай. Чего испугался? Или, может, не хочешь?

«Что он затеял! — лихорадочно размышляла Клименченко. — Страшный этот человек-зверь, что он еще подготовил? Смерть? Это понятно, но почему именно такую? Ну что ж... Пусты! Может, даже так и лучше — на поле боя, на глазах у своих... Пусты!»

Лейтенант шагнул мимо Шварца и грудью ткнулся о бруствер. Траншея была тут глубокая, а руки Клименченко были заняты брьюками, и он сорвался, ударившись подбородком. Это было унижением: сзади, сдерживая любопытство, стояли немцы, сопели, кашляли, толкали сапогами; все глядели на него, и он от совершенной беспомощности вдруг растерялся. Тогда молодой крепкий пулеметчик, чью ячейку они заняли, шелкнул пружинкой своего ромня и, сняв его с длинной шинели, подал Клименченко. Мучаясь от стыда и унижения, лейтенант даже не взглянул на него, машинально подтянул и туго подпоясал брюки. Потом, напрягиваясь каждым мускулом, он вскопчил грудью на бруствер и вылез из траншеи.

Впереди распростерлась необятная, притуманенная ширь поля, близкий у подножия высоты овраг, покатым склоном с полегшей стерней и уходящая под самое небо весенняя даль. Это предсмертное прикосновение неурядицей тоской резануло сердце. Клименченко не мог ни понять, ни почувствовать даже, откуда — то ли из этого серого, печального, но такого до боли родного и свободного простора, то ли, может, из самой его страдавшей души — вдруг загремело в нем где-то внутри нечто вечное, величественное и почти святое, перед чем человек и все его заботы были бессмысленны и ничтожны. В какой-то короткий миг Клименченко почувствовал себя муравьем и богом одновременно, будто с порога вечности на секунду заглянул в его лицо великая,

не познанный в жизни сущность бытия. На нескольких коротких секунд утратив собственное ощущение, как бы растворившись в небитии, он вознесся над этим простором — над огромной искровавленной землей, траншеей, оврагом и даже собственной скорой гибелью.

Пряда, мимолетный взгляд туда, назад, в одно мгновение низвергнув его к земле, к своей смерти, и он, отсчитывая последние мгновения, шагнул с бруствера.

Потом медленно, уже реально ощущая себя и все земное вокруг и прощаясь с жизнью, он пошел от траншеи в поле, вниз, к оврагу, ожидая всем телом очереди или, может, залпа и зная, что все кончится как нельзя более просто. Смерть слишком простая штука — на войне он убедился в этом и давно не боялся ее. Ему только хотелось теперь не прозевать последний миг, отметить его как точку, как последнюю грань его жизни.

Но выстрелов сзади все не было, и он шел дальше. Ветер тугой волной толкал его в грудь, лохматил на голове волосы и концом бинта хлестал по щеке. Клименченко сорвал его и вместе с окровавленным комком ваты отбросил в сторону. Цепляясь за жизнь, повязка запылала на ветру.

«Ну стреляйте! Стреляйте же, сволочи!.. Где же выстрелы!» — молил он.

Выстрелов, однако, не было. Тогда Клименченко остановился, выждал, оглянулся. Вдоль всей траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов. Видимо, то, что он остановился, не входило в их расчеты, и несколько голосов закричало:

— Рус, шинель! Дом, дом шинель! Рус, пуф-пуф! — Потом раздался хриплый солдатский хохот.

«Почему же они не стреляют? Почему не убивают? Чего медлят!» Удивление исподволь начало перерастать в тревогу, которую уже не могло заглушить и безнадёжное ожидание смерти. Встрепанный, он почувствовал, что все не так просто, что Шварц что-то затеял: не худшее ли, чем сама гибель? Возбужденный и озадаченный, он был не в силах сообразить, что происходит. Клименченко лишь чувствовал опасность сзади, все дальше отходил от нее и невольно прибавлял шаг. В то же время он был твердо уверен, что с этого склона они не выпустят его живым. Может, впереди минное поле? Может, там вчерашняя автоматическая пушка?

И он шел. Вот уже и дорожка с бурьяном в канавках, рядом распластанное тело в шинели — то ихний, но Клименченко даже не взглянул на него; неподалеку второй, с взвешенным на спине бархатом из вешешка — лейтенант узнал в нем гармониста и зашептал Прошина.

Он все быстрее шагал вниз, вниз к оврагу и, напрягаясь каждым нервом, ждал. Но там, на высоте, молчали. До него долетали лишь бессвязные чужие голоса и хохот.

Наконец он отошел настолько, что убить его первыми выстрелами было уже не так легко. Он снова оглянулся — нет, за ним не бежали. И тогда все его существо вдруг открылось желанию — жить! Жить! Жить! Он равнулся, что было силы, ветер туго ударил в грудь, но он прыгнул, кинулся вперед и побежал сверху вниз по полю, шатко, неуверенно, от слабости почти не управляя телом. И все же он, как какого-то оправдания, как исхода мучительной неопределенности, ждал беду, с высоты, выстрелов.

Но выстрелов не было. Ни одного. Никтокуда. Высота замерла, притаилась, стихла. Тогда его внезапно охватил мгновенный, не осознанный еще страх, он

споткнулся, ослабевшие ноги не держали его. Бессмысленным, блуждающим взглядом лейтенант взглянул вниз, где уже так близко было спасение, и остановился как вкопанный.

По всему берегу оврага из траншей и окопчиков-ровиков торчали каски, шапки автоматчиков. Он не видел еще ни их лиц, ни взглядов, но что-то страшное вдруг подсознательно передавалось ему. И он отчетливо, как это может быть только за секунду до смерти, понял, что и эти люди тут видят в нем врага.

Это новое открытие ошеломило его, что-то в нем сразу перегорело, ноги сами рванулись в сторону, он, не зная и не понимая, как и что случилось и что делать дальше, оббежал по стерне кривую — безымянную замкнутую петлю, — еще раз увидел молчаливую высоту и тогда окончательно понял, что с ним произошло.



Климченко опустил руки; голова его бессильно повисла на груди, и, шатаясь от ветра, он медленно побрел в овраг. Там он увидел чьи-то руки на свеженарытой земле, пустые закопченные гильзы, рассыпанные в сухой траве, клочки газеты, прибитый ветром в бурьяне. Дойдя до обрыва, он несколько боком, чтоб не свалиться, ступил в него, потом, едва

держась на ногах, сошел вниз. Рядом были люди, но он не видел их, они все молчали, из-под его ног сыпалась и шуршала по обрыву гравий. Потом в поле его зрения попали знакомые валенки с желтыми старыми подкладками, и он, вздрогнув, поднял голову: напротив стоял Орловец.

Страшное, черное от густой щетины лицо ротного, на котором бешено горели глаза, не удивило его и не испугало, лейтенант онемело и безразлично взглянул в гневную пропасть его зрачков. Он не удивился также, когда в следующее мгновение с нестерпимым звоном в ухе полетел на землю. Молча, затрав дыхание от боли в голове, он медленно встал и изо всей силы, еще сохранившейся в нем, ударил ротного. У него не было уже ни злости, ни обиды, было только пражнее постоянное ощущение беды, которая так несправедливо обрушилась на него и скинути которую просто уже не было возможности. Он молчал, ждал за этим ударом другого — более сильного или, может, выстрела — в грудь или спину. Сзади и по сторонам стояли бойцы. Кто-то из них крикнул что-то обидное, другие подхватили:

- Продавать!
- Подпевала фашистский!
- Пришел за остальными!

Он ждал этих выкриков, оправдываться у него не было сил, да он и не находил слов, чтоб опровергнуть эту чудовищную несправедливость. Впервые со всей ясностью он понял коварный замысел Шварца и с новой силой почувствовал, что действительно смерть теперь для него — роскошь.

Но почему молчит, не стреляет в него Орловец, чего он ждет, непонятным, окаменевшим взглядом уставившись в его лицо? Лейтенант поднял глаза и, встретившись с этим взглядом, вдруг неожиданно для себя увидел в нем почти что растерянность. Показалось: ротный обо всем уже догадался, прочитал на окровавленном лице лейтенанта его страшную беду и теперь ему оправдываться уже и не надо. От этого а душу его вдруг хлынула нестерпимая обида. Климченко расслабленно опустился на землю, защемял меж колен лицо и выдал из себя нечеловеческий, полный отчаяния и боли стон:

— Братцы мои!..

Больше он ничего сказать уже не мог. Кругом гневно гудели бойцы.

— Ти-хо! — покрывая гомон, вдруг крикнул Орловец. — Молчать! Коли ни черта не понимаете!..

Тогда бойцы, видимо, что-то почувствовали, как-то сразу притихли. Климченко услышал ругань и угрозы уже по адресу гитлеровцев. В безысходном отчаянии он затаял дыхание, стараясь зажать в себе свое горе, и услышал поблизости знакомый, такой рассудительный, родной голос Голаного:

— Что ж, сынок! Что теперь сделаешь! Старик! Как-нибудь...

Эти сочувственные, тихие слова пожилого человека, с которым у лейтенанта бывало всякое — и плохое и хорошее, — неожиданно словно восстановили в его душе что-то сдвинутое, сбитое несчастьем со своего обычного места. Может, в этих словах отразился тот трудный, всегдашний Голаного, упрямый, терпеливый, податливый, с которым немало поборолся Климченко, и лейтенант теперь внутренне рванулся в протесте против этого «как-нибудь». Он не хотел «как-нибудь»: либо он будет пражним для них, либо никаким.

Протест этот невозможен все другие чувства. Климченко с новой силой, с окрепшей в нем злостью вскопал. Жажда доказать свою невиновность и бешеная ненависть к фашистам неудержимо вспыхну-



ли в нем. Казалось, он нашел выход. Минуту назад метавшийся, как в западню, он решился на единственно верное, извещательное...

Климченко быстро вскочил, глаза его пылали бешенством, рванулся к Голяного и дернул за дуло его автомата.

— Дай!

Голяного бессмысленно моргнул заплаканными, уставшими глазами, но в следующую секунду опустил руку, снял с плеча автомат и отдал его взводному. Климченко, будто обезумев, рванулся по склону из сарага и по ниве устремился туда, вверх, к высоте.

Сзади было тихо-тихо. Он не оглядывался и не слышал ничего: на мгновение все на обрыве будто онемело, и никто не задержал его, не выстрелил, только через секунду кто-то выругался, и затем над оврагом взвился зычный молодой голос телефониста Капустина:

— Сволочи! Это все они, сволочи!..

Как-то подспудно лейтенант ждал чего-то сочувствия, ждал его, сам себе не признаваясь в этом. Горячая расслабляющая волна окатила его с головы до ног, и Климченко вдруг почувствовал, что ожил, воскрес, что появилась надежда. А сзади уже затопали ноги бегущих бойцов — значит, его не бросили, поверили ему, — все это быстро возвращало его к жизни. Теперь парад ним были только немцы, был проклятый Шварц, и все в нем устремилось туда — к отщепенцу либо к смерти.

Столь же быстро вдруг все оборвалось.

— Отставить! Стой! Назад! — долетел откуда-то сзади крик Орловца, и уже почти что выстроенная на бегу цепь дрогнула.

— Климченко, назад! Все назад! Бегом!

«Что это? Что это? Почему? Зачем?» — вдруг снова все запротестовало в нем. Но за несколько последних минут он уже успел снова стать частью целого и теперь, как и все, обязан был подчиниться этой команде. И он упал. Немцы еще не стреляли, но слаженный бег десятка людей, кинувшихся за ним,

уже нарушился. Некоторые попадали, а другие побежали обратно в сараг, на краю которого стоял Орловец.

Отдавшему щемляще-тревожному чувству, Климченко встал и, волоча за ремень автомат, побрел полем вниз.

8

Климченко дошел до края, где скрылся командир роты, и увидел его уже внизу, у ручья. С ним стоял офицер в белом полушубке с пистолетом в опущенной руке. Оба они настороженно смотрели на лейтенанта.

Почти физически ощутив что-то враждебное в этом ожидании, Климченко медленно спускался с обрыва. Обессиленный, растрепанный, в неподжоганной гимнастерке, без шапки, с взлохмаченными ветром волосами, он снова и особенно остро почувствовал свою униженность и беду. И все же это было еще не самое худшее. Самое худшее произошло, когда в человеке с пистолетом в руке он вдруг узнал штабного офицера Петухова, о котором в полку говорили, как о большом формалисте и чинуше. Да и сам Климченко как-то крепко поругался с ним и теперь не ждал от него ничего хорошего.

Будто вкопанный, разрыв каблукками суглинок, лейтенант остановился.

— Пойдешь в трибунал! — злобно сказал Петухов.

— За что? — тихо, про себя спросил Климченко кого-то, но никто не ответил ему, и тогда он выкрикнул громче: — За что?

И опять ему никто не ответил — ни Петухов, ни Орловец, который, сдвинув костлявое надбровье, хмуро глядел на него, ни автоматчики, что встали на обрыве почти по всему склону и также следили за ним. Тогда он вздрогнул, поняв, что западня за ним навсегда уже захлопнулась.

— За что? За что? — закричал он, едва удерживая-

ясь на голом крутом обрыве.—
За что? Капитан, скажите!

— Ничего, Клименко, не бойсь!
Иди сюда. Разберутся,— незлобиво
сказал Орловец и сделал несколько
шагов навстречу.

«Разберутся!» Он уже знал, как
это иногда бывало... К тому же он
увидел, как Петухов, приподняв
пистолет, снял курок с предохра-
нителя.

Клименко медленно опустил
руку, автомат на ремне стукнулся
о землю, и он впервые почувство-
вал его тяжесть. В это время он
ясно осознал, что последняя его
надежда оборвалась и все наве-
гда кончено.

— Ты победил, сволочь! —
сказал он, будто в тумане видя
перед собой ледяные глаза
Шварца-Чернова. Сказано это
было совсем тихо, но в той тиши-
не, которая воцарилась в овраге,
его слова были услышаны, и Пе-
тухов махнул рукой.

— Взял его!

Два сопровождавших Петухова
бойца из комендантского взвода
неохотно полезли на обрыв. Вид-
но было, что они боялись и все
время настороженно поглядыва-
ли на лейтенанта. Лезть было
неудобно, бойцы срывались и па-
дали, опираясь на ружья. Климен-
ко, стараясь как можно быстрее
на что-то решиться и боясь, что
не успеет сделать этого, негром-
ко прикрикнул:

— Стой!

Бойцы остановились, один опу-
стился на колено, второй стоял,
широко отставив в сторону ногу. Клименко немного
знал их: когда-то в Дворничах вместе они отбивали
немецкую атаку, спасали штаб полка и полкового
знамя, которое тогда едва не попало в руки немцев.
По нахмуренному выражению курносых лиц было
видно, что хлопцам очень неприятно связываться во
все это дело. К тому же, наверно, они все-таки
побоялись его.

— Стой, хлопцы! — уже мягче сказал Клименко.
Он начал успокаиваться и чем дальше, тем все от-
четливее понимал, что вокруг происходит и что надо
делать. Это придало ему уверенность и душевную
слаженность — способность победить что-то непобе-
димое в себе. Но в это время Петухов отдал какое-
то приказание бойцам и пошел к обрыву.

К нему кинулся Орловец.

— Постойте! Что вы делаете? У меня на носу
атака! Вы соображаете или нет?

Петухов, не взглянув на рогного, сквозь сжатые
зубы бросил:

— Трибунал все сообразит.

Это было сказано только для Орловца, но в тро-
гательной тишине оврага Петухова услышали все, и в
грудь Клименко что-то безнадежно дрогнуло. На
минуту в нем блеснула и погасла невольная призна-
тельность к ротному. Но тут же явилась мысль: «Нет,
че надо! Не надо! Не упрямивей! Бесполезно!»

Петухов долез до крайнего солдата и с упорной
суровостью на мясистом лице толкнул его в шею.
Парень упал на колени, встал и полез выше. И в то
же время Клименко необыкновенно обостренно



ощутил неизбежный, казалось, неминуемый уже не от-
вратимый конец.

Чтоб не передумать, не дать в себе ослабнуть че-
му-то, как ему показалось, предельно ясному и
единственно возможному, он перехватил рукой авто-
мат и приставил его будто специально скошенный
для того дульный срез к своей груди.

Но Голаного, стоявший сбоку и зорко следивший
за ним, вдруг с силой схватил его за руку и отвел
автомат в сторону.

— С ума сходишь, взводный! — глухо вскрикнул
он. — Разве ты чего такой смертью докажешь?

И не успел Клименко даже сообразить, что дол-
жен он ответить, как где-то за спиной, за оврагом, гулко
ударило в воздухе — раз, второй... Над головами ав-
томатчиков с пронзительным свистом прошли сна-
ряды и, крикнув, разорвались над высотой. Климен-
ко понял: артиллеристы начали обстреливать немец-
кие позиции. И еще понял: через несколько минут
начнется атака.

Стоявший рядом Орловец зло затянул ремни, по-
правил ушанку, посмотрел на часы и сквозь зубы
тихо сказал Петухову:

— Вот что, капитан! Уходите отсюда подобру-
поздорову. Здесь я хозяин. Я выполняю боевой при-
каз: через десять минут атака. С Клименко после
разберемся. — И, не дожидаясь ответа, четко подал
команду: — Командиры взводов, по местам!

— Ты за это ответишь! — с глухой яростью про-
шептал Петухов.



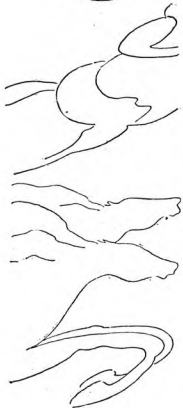
МАТЬ РАССКАЗАЛА

Когда-то мать рассказала мне, что родился я в глухую декабрьскую ночь в черной бане, врытой в берег речки Полднёвки. Бушевал буран.

Я живо представил себе.

Люди несут в избу теплый живой комочек, укутанный в трлпки и дырявый мужицкий полушубок. Буран с ревом налетает на них, силясь задуть только что затеплившуюся жизнь. Люди прикрывают ее собой.

Прикрыл ли я собой хоть одну человеческую жизнь?



ПО ТРЕВОГЕ

Двадцатый год. Словно окаменевший, трубач стоит посреди двора и, запрокинувшись к звездам, трубит.

Сколько раз мы слышали этот сигнал! Дымились морозы, бураны наваливались на холодный тифозный город, а мы по тревоге седлали коней.

В нескольких километрах от города пожар на заводе. На помощь пожарникам вызвали нас, курсантов. Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи. Перед глазами подпрыгивает светлая круглая луна...

Спешившись, мы замаялись, не зная с чего начать. Но вот мы уже работаем топорами и, обливая шинели, плещем из ведер в ненасытное шумное пламя. Один из пожарников вскрикнул и бросил брандспойт. Струя огня и пара обожгла ему лицо. Брандспойт подхватил курсант. Чтобы не загорелась на нем шинель, его обливают из другой пожарной кишки. Струя воды, как палка, колотит его по бокам и спине.

Пожар свирепствовал больше часа. Наконец, обжигая и шиня, огонь начал отступать.

Снова позвякивает стрема о стрема. Застоявшиеся кони набирают рысь. Луна поднялась уже высоко, и вокруг нее появилось мгlistое белое кольцо — признак большого мороза. Шинели заledenели и стоят торчком.

Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи... Слышите? Это цокот копыт.

А Т Ю Р Ы

Рисунки Ирины Клименко.



ДОЖДЕВАЯ КАПЛЯ

Давно, кажется, еще перед войной, я зашел на выставку нескольких наших художников на Кузнецком. Стены были увешаны огромными полотнами. В глазах рябило от красного цвета, парадной торжественности и улыбок.

Ни одно из этих полотен не задержало надолго моего внимания. Я с грустью размышлял: если художник, тщательно выписывая на груди орде-

на, не попытается понять, какое сердце бьется под ними, он вряд ли способен создать что-либо значительное.

Я уже собрался было уходить, но вдруг почти у самой двери заметил написанную маслом крохотную, ладони в две величины картину в широкой ореховой раме. На ней не было ничего, кроме зеленых листьев «смородины». В их темной, сумрачной гущине блестела одна-единственная дождевая капля. Я простоял у этой незаметной картины дольше, чем спонялся до этого по выставке. Мне казалось, что я стою в саду. Только что прошла гроза. Сыро. Свежо... И если я сейчас вспомнил о выставке этих художников, то только потому, что и сейчас вижу эту тяжелую, готовую скатиться с листка дождевую каплю.

Пустячок? Безделушка? А сколько ж она прибавила мне душевного здоровья, радости!

Возвращаясь домой, я удивился: как это я не замечал, что и городское небо полно звезд?

НО Я ЛЮБЛЮ...

Знаю!

Вы веселый человек и любите улыбку.

Я тоже ее люблю,

если она не от сытого самодовольства.

Уныние?

Оно недостойно человека.

Но я люблю грусть,

эту задумчивую сестру

размышлений и замыслов.





«...Я увидел тело человека, распростертое на ступенях лестницы... Тело... без головы. Голова лежала отдельно»,

(Алексей Коробинин. Тайна музея восковых фигур, стр. 29).

Тайна

Повесть

МУЗЕЯ

ВОСКОВЫХ ФИГУР

Рисунки В. Горяева.



ОТ АВТОРА

В этой повести я почти дословно передаю то, что рассказал мне мой друг, известный американский журналист. Имени его я не называю по причинам, которые станут ясными, когда читатель прочтет эту повесть. Мы познакомились с ним в 1960 году в одной из стран Европы, где он, тяжело больной, обрел свою вторую родину. Мой американский друг взял с меня слово, что, если я когда-нибудь захочу опубликовать то, что он мне рассказал, то сделаю это лишь после его смерти и приму все меры, чтобы оградить некоторых лиц от возможных неприятностей. Не так давно мой друг умер. Эту повесть я посвящаю ему.

Выполняя данное мною обещание исключить всякую возможность использования изложенного здесь материала против кого бы то ни было, прибегаю к следующему официальному заявлению:

СЮЖЕТ КНИГИ «ТАЙНА МУЗЕЯ ВОСКОВЫХ ФИГУР» — ВЫМЫСЕЛ АВТОРА. ВСЯКОЕ СХОДСТВО ФАМИЛИИ, ХАРАКТЕРОВ И ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНОЙ СЛУЧАЙНОСТЬЮ И НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

Глава первая

НЕМНОГО УГОЛОВНОЙ
ХРОНИКИ

Джимми, нагловатый веснушчатый мальчишка — рассылный, который разносил почту по отделам в редакции нашей газеты, — выполнял свои обязанности весьма оригинально: распахивал ногой дверь, становился посреди комнаты и швырял в столы сотрудников конверты, папки и объемистые пакеты. Он делал это виртуозно: не было слу-

Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 году в городе Ла Риоха (Аргентина) в семье русских революционных эмигрантов, бежавших из царской ссылки после поражения революции 1905 года.

В 1924 году вместе с родителями А. Коробицин приехал в Советский Союз. С восемнадцати лет он работал механиком на судах дальнего плавания, затем сражался в рядах Интернациональной бригады против фашизма в Испании. Несколько лет жил в странах Латинской и Северной Америки. Во время Великой Отечественной войны руководил разведывательно-диверсионной группой в тылу противника.

чая, чтобы хоть один конверт упал на пол или сшиб чернильницу. Когда же очередь доходила до моего стола, Джими превосходил самого себя (дело в том, что в то время я был литсотрудником воскресного приложения к газете «Нью-Йорк Глоб» и через мои руки ежедневно проходило огромное количество корреспонденции). Толстые конверты и пакеты с рассказами и романами летели через всю комнату и шлепались на мой письменный стол с таким грохотом, будто под самым носом рвались рождественские хлопушки.

В то утро Джими небрежно пнул ногой дверь, и когда я покорно откинулся в кресле и прищурился в ожидании очередного обстрела, он швырнул мне на стол одну-единственную и довольно тощую пепку. Словно подерживая свое презрение к такой скудной почте, негодный мальчишка бросил ее как-то особым элитаристским приемом: папка бешено закружилась в воздухе и, попав ко мне на стол, спутала все мои бумаги.

Я был озадачен. Погрешенная папка из тех, которые употребляются внутри редакции для отписок... Тупым концом карандаша я пододал ему ее к себе поближе. Адресована мне. Раскрыл. Внутри вырезки из уголовной хроники последних номеров нашей газеты.

Я должен привести их полностью. Дело в том, что впоследствии, перечитывая их десятки раз, я в конце концов обнаружил в тексте нечто очень важное, сыгравшее огромную роль в жизни многих людей. И в моей собственной.

Вот они, эти заметки.

Вечерний выпуск. Воскресенье, 9 августа.

УБИЙСТВО В МУЗЕЕ ВОСКОВЫХ ФИГУР НА ОСТРОВЕ ВЕСЕЛЬЯ КОНИ-АЙЛЕНДИ

Зверски убит швейцар музея. Убийца окружен полицией и отчаянно обороняется. «Ради бога не повредите моих восковых кукол», — умоляет хозяин музея мистер О. Губинер. — Им нет равных во всем мире!»

Таинственное исчезновение убийцы!

Сегодня в три часа дня, после обеденного перерыва, мисс Анна Паризини, кассир Музея восковых фигур, одного из старейших аттракционов Кони-Айленда, обратила внимание на то, что двери музея закрыты изнутри. В помещении на втором этаже, как обычно, должен был находиться сторож музея, но кто Рамон Монтеро, по национальности мексиканец, сорока восьми лет. На стук в дверь никто не отзывался. Тогда вызванный к месту происшествия постовой полицейский О'Хара, убедившись, что двери музея закрыты изнутри и сторож на стук не отвечает, приставил к стене лестницу и заглянул через окно. Вывавший виды О'Хара чуть не лишился чувств от зрелища, которое открылось перед его глазами: мраморная лестница была залита кровью: обезображенный, без головы, труп лежал на ступеньках, и возле него кто-то возмущался, вероятно, убийца. Как только О'Хара сообщил об этом, огромная толпа любопытных тотчас окружила здание музея. Бандит очутился в мышеловке. На месте происшествия побывало несколько моторизованных пол-

цейских патрулей и хозяин музея мистер Оскар Губинер, который сделал вашему корреспонденту следующее заявление: «Экспонаты моего знаменитого музея, — сказал он, — оцениваются в четверть миллиона долларов. Мои восковые фигуры известны во всем мире. Если они пострадают, это будет непоправимой потерей для человечества... Врагов у меня нет, но конкурентов много: театры, кино и даже издателей приключенческой литературы. Ведь в моем музее можно увидеть такие зрелища, что люди со слабыми нервами падают в обморок...» Решено помать входные двери. Дело лишь за подкреплением, так как наличными силами полиции едва справиться с огромной толпой любопытных, которых не мог разогнать даже сегодняшшний ливень.

Читайте новые подробности в нашем утреннем выпуске!

Заметка сопровождалась двумя фотографиями. Пожилой полицейский вытирал платком потное лицо.

«Черт меня побери...» — гласила подпись. — Я никогда не видел ничего подобного! Рассказывает полисмен Генри О'Хара, сорока двух лет, пять футов и одиннадцать дюймов роста.

А под фотографией худой растрепанный женщина, что-то горячо рассказывающей группе людей, слова:

«...Его звали Рамон Ортега Монтеро. Он работал в нашем музее чуть ли не двадцать лет...» — объясняет нам кассирша музея мисс Паризини, уроженка солнечной Италии.

Утренний выпуск. Понедельник, 10 августа.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЗВЕРСКОГО УБИЙСТВА В МУЗЕЕ ВОСКОВЫХ ФИГУР!

Таинственное исчезновение убийцы!

Вся полиция Нью-Йорка поднята на ноги! Бандит действует в перчатках. Парк аттракционов на острове веселья Кони-Айленд становится ареной трагического происшествия.

Как известно нашим читателям, вчера в три часа дня старинный аттракцион Кони-Айленда — Музей восковых фигур — стал ареной кровавой драмы. Выстрелом в голову зверски убит на своем посту швейцар музея, уроженец штата Калифорния Рамон Ортега Монтеро, гражданин Соединенных Штатов Америки, мексиканского происхождения, женатый, сорока восьми лет, пять футов и девять дюймов роста. Таким образом, к многочисленным жутким картинам убийств и грабежей, изображенных более чем семьюстами мастерски сделанными восковыми куклами, прибавилось еще одно убийство, вполне достоянное быть увековеченным в... Музее восковых фигур!

Мексиканец Монтеро не был простым швейцаром. Он являлся одновременно участником аттракциона, с которым знаком каждый, кто посетил этот музей хоть раз в последние четырнадцать лет. Швейцар стоял на площадке второго этажа вместе со своим двойником, восковой куклой. Одеты в одинаковые национальные мексиканские костюмы, они были похожи друг на друга, как две новенькие долларовые бумажки. Посетители музея часто ошибались и протягивали входные билеты кукле. Это была подлинная веселая шутка!

Бандит, по-видимому, проник в музей перед обеденным перерывом. Дождавшись ухода хозяина аттракциона мастера Оскара Губинера и надев перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, преступник поднялся по мраморной лестнице до площадки, где стоял Монтеро. Очевидно, швейцар оказал бандиту сопротивление, но был сброшен с лестницы и затем убит ударом в висок, нанесенным тупым оружием, возможно, кастетом или короткой гангстерской дубинкой. Несчастный свалился со ступенек, обливаясь кровью белой мраморной лестницы. Согласно заключению медицинской экспертизы, произведенной на месте полицейским врачом И. В. Уилки, смерть мексиканца наступила почти мгновенно. Убийца закрыл изнутри входную дверь и, поднявшись снова на лестничную площадку, вдруг увидел... свою жертву! Швейцар стоял в спокойной позе, словно ничего не случилось. В слепой ярости, хотя, возможно, понимая, что перед ним лишь кукла, бандит ударил ее кулаком в лицо и разбил. С отломанной головой и ногами кукла лежала в луже человеческой крови, позе своего когда-то живого двойника...

Ужасная картина не остановила убийцу. Он хладнокровно обыскал труп швейцара, вытащил из его кармана связку ключей и, оставляя за собой кровавые следы, вошел в помещение музея. То, что он там увидел, несомненно, привело его в состояние базумного ужаса. Он увидел... Впрочем, мы не станем лишать нашего читателя возможности самому оценить обстановку, ибо то, что увидел убийца, можно обозреть, как только откроется музей по окончании следствия. А теперь вернемся к убийце. Итак, он проник в помещение музея, но ему не удалось ничем поживиться. Взятые у своей жертвы ключом он открыл дверь кабинета хозяина музея мастера Оскара Губинера, но не смог справиться с прекрасным сейфом фирмы «Кэртис и сыны». [В этом году были уже десятки случаев, когда взломщики оказывались бессильными перед стальной крепостью «Кэртиса»]

Как только были открыты двери музея, полиция вместе с прибывшим на место происшествия хозяином музея мастером Оскаром Губинером тщательно обыскала все помещения. Но напрасно! Убийца успел удрать...

Следы, оставленные преступником у одного из окон, и брошенные на пол окровавленные перчатки совершенно ясно показывают, каким путем он убежал. К сожалению, вчерашний ливень не дал возможности проследить за дальнейшими действиями убийцы. Однако у полиции уже имеется о нем достаточно данных и в скором времени следует ожидать его ареста.

Рассказ полицмена О'Хара

«Вчера в три часа дня я стоял, как обычно, на посту возле бара «Вайкики», когда ко мне обратилась итальянка из Музея восковых фигур и попросила, чтобы я пошел с ней, так как там у них что-то случилось. Музей оказался закрытым. Я подергал дверь, она была заперта изнутри. На мой стук никто не отвечал. Музей расположен на втором этаже старого двухэтажного кирпичного здания с узкими окнами. Я вызвал наряд полиции, так как, несмотря на дождь, вокруг музея стала собираться толпа, а сам добыв лестницу и приставил ее к окну, выходящему в лестничную пролет. Окно было открыто, и, заглянув в него, я увидел тело человека, распростертое на ступенях лестницы около закрытых входных дверей. Тело было без головы. Голова лежала отдель-

но. Мне показалось, что около трупа кто-то возился. Жуткое было зрелище...

Скоро, когда прибыли полиция и вызванный на место происшествия хозяин музея, мне приказали ломать дверь. Тогда я вышиб доску, отделяющую застав и распахнул двери. На нижних ступенях мраморной лестницы лежал человек лет сорока пяти, одетый в какой-то странный костюм, и рядом с ним обломки восковой куклы. Разбитая голова куклы валялась отдельно. Вместе с другими полицейскими я участвовал в обыске помещения. Нас сопровождал хозяин музея, потому что иначе среди всех тех кукол сам черт запутался был! Мы осмотрели каждый уголок, но никого не нашли. Пока мы обыскивали помещение, инспектор Бастур обнаружил окровавленные белые перчатки и следы, показывающие, что преступник скрылся через окно. Еще я могу добавить, что за двадцать лет работы в полиции Нью-Йорка, из которых добрую половину служу в полицейском участке Коин-Айленда, я никогда не видел ничего подобного этому делу».

Вечерний выпуск. Понедельник, 10 августа.

УБИЙЦА НИЧЕГО НЕ УКРАЛ, НО РАЗРУШИЛ
ОДНУ ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ КУКОЛ

Рассказывает хозяин Музея восковых
фигур м-р Губинер

«Мой Музей восковых фигур — самый крупный и самый первый из аттракционов подобного рода в Америке. Он был выстроен для этой цели в 1907 году и достался мне от моего отца Карла Губинера, одного из совладельцев всемирно известного лондонского Музея восковых фигур мадам Тюссо. В настоящее время мой музей насчитывает свыше шестисот восковых кукол работы лучших итальянских воскователей. Бесценны и совершенно бесподобны по своему исполнению фигуры Черчилля, чемпиона мира по боксу Джо Луиса, президента Соединенных Штатов Америки Гровера, гангстера Ал Калоне и многих других. Однако не только мастерское исполнение восковых кукол является гордостью музея. Дело в том, что отдельные группы кукол изображают различные события, которые действительно имели место как в отдаленном прошлом, так и в наши дни. Например, группа из семнадцати кукол изображает со всеми подробностями знаменитое ограбление Уолл-стрит Сити банка в 1937 году. Совершенно бесподобна сцена сожжения Джордано Бруно на костре. Во всех деталях воспроизводятся казни на электрическом стуле, в газовой камере, через повешение и путем отсечения головы. В музее имеется настоящая гильотина, приобретенная моим отцом у французского правительства перед началом первой мировой войны. Сейчас музей обновляется. Новые потрясающие сцены предстанут перед взором зрителей. Все куклы будут переодеты в новые платья и костюмы фирмы Буртон, имеющей филиалы в Чикаго, Филадельфии и Сан-Франциско.

Одной из моих самых ценных кукол являлась та, которую так безжалостно разрушил вчера бандит. Она была точной копией убитого — мексиканца Монтеро, или, как мы его называли, Монти. Эту куклу создал много лет назад знаменитый воскователь Фраскини. Она была так похожа на беднягу Монти, что я сам их часто путал.

За работой музея слежу я и мой помощник Чарльз Паркер. Вчера мы с ним сидели в моем кабинете и обсуждали ряд новых аттракционов, которые я на-

мерен вести в ближайшее время. Мы вышли из музея перед началом обеденного перерыва. Монти в тот день поменялся местами со своим двойником. За четырнадцать лет работы он прекрасно наловчился часами застыть в неподвижной позе и даже скрывать дыхание: ему доставляло особое удовольствие подуть таким образом надо мной... Я предупредил его, что еду обедать, и, как обычно, передал ему ключ от моего кабинета. Потом сказал ему, чтобы он прибрал на лестнице, где в связи с обновлением музея был произведен некоторый ремонт. Монти ответил, что, как только закроет, все приберет, и попрощался со мной. Бедный Монти! Кто мог знать, что я больше не увижу его в живых...

Не успев я приехать домой, как раздался телефонный звонок и меня срочно вызвали в музей. Остальное вы знаете.

Могу добавить только, что Рамон Монтеро был всегда примерного поведения. Он не курил, не пил и был хорошим семьянином, у него трое или четверо детей.

Слава богу, что мой отец в свое время приобрел сейф фирмы «Кэрткс». Бандит не сумел его вскрыть...

Утренний выпуск. Вторник, 11 августа.

ТРАГЕДИЯ НА КОНИ-АЙЛЕНДЕ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ УБИЙСТВА
ШВЕЙЦАРА МУЗЕЯ ВОСКОВЫХ ФИГУР

*Полицейский инспектор Карриган ручается,
что преступник скоро предстанет перед
судом!*

Как известно нашим читателям, 9 августа в 3 часа, во время обеденного перерыва, в Музее восковых фигур на Кони-Айленде проник неизвестный, который убил швейцара музея Рамона Монтеро, мексиканца, сорока восьми лет, женатого, отца троих детей, проживающего в районе Манхэттена 69, Западная улица, дом 91, квартира 349. Предварительным следствием установлено, что злоумышленник преследовал цель ограбления, ибо, предумышленно надев перчатки, чтобы не оставить следов, он взял у убитого связку ключей, проник в кабинет хозяина музея мистера Оскара Губинера и безуспешно пытался вскрыть сейф, где хранились деньги, патенты на новые аттракционы и ценные бумаги на круглую сумму. В бессильной злобе убийца разломал одну из самых дорогих кукол и, закрыв изнутри входную дверь, выскочил в окно.

Нюке мы помещаем интервью корреспондента нашей газеты Джозефа Кэсиди с полицейским инспектором Алленом Карриганом, которому поручено расследование этого дела.

Кэсиди. Каким оружием совершено убийство? Карриган. Убийство совершено камнем. Одним из тех кусков мрамора, которыми ремонтировали лестницу. Ударом в правый висок. Смерть была почти мгновенной.

Кэсиди. Скажите, инспектор, напоминает ли вам «почерк» преступника известным полицией бандитов? Карриган. Нет, не напоминает. Я думаю, что убийство совершено не профессиональным преступником, а озлобленным и жестоким человеком.

Кэсиди. Например, сумасшедшим?

Карриган. Не думаю.

Кэсиди. Каковы мотивы преступления?

Карриган. По-видимому, ограбление...

Кэсиди. А не могло ли явиться это убийство актом личной мести против Монтеро? Ведь мексиканцы — народ горячий...

Карриган. Все может быть, конечно, но, судя по полученным сведениям, Монтеро был тихого нрава и хорошего поведения. Об этом свидетельствуют его соседи да и сам хозяин музея, с которым он проработал четырнадцать лет. Но повторяю: все может быть.

Кэсиди. Считаете ли вы это дело трудным?

Карриган. Поскольку преступник еще не находится за решеткой, дело действительно представляется некоторую трудность, но мы располагаем многими данными, и я надеюсь, что скоро сможем предоставить вам возможность интервьюировать самого убийцу.

Кэсиди. Спасибо, мистер Карриган. Примите от имени наших читателей самые лучшие пожелания.

Итак, машина в действии, все лучшие силы полиции брошены на поиски убийцы. Кто он? Об этом мы скоро узнаем! Читайте сообщения газеты «Нью-Йорк Глоб»!!!

Вечерний выпуск. Вторник, 11 августа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О СТРАШНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
В МУЗЕЕ ВОСКОВЫХ ФИГУР
НА ОСТРОВЕ ВЕСЕЛЬЯ

Новый свидетель

Еще раз вечером нашу редакцию посетил доктор Уильям Хаурегги, врач-протезист, практикующий в районе Бруклина, Мэйн-стрит, № 467, кв. 4, первый этаж, и заявил следующее:

«В воскресенье, 9 августа, я поехал гулять в парк Кони-Айленд и приблизительно в половине первого посетил Музей восковых фигур. Предъявив свой билет швейцару, которого без труда отличил от кукол, я прошел в залы музея. Там почти никого не было. Однако очень скоро я почувствовал, что за мной следят. В одной из комнат я заметил куклу, изображающую худого брютета. Меня поразило это лицо: оно было искривлено гримасой нечеловеческой злобы. Поверьте мне, я разбираюсь в выражениях лица: ведь я протезист и знаю, какое значение для внешности имеет прикус. Итак, я прошел в следующую зал и там снова увидел ту же куклу! Я ее называю куклой лишь потому, что она находилась среди других посюстных фигур и была совершенно неподвижна. Я долго на нее смотрел, но не заметил, чтобы она моргала или дышала. Тем не менее я готов поклясться, что это был живой человек. Он был одет в темно-синий костюм, на вид ему было лет пятьдесят. Его смуглая кожа, черные волосы и тонкие усики выдавали в нем жителя Юга. Вечером того же дня, когда я прочитал в вашей газете о трагическом происшествии, которое случилось в музее после того, как я там побывал, мне сразу стало ясно, что я видел убийцу. Я немедленно сообщил об этом в полицию и готов рассказать все, что знаю, каждому, кто заинтересован в раскрытии этого преступления. Принимаю ежедневно в своем кабинете с 9 до 12 дня и с 2 до 6 вечера по вышеуказанному адресу».

Редакция связалась по телефону с мистером С. Губинером, хозяином Музея восковых фигур, и

выяснила, что кукол, подобных той, о которой говорит доктор Хауреги, в музее не имеется. Впрочем возможно, что свидетельство доктора явится ценным вкладом в материалы следствия и облегчит поминку убийцы.

Читайте новые подробности о кровавых событиях в Музее восковых фигур во всех выпусках нашей газеты!

Покупайте газету «Нью-Йорк Глоб»!

Глава вторая

НОВЫЙ КУРС РГМ

Надо признать, что, когда я впервые прочитал эти заметки, они не вызвали у меня ничего, кроме недоумения. Я никак не мог понять, какая может быть связь между этой уголовной историей и моей работой. Но за последнее время в нашей газете творилось такое, что озадачивало не только одного меня.

Я аккуратно вложил газетные вырезки в папку и затем снова, с еще большим любопытством, чем в первый раз, принялся разглядывать закорючки, небрежно нацарапанные на обложке:

«ГМА-Лич. Ср. худ. 2 п. ил.— Бэнгли, Согл.— Кэсиди РГМ».

О нет! Меня вовсе не затрудняла расшифровка этих закорючек. Их смысл был предельно ясен: они означали, что мне, Генри Мак Алистеру, сотруднику литературного отдела газеты «Нью-Йорк Глоб», на основе только что прочитанного мною материала срочно надлежит «сделать» нечто среднее между рассказом и сенсационным репортажем «с продолжением», общим размером до двух полос. Рисунки делает художник Бэнгли, а всякие дополнительные сведения я могу получить у своего друга Джо Кэсиди, репортера отдела уголовной хроники.

И еще там говорилось, что такова воля «РГМ», то есть мистера Рэндольфа Грейтса-младшего, издателя, владельца и главного редактора «Нью-Йорк Глоба» и еще около сорока газет и журналов в Соединенных Штатах Америки.

Все это было понятно. Не понимал я лишь одного: почему именно мне поручалась такая работа? Ведь моя должность в газете не обязывала меня выполнять подобные задания. Да и в жизни своей я не написал ни одного газетного репортажа и очень сомневался, что мне хотелось бы его написать... Черт возьми, а вдруг все это не более как предлог, чтобы выгнать меня из газеты?

Уж куда лучше было бы получить, как и многие наши сотрудники, конверт с лаконичным уведомлением: «Сэр, редакция газеты «Нью-Йорк Глоб» весьма сожалеет, что в связи с реорганизацией своей деятельности вынуждена отказаться от Ваших услуг». Но, по-видимому, мистер Рэндольф Грейтс-младший решил, что по отношению ко мне, его бывшему университетскому и фронтовому товарищу, следовало применить какую-то дипломатию. Ох, уж этот Рэнд! Он никогда не отличался тактом... Хотя, в общем, был неглупым человеком.

В ту пору я курил трубку. Вернее, я не выпускал ее изо рта. Кто-то мне сказал, что это придает моему лицу решительное выражение. Поэтому, когда



мне нужно было «показать характер» (или просто справиться с нервами), я всегда разговаривал с трубкой в зубах, выдвигая вперед нижнюю челюсть. Решение объясниться с боссом пришло мгновенно. Я туго набил трубку, надел висевший на спинке стула пиджак, поправил галстук и решительно направился к двери.

Кабинет босса находился на самом верхнем этаже

огромного здания редакции. Ничто там не напоминало обстановку развязной суетливости, которая обычно царит в редакциях больших ежедневных газет. Просторная, со вкусом обставленная приемная. Мягкие ковры. Глубокие кожаные кресла. Огромный, освещенный скрытым светом аквариум с причудливыми экзотическими рыбками. Свежесть искусственного климата и тишина...

Вкрадчивый голос секретаря — пожилой красавицы с великолепно уложенными седыми волосами и очаровательной улыбкой:

— Как поживаете, мистер Мак Алистер? Проходите, пожалуйста. Мистер Грейтс ждет вас...

«Ждет... подумал я. — Значит, всю это комедию он подстроил нарочно...» И, до боли в зубах прикусив мундштук трубки, шагнул в кабинет босса.

Мистер Рэндольф Грейтс-младший, высокий лысеющий брюнет с мужественным, загорелым лицом и красивыми, холеными руками, был моим ровесником. В самый разгар войны мы с ним окончили Гарвардский университет и вскоре оказались вместе в одной из передовых частей во время вторжения армии союзников в Европу. Рэнд показал себя хорошим солдатом и товарищем. Впрочем, там, перед лицом смерти, мы все были равны и постоянно готовы пожертвовать собой друг для друга. Да и враг у нас был один — фашизм. Мы были одной семьей, благородной и дружной...

А потом война кончилась. Вчерашние окопные братья приехали домой и неловко, почти не глядя друг другу в глаза, распрощались. Начиналась мирная жизнь с ее неумолимыми волчьими законами. Теперь каждый был только сам за себя...

Вскоре после окончания войны я опубликовал свои первые рассказы. Критика отнеслась ко мне благосклонно и предсказала успех. Сам «король прессы» мистер Рэндольф Грейтс-старший предложил мне работать в «Глобе». Я согласился, еще бы! Моя новая должность называлась сотрудник литературного отдела газеты «Нью-Йорк Глоб». Черт возьми, это звучало солидно! «Вот теперь», — думал я, — серьезно займусь за работу...»

Увы! Очень скоро я убедился, что глубоко заблуждаюсь. О какой работе могла идти речь, когда на моей обязанности лежал просмотр огромного количества литературных опусов наших читателей, которые непрерывным потоком шли в газету со всех сторон страны... «Сэр! — только и делал я целыми днями, что отвечал незадачливым авторам. — Редакция очень сожалеет...» И так далее и так далее.

Я превратился в обыкновенного клерка. У меня не оставалось времени ни для какой литературной работы. Не стал я и профессиональным журналистом. Впрочем, я к этому никогда не стремился...

К моему удивлению, Рэнд, единственный наследник «короля» и очень способный малый, демобилизовавшись, пошел работать рядовым репортером в одну из провинциальных газет отца. Только через два года он появился в редакции «Нью-Йорк Глоб».

Здесь он проработал еще три года, не пропустив ни одной должности — от корректора до заместителя главного редактора. И только после этого «король» Рэндольф Грейтс-старший передал сыну скипетр и уступил трон.

И вот теперь «его величество» РГМ сидит в кресле своего отца так привычно и уверенно, как только может сидеть человек, который знает силу своей власти. Перед мистером Грейтсом-младшим лежали какие-то бумаги, на которых он делал пометки, сильно нажимая красивым карандашом. Не отвлекаясь, он рассеянно пробормотал:

— Это ты, Мак?.. Садись, старина. Я сейчас с этим поконю. Одну минуточку.

Он сделал ударение на словах «с этим» и «покончу». Я вспомнил закорючки на папке, которую мне принесли утром, и представил себе, что «босс» бормотал то же самое, когда ставил на ней свою подпись.

— Ну, вот и все! — воскликнул Грейтс и поднял голову. На его приятном лице с чуть оттопыренной нижней губой сияла улыбка искреннего радушия. — Садись, Мак, что же ты стоишь...

Привычка называть друг друга по имени — это, пожалуй, все, что осталось от нашей дружбы.

— Хэлло, Рэнд! — сказал я и как-то нелепо пошевелил в воздухе пальцами, словно Грейтс находился по ту сторону наглухо закрытого окна и не мог меня услышать. — У меня и тебе дело. Личное... — сказал я.

— Говори, говори.

Я стал сосредоточенно разжигать трубку. Это всегда помогает, когда во время разговора почему-то не хочется смотреть на собеседника. Отрывисто, между затылками, я заговорил:

— Видишь ли, Рэнд, дело в том, что... Мне надо... Я хочу поработать над книгой. Да. Над книгой о войне. Ты знаешь, я ведь всегда хотел... И вот мне необходимо... То есть я хочу сказать, что мне придется уйти из редакции. Надеюсь, ты поймешь меня, Рэнд.

Когда я поднял глаза, Грейтс все еще улыбался, но улыбка из приветливой превратилась в лукавую. Он встал с кресла и подошел ко мне вплотную. Теперь, чтобы смотреть ему в лицо, мне приходилось неудобно заирать голову.

— Одним словом, ты уже успел прочитать, — сказал он весело. — Я не ожидал, что ты так быстро это сделаешь. Ну что же, давай поговорим начистоту. Я уже давно хочу с тобой поговорить.

Я в замешательстве вынул трубку изо рта и, наоборот, сразу утратил свой решительный вид.

— Итак, — продолжал в том же веселом тоне Грейтс, — ты только что прочитал материалы из нашего отдела уголовной хроники об убийстве какого-то типа в Музее восковых фигур, и тебя возмутило, что я распорядился, чтобы ты, Генри Мак Алистер, способный малый, которому в университете предсказывали блестящее будущее... Да, да! Чего там скромничать! Так вот, чтобы ты принимался за обработку обыкновенной уголовной хроники да еще и согласовал эту работу со второстепенным репортером, который славится тем, что не умеет написать заявления о выдаче аванса... Постояй, постояй, я еще не кончил! И ты решил, что этот канал? Рэнд, то есть я, гнусный капиталист и эксплуататор, мог бы найти более прямой и честный путь...

— Прислушай, Рэнд, — пытался перебить я его. — Зачем все это? Не надо...

— Нет, надо! — сказал властно Рэндольф Грейтс-младший и вновь сел за письменный стол. Он уже не улыбался. На лице его появилось выражение упрямства. — Надо! — повторил он. — Неужели ты не понимаешь, что наша печать превратилась в какое-то стоячее болото? Неужели ты не видишь, что изо дня в день мы печатаем почти одно и то же и то же в одном и том же утомительном порядке! Мы до черта надоели читателю своим однообразием, лонгми нафосом, противоречивыми сведениями и безвкусными рекламками...

Должно быть, мое лицо выражало безграничное удивление, потому что Рэнд прервал свою речь, досадливо махнул рукой и сказал нетерпеливо:

— Да нет же, нет! Ты меня совсем не так понял.

Мои политические убеждения тут совершенно ни при чем! То, о чем я тебе говорю,—это не политика, а бизнес, чисто деловой вопрос... Вот послушай меня, Мак.—Рэнд порывисто встал с кресла, обошел свой письменный стол и присел на его край поближе ко мне.—Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что сегодня мы продолжаем издавать наши газеты приблизительно так же, как это делалось во времена дилижансов и парусного флота? Тот же резкий, самоуверенный тон, те же старые, избитые приемы... И все это сегодня, когда поездка в Европу или Африку занимает всего несколько часов и когда, сидя у себя дома, любой американец может посмотреть по телевизору футбольный матч в Риме...

Рэнд сделал несколько шагов по кабинету. Он задумался и, казалось, забыл о моем присутствии. Мысли нового короля прессы мне показались интересными, и я с нетерпением ждал дальнейших откровений.

— Современная газета должна отражать факты,— сказал он, остановился и посмотрел мне прямо в глаза.—Только факты!—повторил он.—И делать это надо убедительно, решительно отказываясь от всяких неуклюжих попыток влиять на читателя. Такую газету будут читать все!

Так вот оно что! Рэнд, кажется, затевает издание объективной информационной газеты, это интересно...

— И ты хочешь...— начал было я.

— Да! Я создам такую газету,—сказал Рэнд уверенно. Он снова сел за свой письменный стол и откинулся в кресле.—Она будет нужна республиканцам так же, как и демократам, социалистам, фашистам—белым и чернокожим! Она будет выходить под девизом «Только факты!». Начиная информационной и кончая рассказами и даже комиксами! Конечно, обработка такого материала потребует людей с настоящими литературными способностями. Теперь ты понимаешь, почему я тебе прислал все то, что мы писали об убийстве в Музее восковых фигур.

— Ну, знаешь ли, Рэнд,—не выдержал я,—то, что ты мне прислал,—это не столько факты, сколько реклама! Реклама какого-то давно забытого Музея восковых фигур, фирмы готового платья, марки несоразмерных шкафов и даже зубного врача.

Рэндольф Грейтс-младший поморщился.

— Ну, видишь ли, без рекламы, к сожалению, ни одна газета не протянет и месяца... Но ты, черт возьми, прав!—Он стукнул ладонью по столу.—Это реклама—грубая работа! Очень грубая работа! Но если об этом напишешь ты, я уверен, что все будет выглядеть правдивее и тем самым убедительнее. Да-да, и реклама в том числе. Что из того? А разве кроме нее, ты ничего не заметишь? Разве там нет достоверных, интересных фактов, которые только нужно суметь хорошо преподнести? В общем, Мак, ты мне нужен. Я очень хочу поскорее привести «Глоб» к новому курсу.

Я взвешивал сбитово, говорил, что не справлюсь с этой работой, что у меня нет ни журналистского опыта, ни способностей. Мне даже в голову не приходило, что нужно было говорить совсем другие слова, сказать Рэнду, что никакая газета не может существовать вне политики и что вся его затея «честно торговать фактами» навина и обречена на провал. Но увы! Все это я сообразил значительно позже...

А в то время Рэндольф Грейтс без труда разбивал все мои слабые доводы. Глядя на меня своим умным, «честным» глазами, он говорил проникновенным голосом, который так убедительно звучал на предвыборных собраниях студенческого клуба «Альфа-Бета-Гамма», где четыре года Рэнд был бессменным председателем. Этим же голосом он всегда

убеждал ротного писаря поставить печать на подделанных нами увольнительных...

— Твое место здесь, Мак, в газете, и не только для того, чтобы помочь мне. Я знаю, у нас с тобой могут быть разные взгляды и убеждения, но разве то, что я тебе предлагаю, противоречит принципам любого честного человека? А если уж ты действительно решил стать профессиональным литератором, тогда тем более тебе не следует отказываться...

— Но как я могу сейчас начать работать над этим материалом? Ведь никому не известно, чем вообще кончится это дело...

— Какая разница? Чем бы оно ни кончилось, оно кончится! Твое дело—следить за фактами и излагать их художественно, правдиво...

Я замолчал. Трубка у меня погасла. Теперь я жадно слушал Рэнда. Он сумел меня увлечь.

— ...Постепенно я заменяю всех неспособных людей. К новому курсу мы приведем наш «Глоб» довольно быстро. Тебе предстоит начать. Ты напишешь об этом убийстве в Музее восковых фигур повесть для наших воскресных приложений. Повесть документальная. Без вымыслов. Ну как?

И я согласился.

Впрочем, я не жалею об этом.

.....

Было бы неточно, если бы я сказал, что Джо Кэсиди вошел в мой кабинет. Дело в том, что мой друг Джо никогда нигде не входил. Он врывается, вбегает, вламывается—одним словом, всегда появлялся неожиданно и с поразительно быстрой, особенно тогда, когда этого требовали интересы газеты.

Это был высокий, поджарый человек лет тридцати пяти, с маленькой головой, вздернутым носом и очень светлыми волосами. На лице его постоянно было выражение доброжелательности и детского интереса ко всему окружающему. Это сразу необыкновенно к нему располагало. Про изумительные репортерские способности Кэсиди ходили анекдоты. Он был знаком почти со всеми полисменами и сыщиками уголовного полиции Нью-Йорка; как никто, знал преступный мир своего родного города и, обладая феноменальной памятью, мог назвать сотни имен, имевших отношение к знаменитым уголовным делам последней четверти века. Это был бы идеальный тип репортера... если бы не один «маленький» недостаток: Джо Кэсиди совершенно не умел излагать свои мысли на бумаге! За всю свою многолетнюю репортерскую деятельность он не написал ни одной строчки... Звонил по телефону, интервьюировал сыщиков и преступников, мчался на автомобиле и самолете к месту происшествия и затем все, что видел и узнавал, выкладывал в редакции устно. Но стилисты и литографички не жаловались. В рассказах Джо Кэсиди была уйма интереснейших подробностей, не замеченных репортерами других газет.

Джо всегда был некогда. И если ему приходилось где-нибудь задерживаться, он вскакивал, пересаживался с места на место, ходил по комнате, нетерпеливо заглядывал в окна. Никто не знал, где жил этот человек и есть ли у него семья. Правда, ходили какие-то неясные слухи о том, что он содержит детей известного преступника, казненного на электрическом стуле несколько лет назад. Однако он сам упорно отрицал это и очень не любил, когда его расспрашивали.

Он начал говорить, как только вошел, и за это время в одной минуте не сидел спокойно—пересаживался с кресла на стул, внимательно разгляды-

вал книги на этажерке, играл с пресс-папье и даже зачем-то заглянул в чернильницу. Тем не менее ни разу не отвлекся от разговора.

— Ну, вот и все,— заключил он свой рассказ о том, что произошло в Музее восковых фигур, несколько более подробно, чем это было изложено в газете,— это, так сказать, официальная версия. В газетных сообщениях ты, конечно, заметил яиму противоречий. Это бывает. Но тебе следует ознакомиться с данными, которыми располагает полиция. Я уже договорился с Карриганом. Пошли!

— Куда идти? И с кем это я должен встречаться? И, главное, зачем?! — запротестовал я. — Так не пойдет, Джо. Ты мне должен все объяснить, или я вообще пошлю ко всем чертям эту сумасшедшую затею!

— Ну, хорошо, хорошо! — Джо внимательно прислушивался к доносящемуся откуда-то снизу церковному перезвону. — Никак свадьба! — воскликнул он и лег животом на подоконник, но тут же вскочил и, расплывшись пиджаком, уперся руками в бока, словно битый как толквал мне одно и то же. — Я же тебе говорю: Карриган — полицейский инспектор, который ведет это дело. С неба звезд не хватает, но, в общем, не хуже других. Вот с ним-то мы и должны встретиться. В музее. Он уже, наверное, там. Теперь тебе понятно!

— Да, но захочет ли он нам что-нибудь сказать... — пробормотал я с тайным желанием отложить эту встречу. Откровенно говоря, я испытывал такое чувство, словно мне предстоит окунуться в какую-то липкую грязь. Мне чудились чьи-то гулко шаги в тюремных коридорах, бледные лица за решеткой и перекрестный допрос матеревого убийцы. — Ведь следствие еще не закончено!

— Об этом не беспокойся. Ты еще не знаешь силу РГМ! Да и любой полицейский Соединенных Штатов из кожи будет лезть, чтобы прославиться в газете. А тут детективная повесть, да еще и автор — сам Мак Аллистер...

Джо говорил серьезно. Тем не менее я сунул в рот погасшую трубку и сиренно взглянул на него.

— Кроме того, это же великолепный материал! — продолжал Джо и сел на край моего письменного стола. — Пойми, старик, классический детектив! Здесь есть все условия, которые предъявляет к такой литературе твой знаменитый коллега Герберт Прайс... — Джо стал загибать пальцы. — Убийство произошло в закрытом помещении — раз. Убийца скрылся, оставив за собой следы, — два. Читатель должен подозревать нескольких лиц — три...

— Все ясно! — перебил я. — В роли Шерлока Холмса будет этот самый Карриган...

— Карриган, — поправил меня Джо, — не замечая иронии.

— ...А за неимением доктора Ватсона придется мне самому взять на себя эту роль и все время задавать idiotские вопросы, чтобы подчеркивать блестящий ум сыщика Картинга.

— Карригана, — терпеливо поправил меня Джо. — А в общем, что же, эта схема действует безотказно! Можешь быть уверен, что читатель на тебя не будет в обиде. Ты делаешь успехи, Мак. Поздравляю! Что касается названия, то оно само напрашивается: «Убийство среди кукол». Это будет лучшим детективом года, увидишь!

Мне показалось, что в удивительно круглых глазенках Джо блеснула насмешка, и я встал, чтобы серьезно с ним поговорить, но он бросился к вешалке, накинул на меня пиджак, нахлобучил на мою голову шляпу и буквально стал выталкивать из кабинета

— Пошли, пошли, старина. Никогда сейчас заниматься разговорами. В Нью-Йорке ежедневно происходят десятки убийств, и все они чем-то похожи друг на друга. Так же, как и детективные романы...

Глава третья

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В то солнечное утро, когда мы с Джо шли по асфальтовым дорожкам парка аттракционов Кони-Айленда; на пути нам попадались лишь женщины с детскими колясками да одинокие небритые мужчины в помятой одежде и с блуждающим взглядом. Было еще слишком рано. Закрытые балаганы и аттракционы, освещенные ярким дневным солнцем, выглядели удивительно убого. Из дверей ресторанов и баров виднелись сдвинутые мраморные столы с нагроможденными на них стульями; остро пахло мылом, прохисшим пивом, и гулко, как в церкви, звучали голоса.

Неподвижно застыли облепленные рекламами гигантские колеса, а нелепые морды лакированных лошадей на заснувших каруселях казались усталыми и злыми.

— ...Знаменитые сыщики бывают только в романах и в кино, — говорил мне Джо, уверенно сворачивая с одной дорожки на другую, — в действительности же есть только ремесленники. И все они — кто лучше, а кто хуже — усвоили нехитрые законы криминалистики. Старикан Карриган не исключение: он исполнителен, а не изобретателен. Он из рядовых полисменов, человек ограниченный, но дело свое знает. Впрочем, ты скоро убедишься, что дело это не такое уж сложное. Но вот мы и пришли.

Джо кивнул на почерневший от времени двухэтажный кирпичный дом, который стоял в стороне от балаганов. Над входом между двумя железными фонарями времен газового освещения поблескивая вывеска гласила:

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР

На крыльце, возвышаясь над небольшой группой зевак, стоял полисмен. Двери за его спиной были закрыты. На одной из них белела заплата из свежеструганных досок.

Бесцеремонность, с которой Джо растолкал зевак, безусловно, вызвала к нам почтительное отношение.

— Сморти! Сыщик! — сказал кто-то громко, — Вот тот, с трубой!

Проклятая трубка! Можно подумать, что я нарочно корню из себя сыщика...

— Как дела, Крис? — приветствовал Джо полисмена и кивнул на меня. — Это свой. Шеф еще там?

— Угу, — промолвил полисмен, отвечая небрежным взмахом руки. Он явно позировал. В толпе зевак какой-то юнец наводил на него дешевенький фотоаппарат и, напряженно осклаившись, беспрерывно щелкал затвором.

Джо толкнул дверь и быстро стал подниматься по мраморной лестнице со стертymi грязными ступенями.

Здесь, на этой лестнице, произошло убийство, и, может быть, эти пятна... Было прохладно и не очень светло, свет скупо проникал через два узких окна, расположенных высоко, над лестничной площадкой. Я невольно стал оглядываться. Мне казалось, что сейчас увижу нечто необыкновенное, но ничего не заметил, кроме нескольких плит мрамора, сложен-



ных на нижних ступенях лестницы. Тихо и спокойно, ничто не напоминает о трагедии. А ведь мне придется писать о том, как по этим ступеням крался бандит, как он жестоко расправился со своей жертвой... Боже мой! Я ведь никогда не был репортером и просто не сумею этого сделать, не сумею...

Пока я размышлял и осматривался, Джо исчез. Вероятно, он уже был в залах музея. Мне вдруг стало как-то одиноко и неприятно. Я быстро взбежал наверх, открыл дверь... И в ужасе остановился: человек с поднятым воротником и в глубокой наклонной по глаз шляпе направлял на меня револьвер!

— Сюда, Мак! — услышал я откуда-то спокойный голос Джо и только тогда понял, что передо мной всего-навсего восковая кукла.

Я обошел ее и стал искать глазами Джо, но найти его оказалось не так просто: в большом зале было полно народу... Однако сейчас я быстро сообразил, что это были не люди, а восковые куклы. Они стояли группами и в одиночку, отгороженные от прохода толстыми бархатными шнурками. Пахло клеем и пылью, как за кулисами театра. Откуда-то из дальних комнат слышались гулкие шаги и спокойные голоса. Стараясь не разглядывать кукол, чтобы не отвлекаться, я шел на эти звуки, переходя из помещения в помещение, пока не увидел рослого полицейского, стоящего ко мне спиной.

— Послушайте... — начал было я и, вежливо дотронувшись до него рукой, обнаружил, что... его локоть тверд, как камень!

— Эй, Джо, где ты? — крикнул я, окончательно теряя самообладание.

— Здесь я, здесь... — Голос Джо прозвучал совсем близко, и мне стало стыдно за себя. Чтобы успокоиться, прежде чем войти в ту комнату, откуда раздался голос Джо, я принялся разглядывать группу кукол, у подножия которой была табличка со словами:

УБИЙСТВО ЗНАМЕНИТОГО ГАНГСТЕРА ДИЛИНДЖЕРА АГЕНТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЫСНОЙ ПОЛИЦИИ 28 ИЮНЯ 1934 ГОДА В ЧИКАГО.

Каждый американец старшего поколения прекрасно помнит, как это произошло. В моей стране имена знаменитых гангстеров нередко олицетворяют целую эпоху. В Чикаго даже воздвигнут памятник бандиту Ал Капоне. И если в разговоре вы скажете: «...Это

произошло во времена Дилинджера», — вас прекрасно поймут!

Действие происходило в кафе. Дилинджер — стройный, хорошо одетый брнет с лицом, перекосившим злобой и страданием, истекал кровью, отстреливаясь от агентов полиции. Знаменитый гангстер был не один. Два его сообщника лежали в луже крови. Женщина с мертвенно бледным лицом откинулась в обмороке на спинку стула. Я знал: это его сообщница, которая выдала его полиции. Довольно банальная среди бандитов история: необыкновенная любовь, потом ревность и в конце концов предательство. Восковые куклы были отличны — естественность поз и даже блеск глаз... Взять хотя бы этого краснощекого толстака в роговых очках, который сидит за столиком и удивленно смотрит, как бы спрашивая...

— Простите, вы, вероятно, писатель Мак Алистер! — произнесла кукла и встала.

Я плохо помню, как я реагировал на это. Может быть, вскрикнул. Может быть, побледнел и ничего не мог ответить. Но одно я знаю наверняка: я удздрался на ногах, не упал.

Это оказался Карриган. Полицейский инспектор Карриган. Тучный человек небольшого роста, лет пятидесяти, в роговых очках с очень толстыми стеклами и пухлыми, в подушечках, руками. Он был смущен не менее меня и растерянно просил извинения: пусть я, ради бога, не подумают, что он сделал это нарочно... он лишь присел на этот стул, пока в кабинете хозяина музея кончат снимать отпечатки пальцев.

А Джо хохотал, как сумасшедший.

— Ну, старина, вы теперь пропали! — говорил он Карригану. — Мак никогда не простит вам этого. Он изобразит вас коварным, злым стариком, и таким вы останетесь на веки вечные в мировой детективной литературе...

Странно, казалось, что смущаться и краснеть следовало бы мне. Ведь это я чуть не упал в обморок со страху! Но по-настоящему был расстроен только Карриган. За толстыми стеклами очков его глаза смотрели жалобно и грустно.

Я, конечно, и не думал на него сердиться. Но заискивающий тон и растерянный вид инспектора полиции очень быстро стали и меня раздражать. «...И это...

го человека,— подумал я,— мне придется изобразить сильным, находчивым и бесстрашным!»

— Ладно, Джо, хватит зубоскалить! — сказал я и посмотрел на Карригана. — Давайте лучше поговорим о деле.

Мы прошли через несколько комнат и остановились возле двери, над которой висела табличка «СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ». Карриган открыл дверь. Несколько полицейских, одетых по-летнему — в темно-синих рубашках с засученными рукавами, — укладывали в маленькие чемоданы какие-то аппараты и бутылки с жидкостью. В комнате пахло эфи-ром.

— Все в порядке, шеф! — сказал один из полицейских. — Следов много, но ничего нового...

— Сейф он трогал? — В разговоре с подчиненным голос Карригана звучал жестко, отрывисто.

— Да, шеф. Но как-то странно — сверху. Перчатки не снимал.

— Ладно, идите. Как только обратитесь, сообщите мне по телефону. Я буду здесь.

Кабинет оказался небольшой и тесно обставленный старомодной, потертаяшей от времени мебелью. Даже настольный телефон был такой, каких теперь не сыщешь, — черная прямоугольная коробка с высоким рычагом посередине, на котором лежала прямая слуховая трубка. Окно такое же, как и повсюду в музее, узкое и высокое. Когда полисмены вышли, мы с Джо разместились на потертом кожаном диване, уступив Карригану место за письменным столом.

— Давайте, старина, — сказал Джо нетерпеливо, — познакомьте Мак Алистера с тайнами следствия. Это ведь самое главное во всяком детективном произведении.

Приговариваясь рассказывать, Карриган вынул платок и стал протирать стекла очков. У него оказались маленькие воспаленные глаза без всяких признаков добродушия. Я подумал, что, вероятно, он об этом хорошо знает и при допросах преступников снимает очки...

— Хорошо, — начал Карриган, — только помните наш уговор, Джо: не печатать ничего такого, что могло бы сгнать преступника. Он посмотрел на меня, и я понял, для кого предназначались эти слова. — Итак, согласно данным предварительного следствия, — приступил он к рассказу, — установлено, что убийца выскочил в окно. В такое же, как это. Следы, оставленные убийцей, позволяют утверждать, что он пяти футов восьми дюймов роста, худой, брюнет, в возрасте около тридцати лет. Вероятнее всего, нервный, вспыльчивый человек. В момент совершения преступления был одет в темно-синий костюм и черные поношенные ботинки. Убийца работал или продолжал работать здесь, в парке аттракционов.

— Значит, его кто-то видел или знает? — перебил я.

— Нет, к сожалению. Вы сами понимаете, что свидетельство этого зубного врача...

Джо вскочил с дивана и принялся перелистывать настольный календарь.

— Черт бы его побрал! — воскликнул он. — И как только печатали его дурацкое заявление... Но, знаете, Карриган, самое интересное, что этот идиот действительно был в музее за несколько минут до убийства. Я проверил это.

— Я тоже, — спокойно продолжал полицейский инспектор, — но его рассказ совершенно не подтверждается теми данными, которыми мы располагаем.

— Позвольте, — настаивал я, — если преступника никто не видел, откуда может быть известно, что он

брюнет, такого-то роста да еще и одет в темно-серый костюм!

— В темно-синий, — поправил меня Карриган и, надев очки, учтиво пояснил: — О, это было совсем нетрудно установить! Как вам известно из газет, преступник ударил через окно. Об этом говорят многочисленные следы, оставленные им на подоконнике, стекле и раме. Ни вам, ни мне этого сделать не удалось бы: коллекция бы не позволила. А вот Джо, пожалуй, сумел бы протиснуться, но он неизбежно оставил бы на окне многочисленные следы. При помощи специальных микроскопов или даже через простые увеличительные стекла мы бы увидели на раме окна мельчайшие ворсинки одежды, волосы, следы обуви и даже сложного крема... Все это дает нам возможность определить цвет и качество костюма, оттенок волос, рост и многое другое...

— Допустим. Но откуда вы можете знать, что преступнику около тридцати лет и что он нервный, вспыльчивый человек?

— Это просто. По структуре волос можно довольно точно определить возраст человека. Конечно, это делается в лабораторных условиях. Ну, а что касается характера убийцы, то всегда существует некоторая зависимость между способом убийства и личностью самого убийцы. В данном случае способ убийства показывает, что решение убить пришло внезапно и овладело убийцей целиком. Спокойный, хладнокровный человек вряд ли так поступил бы...

Я был обескуражен простотой объяснений, но все же задал еще один вопрос:

— А почему вы считаете, что преступник работает или работал в парке?

— У нас имеются два доказательства этого. Первое — характер грунта, прилипшего к подошвам преступника. Тщательный анализ оставленных преступником следов позволяет сделать этот вывод. Второе — возле окна, через которое выскочил преступник, найдено вот это... — Карриган достал из кармана прозрачный целлофановый пакетик и показал эмалевую брошку с буквами «К. А.».

— Такие значки носят служащие Конк-Айленда. А больше вы ничего не нашли? — спросил Джо. Карриган недовольно поморщился.

— К сожалению, нашли. Ведь там, под окнами музея, толкалось человек пятьсот. Когда их удалось прогнать, мы обнаружили тринадцать разных пуговиц, с десятком шпильки для волос, два носовых платка, одну серьгу, серебряное кольцо и еще один такой же значок...

— Как же вы определили, что именно этот принадлежит убийце? — спросил я.

— На его обратной стороне мы обнаружили такие же ворсинки одежды, как и на подоконнике. К сожалению, значки не нумерованы, иначе преступник был бы уже в наших руках.

— Но вы же знаете о нем много, — вставил Джо. — Это один из служащих Конк-Айленда, худой брюнет, лет тридцати. Этим примет вполне достаточно, чтобы отобрать несколько человек, среди которых наверняка окажется преступник. Спорю, что таких типов не наберется и десятка!

— Тринадцать, — сказал Карриган, — в парке Конк-Айленда работает тринадцать худых брюнетов в возрасте около тридцати лет. Из них восемь человек в день убийства были в светлых костюмах, трое находились на работе, и свидетели могут это доказать. Один — безногий инвалид, и один... вот его-то мы и взяли под наблюдение.

— А кто он такой? Где работает? — спросил Джо нетерпеливо.

— Да есть тут такой тип... — Карриган не был рас-

положен к откровенности и ясно давал это понять.— Пока ничего определенного не известно...

— Ну да, рассказывайте! — ухмыльнулся Джо.— Так я вам и поверил. Только вы зря все это... Я же вам объяснил: нам нужно знать все об этом деле не для обычной газетной стряпни. Речь идет о настоящей литературе, понимаете? Вот он... — Джо беззащитно толкнул в мою сторону пальцем, — это же наш последний писатель, Генри Мак Алистер...

— Перестань! — сказал я сердито.

— Видите! — улыбнулся Джо.— Он стесняется! Теперь вам ясно, что перед вами не репортер уловной хроники. Вы имеете дело с интеллигентным человеком, Карриган! Я здесь только посредник и прямого отношения к делу не имею, так что выкладывайте все как есть, раскрывайте ваши карты! Даю слово: пока следствие не закончится, в газету не попадет ни строки. Ты знаешь, Мак, когда в криминалистике кажется, что все ясно, что все очень просто, вдруг неожиданно всплывает какая-нибудь загадочная деталь и загоняет все следствие в тупик. Был бы заклад, Карриган, что вы нам это можете доказать!

Карриган улыбнулся и покачал головой.

— Ну, хорошо, Джо. У меня от вас секретов не будет. Сдается, вот, смотрите, но помните уговор — ни слова в газету.

Он вытащил еще один прозрачный целлофановый конверт и протянул его нам. В нем лежал маленький бумажный билет, похожий на трамвайный, на котором было написано: «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР — КОНИ-АЙЛЕНД — 50 ЦЕНТОВ». Билет был пронумерован пятизначной цифрой. Этот билет продан за несколько минут до убийства. Он предпоследний.

— Предпоследний? — спросил я.— А где же последний?

Карриган пожал плечами.

— Кто его знает... Его не оказалось в урне. Но он продан.

— И, вероятнее всего, убийце, не так ли? — спросил Джо и, не ожидая ответа, задал еще вопрос: — Скажите, Карриган, а наша прекрасная итальянка не помнит случайно, кому она его продала?

Ответ Карригана был совершенно неожиданным. — Помнит, — сказал он тихо и вздохнул. — Женщине...

Джо хмыкнул.

— Вот так история! Выходит, что преступление могло быть совершено женщиной?..

— Чепуха! — махнул рукой Карриган и насупился. — Она не могла нанести такого удара...

— Конечно, — поддержал я его, — и потом данные экспертизы — следы и так далее...

— Да нет... — Карриган поморщился. — В том-то и дело, что экспертиза не утверждает, что убийца был мужчиной. Не четки следы обуви, не удалось установить точно размера шага...

— Как же так? А мужские перчатки? И потом сила удара...

Карриган лишь пожал плечами, и я понял, что оспаривать заключение судебной экспертизы не было никаких оснований.

— Кассирша хорошо видела ее руки, — продолжал полицейский инспектор, — окошко в касса маленькое и расположено низко. Она говорит, что предупредила посетительницу о том, что в музее скоро будет перерыв, и хорошо запомнила дешевой модной браслет «змея» на руке с небрежно накрашенными ногтями.

— Скажите, Карриган, как вы представляете себе

это дело? — спросил Джо, внимательно разглядывая старый телефонный аппарат.

Карриган ответил с готовностью:

— Я изложу вам самую простую и, по-моему, самую вероятную версию. Безусловно, преступник знал, что каждый понедельник хозяин музея относит в банк выручку за неделю. Мало того, он знал, что швейцару часто доверяют ключ от кабинета хозяина музея. Есть все основания предполагать, что убийца и его жертва знакомы: мексиканец работал в музее пятнадцать лет и, конечно, знал чуть ли не всех служащих Кони-Айленда, да и его все знали. Возможно также, что убийца заранее рассчитывал на помощь своего знакомого швейцара. Об этом мог бы свидетельствовать тот факт, что он пришел в музей без оружия...

Итак, в день убийства преступник находился где-то недалеко от музея, вероятно, на работе. Незадолго до перерыва в музей вошла женщина — сообщница убийцы. Вероятно, сторож ее предупредил, что музей скоро закрывается на обед. Очень возможно, она ответила, что побудет до закрытия, а затем вернется после перерыва. Поэтому у нее не надорвали билет. Она обошла музей и, убедившись, что посетителей там не осталось, вышла и подала знак сообщнику. Предаварительно надел перчатки, преступник вошел в музей, спокойно закрыл за собой дверь и поднялся к знакомому швейцару, которому предложил участвовать в «деле». Но они что-то не поделили, и между ними произошла ссватка, в результате которой швейцар свалился с лестницы, — это подтверждает судебно-медицинская экспертиза. Бандиту стало ясно: швейцар выдаст его. За попытку к ограблению его ждет суровая кара. Тогда он решил «убрать» мексиканца и самостоятельно довести до конца задуманное ограбление музея. Он хватается валиющийся тут же кусок мрамора и бьет им по голове швейцара. Лабораторные исследования подтверждают, что убийца оставил следы перчаток — белые ворсинки — на том куске мрамора, которым бил убит сторож. Затем убийца берет из кармана своей жертвы ключи. На них он тоже оставил следы своих перчаток... Возбужденный, он поднимается по лестнице и вдруг видит своего жертву! Она стоит как ни в чем не бывало. Нельзя забывать, что убийца находился в состоянии крайнего нервного напряжения. Мы знаем случаи, когда люди, совершив убийство, продолжают бесцельно убивать, разрушать вещи, ломать мебель. Такое состояние психиатры называют патологическим эффектом и часто даже на этом основании требуют признать преступника невменяемым. Одним словом, ничего нет удивительного в том, что убийца в слепой ярости ударил кукулу и разрушил ее. Экспертиза подтверждает и эту версию: кукула была сброшена с лестницы ударом кулака, защищенного белой перчаткой.

Дальше: бандит ищет кабинет хозяина музея, где, как он знает, находится деньги, и оставляет за собой многочисленные следы. Он нервно шагает, повсюду натывается на кукол, которых пугает с живыми людьми, и, конечно, — Карриган бросил на меня быстрый взгляд, — конечно, теряет самообладание. Это естественно... Наконец, он находит вот эту самую дверь и открывает взятый у сторожа ключом. Но сейф он даже не пытается открыть: внизу раздаются удары в дверь. Преступник собирается выпрыгнуть в окно кабинета, но внизу слишком много народу. Удары в дверь становятся все настойчивее. Тогда преступник бросает ключи и бежит от окна к окну, пока не находит такое место, где внизу никого не видно. Здесь он сбрасывает окровавленные перчатки, с трудом протискивается наружу и прыгает со второго этажа.

Затем преступник бежит по аллеям парка, исчезая в густой пелене дождя. Бегущий под ливнем человек не привлекает ничьего внимания. По пути он выбирает связку ключей, взятую у швейцара, — единственное, как он думает, свидетельство преступления.

Карриган откинулся в кресле.

— ..В этой версии каждое движение убийцы подтверждается предварительными данными судебно-медицинской экспертизы и лабораторным исследованием вещественных доказательств. Кстати, вы должны помнить, Джо: приблизительно то же самое я рассказывал вчера репортерам газет...

— А не кажется ли вам слишком... ну, рискованным, что ли, или легкомысленным это преступление? Ведь бандит действовал очень грубо! — заметил я.

— Да, но, как я говорил, бандит не собирался кого-нибудь убивать. Он рассчитывал на помощь сторожа. А в остальном его действия типичны для непрофессионального преступника, — вздохнул Карриган, — и потому труднее вести расследование.

Вероятно, у меня было очень удивленное лицо, потому что Джо вменялся:

— А вы объясните ему, почему, объясните, старина!

— Да, конечно! — спохватился Карриган. — Видите ли, дело в том, что профессиональные преступники, помимо своей воли со временем вырабатывают определенный стиль преступления. Если бы сейф, например, был вскрыт при помощи особого инструмента, известного под названием «балерина», то скорее всего это сделали бы...

— ...парни из банды Тома Сильвера, конечно? —

— Совершенно верно, Джо. Но они работают в кожаных перчатках и уж во всяком случае не стали бы пускать в ход камень в качестве оружия. Или еще: любой профессионал немедленно покидает место преступления и почти всегда скрывается в сторону, противоположную своему дому. Но среди тех чудовищных нелепостей, которые совершают непрофессиональные преступники, одна из самых распространенных — не менять ни работу, ни место жительства.

— Но убийца Монтеро все же действовал в перчатках...

— А! — презрительно сморщился Карриган. — Белье нитяные перчатки из тех, что носят на парадах солдаты, в ресторанах — официанты и в торжественных случаях — полицейские. Это самые дешевые перчатки, какие только имеются в продаже. Как раз этот факт подтверждает мое мнение, что преступник не профессионал. В наше время любой школьник знает, что бандиты обычно действуют в перчатках. Но слепое подражание всегда показывает на отсутствие ума или опыта... или того и другого! Впрочем, я думаю, что очень скоро мы сможем убедиться в правильности моей версии.

Итак, оставалось ждать ареста убийцы, обложенного полицией со всех сторон. Дело складывалось совсем неинтересно — обычное убийство ради грабежа, грубое и пошлое, без каких-либо тонких психологических мотивов... Это же обыкновенный уголовный репортаж, который к тому же я и написать-то не сумею как следует. Вряд ли разговор с убийцей даст что-нибудь интересное. Да, кажется, я влип в историю...

Я посмотрел на Джо. Он как-то вяло продолжал разговор с Карриганом.

— Вы, конечно, уже допросили свидетелей?

— Да. Ничего интересного. Вдова — типичная жительница Лейтинского квартала. За всю жизнь так и не научилась как следует говорить по-английски.

Уверяет, что накануне убийства видела из окна своего мужа с какой-то женщиной маленького роста, которая, разговаривая, размахивала руками, как итальянка...

— Мисс Паризини? Кассирша? — Джо широко раскрыл глаза.

Карриган усмехнулся, отрицательно покачал головой.

— Я и сам так подумал. Ведь мисс Паризини тоже размахивает руками, когда разговаривает. Но вдова говорит, что ясно видела рядом с мужем какую-то коротышку. А женщины, как известно, редко ошибаются в определении роста и одежды своих сестер. Она, конечно, его спросила, кто это был, но он только махнул рукой.

— Кто же это был? — настаивал Джо.

— Не знаю, Джо. Пока не знаю. И не думаю, что сейчас нас это должно занимать. Нельзя расследовать, вы же знаете, что всякое расследование ведется по спирали, то есть начиная с места преступления и постепенно расширяя поле деятельности. Иначе будем гоняться за призраками и упустим дичь из-под носа. Да и мало ли с кем мог говорить Монтеро! Его ведь на своей улице знал каждый мальчишка...

Конечно, Карриган говорил для меня. И говорил, очевидно, прописные истины элементарных законов криминалистики. Но я прислушивался с интересом.

— Что касается личности самого убитого, — продолжал он, — то все его характеризуют одинаково: замкнутый, угрюмый человек, друзей и врагов не имел. Не пил, вел правильный образ жизни. Жена его рассказывает, что дома, бывало, весь день не вытаскивал из него ни слова. Особенно илюминим и молчаливым он стал в последние три-четыре года... Кассирша — дура. Трещит без умолку и требует, чтобы ее портрет обязательно поместили в газету. Ну, и, наконец, Губинер — хозяин музея. Человек неглупый, но себе на уме — старается превратить все в рекламу. — Карриган достал из кармана толстые часы с брелоком в виде маленьких наручничков. — Кстати, он должен быть скоро здесь.

— Мистер Карриган, а что известно о том парне, который работает здесь? Я имею в виду того, за которым следят.

— Пока ничего интересного сказать о нем нельзя. Его зовут Лой Коллинз, и работает он зазывалой на одном из аттракционов. — Карриган пожал плечами и добавил коротко: — Следим...

— Он, конечно, не знает об этом... — заметил я простодушно, не подозревая, что своим вопросом поставлю полицейского инспектора в тупик. Он как-то смутился и пробубнил в ответ что-то неопределенное.

— Неужели открытая слежка? — удивился Джо.

— Бросьте, Джо! Какое это имеет значение!

— Ах, не имеет! А если он не виноват?

Я смотрел поочередно то на Карригана, то на Джо, не понимая, о чем идет речь.

— Ну и что же! — вспыхнул Карриган. — А если я его арестую без достаточных оснований, разве не вы первый оплоснете меня в своей газете?

— Позвольте, — наконец не выдержал я, — может быть, вы все-таки объясните мне, в чем дело?

— Лучше я объясню, — поспешно высказаться Джо, как только Карриган с готовностью повернулся ко мне лицом. — Видишь ли, Мак, открытая, или, как ее еще называют, демонстративная слежка — это когда за человеком следят не тайно. Агенты полиции круглые сутки следуют за ним, не отставая ни на шаг, торчат у дверей его квартиры, на его работе и даже заходят вместе с ним в телефонную будку, в



«Агенты полиции круглые сутки следуют за ним, не отставая ни на шаг...» (стр. 38).

лифт, в уборную, подсаживаются за его стол в кафе и ресторане и все время громко, чтобы он слышал, говорят о нем, требуют, чтобы он признался в преступлении, ругают последними словами, а в людных местах даже бьют...

Я был ошеломлен.

— А если он обратится в полицию?

— То за ним следом пришли бы агенты и... Одним словом, ему не поздоровился бы. Ты представляешь себе, Мак, люди, которые испытали на себе такую слежку, говорят, что это хуже всякой пытки. Нередко они теряют разум, и их помещают в больницу для душевнобольных, но и там, среди персонала, они видят знакомые до тошноты лица полицейских агентов... Хорошо, если речь идет о настоящем преступнике, а если это невинный человек, ты представляешь себе?

— Оставьте, Джо! — Карриган устало махнула рукой; он явно не хотел спорить. — Ведь вы же знаете, что одно лишь признание обвиняемого еще не является доказательством его виновности... — И, обращаясь ко мне, пояснил, надеясь направить разговор в другое русло: — Вы понимаете, Мак Алистер, в противном случае голословное отрицание своей вины служило бы юридическим доказательством невинности преступника... Нет! В том и другом случае мы обязаны иметь в руках дополнительные объективные данные...

— Так-то оно так, — вмешался Джо, — но найти эти данные куда легче, когда обвиняемый сидит у вас в тюрьме и может быть подвергнут перекрестному допросу, очным ставкам и даже... Ну ладно, не будем об этом говорить!

— Вы слишком сгущаете краски, Джо, — недовольно заметил Карриган. — Мистер Мак Алистер может подумать черт знает что! А ведь, в сущности, открытая слежка гуманна. Она вынуждает преступника самого садиться в руки правосудия и чистосердечно признать свою вину. Это всегда учитывается судом и смягчает наказание...

— ...или доводит до сумасшествия, как беднягу Клайдена... — вставил Джо и тут же замолк, услышав: — Хорошо, хорошо, молчу! Скажите лучше, где он работает, ваш подопечный?

Карриган колебался. Ему явно пришлось не по душе комментарии Джо, и мне стало ясно, что я должен проявить свой характер.

— Рэнд Грейтс обещал мне, что с начальником полиции Нью-Йорка он договорится, — сказал я небрежно.

Как и следовало ожидать, такое фамильярное упоминание вездесного «РГМ» возымело действие.

Карриган пожал плечами и, сделав жест, который мог бы означать «не я же придумал эту проклятую слежку...», пробурчал:

— Пожалуйста. В любое время вы можете его увидеть у входа в аттракцион «Казнь на электрическом стуле». Он там зазывалой.

ва с маленьким лысеющим черепом и большим, полудетски розовым лицом. Этому человеку можно было бы и тридцать пять, и сорок, и пятьдесят лет — он принадлежал к тому типу людей, которые до глубокой старости сохраняют отличный цвет лица.

Провеличливо скорбным полупешелом, словно в присутствии покойника, он заговорил:

— Я искренне рад вас видеть, мистер Карриган. Но простите, может быть, я вам помешал?

Не успел я моргнуть, как Губинер уже очутился в кабинете и энергично тряс руку Карригана, внимательно при этом поглядывая на меня. Несмотря на свою тучность, этот человек оказался необычайно подвижным.

— Хэлло, Губинер! Вы пришли как раз вовремя. Знакомьтесь. Это Генри Мак Алистер, писатель. С Джо Кэсиди вы, кажется, уже знакомы.

— Да, да. Как же, знаю, «Нью-Йорк Глобл»... Прекрасная газета, прекрасная газета! А с вами, Мак Алистер, я давно уже знаком. Да. И люблю...

Губинер уже стоял передо мной и целоко ухватился за мою руку мягкими ладонями. Он низко нагнулся и, обдавая меня запахом крепких духов, продолжал, настойчиво заглядывая мне в глаза:

— ...И служу за вами, за вашими успехами. Конечно, очень жаль, что нас с вами свел такой трагический случай, а не беседа за столом Пенклуба... Вы удивлены? Да, да, я там иногда бываю. О нет, конечно, я не писатель, а... просто так! Околелитературный человек — нечто среднее между дилетантом и неудавшимся писателем, ха, ха! — Пока он говорил, глаза его жили своей жизнью. Они были серьезны и анимированы, стараясь уловить в моем лице малейшие признаки удовольствия или раздражения. Видимо, все-таки они что-то заметили, возможно, но было несколько сух, потому что Губинер внезапно умолк и сел на край стула.

Теперь он смотрел на Карригана вопросительно и немного грустно.

— Вы знаете, Губинер, Мак Алистер будет писать об этом деле. Очень может быть, что по ходу нашей беседы у него возникнут различные вопросы, так уж вы...

— О, я в вашем распоряжении, Мак Алистер. Очень рад...

— Тогда приступим... Карриган достал из кармана черный клеенчатый блокнот, из тех, в которые полицейские записывают номера автомашин, нарушивших уличное движение, и задумчиво принялся листать его исписанные мелким почерком страницы. — Вот что, Губинер, — изрек он наконец, — расскажите, по возможности точно, какие ценности вы хранили в сейфе!

— Недельную выручку и заявку на патент нового аттракциона, который я оцениваю в сто... да что я говорю — в двести тысяч долларов!

Джо внезапно вскопчил и, буркнув в дверях: «Я скоро приду», — исчез.

— Вы можете мне сказать точно, сколько в сейфе было наличных денег?

Губинер прикусил нижнюю губу и задумался.

— Н-нет, Карриган, я бы не хотел этого делать. Понимаете, мои конкуренты могли бы воспользоваться этими сведениями, да и налогового инспектор... Нет, Карриган, не могу! Скажу вам только, что там была кругленькая сумма. Но ведь не это главное. Главное — патент на новый аттракцион, ему нет цены! Преступник легко мог бы осуществить мою идею в любой части земного шара. Вы понимаете, — обратился он ко мне, — я не могу пока открыть секрет нового аттракциона. Это будет настоящей сенса-

Глава четвертая

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Шагов мистера Губинера не было слышно. Он появился тихо и как-то сразу наполнил собой весь проем двери. На его огромном, тучном теле поражали узкие плечи и грушеобразная голо-

цией! Ни один музей восковых фигур во всем мире никогда не делал ничего подобного...

— А кто, кроме вас, знает об этом новом аттракционе? — спросил Карриган, однако, как мне показалось, без всякого интереса.

— Мой помощник Паркер. Чарльз Паркер. Но ведь вы же знаете, он брат моей жены и имеет доступ к сейфу так же, как и я. Нет! Он тут совершенно ни при чем!

— Ну хорошо. Оставим содержимое сейфа в покое. Скажите, вы когда-нибудь раньше оставляли ключи от сейфа швейцару?

— Да. И очень часто. Всегда, когда я работал в музее только утром, а после обеда меня заменял Чарльз... То есть я имею в виду мистера Паркера. Обычно я передавал ему ключи через Монтеро.

— Об этом кто-нибудь знал?

Губинер пожал плечами.

— Мы не делали из этого секрета. Бедняге Манти мы очень доверяли... Но вы понимаете, Карриган, — он многозначительно посмотрел на меня, — мне кажется, что вся загвоздка в охоте за заявкой на патент нового аттракциона. Это потрясет весь Нью-Йорк, всю Америку! Да что говорить — вы сами скоро увидите и поймете, что здесь пахнет миллиончиками...

— Возможно, возможно. Скажите, Губинер, а почему вы никогда не доверяли ключ от сейфа вашей кассирше, мисс... Как ее там?

— Мисс Паризини? — Губинер задумался. — Не знаю, Карриган... Не люблю я ее почему-то. Я взял ее на работу по настоянию жены. Эта итальянка не то родственница, не то подруга ее портнихи.

Карриган вел вопрос как-то вяло. Он ничего не записывал, не расспрашивал подробности, а лишь рассеянно листал свой блокнот, без всякой системы перескакивая с одной темы на другую.

— Скажите, Губинер, как давно работали у вас этот мексиканец?

Хозяин музея вздохнул.

— Через два месяца исполнилось бы ровно пятьдесят лет. О, это была великолепная пара! Работа знаменитого Джузеппе Фраскини...

Он полез во внутренний карман своего огромного пиджака и, не переставая разговаривать, достал плотный пакет, перевязанный золотистой тесьмой.

— ...Вчера я копался в старых бумагах и случайно нашел вот это. Взгляните, вам, несомненно, будет интересно! — И с видом человека, делающего щедрый подарок, он пододвинул пакет мне.

Я кивнул на Карригана, но тот не проявлял к бумагам ни малейшего интереса. Он снял очки и стал сосредоточенно протирать стекла, показывая этим, что не собирается нам мешать. Губинер развязал пакет. Там были фотоснимки, путеводитель по музею и несколько испанских на машинке листов бумаги.

— Путеводитель содержит полное описание всех экспонатов музея. Это, безусловно, должно вам пригодиться, Мак Алистер, — доверительно заговорил Губинер. — Здесь вы найдете снимки некоторых знаменитых на весь мир восковых фигур и отдельных тематических групп. Имейте в виду, я никогда до сих пор не давал этот материал в газету...

Перебирая фотографии, я обратил внимание на потрепанный снимок, где был изображен вход в музей с улицы. По обеим сторонам раскрытых дверей стояли два человека, одетых в совершенно одинаковые костюмы мексиканских наездников: узкие, в обтяжку брюки, расшитые замысловатым рисунком короткие куртки и огромные широкополые шляпы. Один из них был, очевидно, Монтеро.

— Который? — спросил я.

— Не знаю! — воскликнул весело Губинер. — Хоть убейте! Этот снимок ведь сделан тринадцать лет назад. В ту пору я их просто не мог отличить друг от друга. Дивная работа! Посетители даже заключали между собой пари... Но и сам Монти, когда отдаст ему справедливость, имел душу настоящего артиста. Вы знаете, в жаркие дни беднягу прошибал пот. Тогда... Нет, вы себе не представляете, что он придумал, этот парен! Стал опрыскивать лицо кукулы из пульверизатора! Понимаете? Стоят два совершенно одинаковых человека, оба потеют... О, ему доставляло настоящее удовольствие, когда его путали с кукулой!.. А как он ухаживал за ней! Ну, буквально как за человеком. Причесывал ее, сшил ей специальный чехол, сдувал с нее каждую пылинку. Помню, однажды нацепил ей такую же траурную повязку, как и сам носил...

— Разве он стоял снаружи? — перебил Карриган. Оказывается, он все время заглядывал через мое плечо.

— Да, по вечерам, когда не было солнца. Лет пять тому назад он перебрался наверх. Там... прохладнее.

— А какой у него был характер, у вашего мексиканца? — вяло спросил полицейский инспектор, поглядывая на часы.

— О, это был скрытный человек и, пожалуй, мрачный и раздражительный. Казалось, будто над ним постоянно тяготела какая-то тайна... Но он был мне предан. Это вне всякого сомнения. И я его тоже очень ценил.

Карриган обратился ко мне:

— Может быть, вы хотите что-нибудь спросить, Мак Алистер?

Я, кажется, смутился.

— Да... прозвоня с неуверенно и, прочитав горло, продолжал: — Я хотел спросить... То есть мне кажется, что было бы очень интересно хотя бы приблизительно знать, что представлял собой ваш з... новый аттракцион и кто ваши конкуренты. Вы не думаете, мистер Карриган, что это могло бы пролить некоторый свет на преступление?

— Возможно, — ответил Карриган с большой готовностью. — Но боюсь, мистер Губинер не захочет нам в этом помочь. Не так ли, Губинер?

— Видите ли, Карриган, — Губинер говорил тем искренним, чуть снисходительным тоном, которым разговаривают опытные бизнесмены, когда во что бы то ни стало хотят заключить сделку. — Я вам могу назвать масштабы нового аттракциона. Могу — разумеется, по секрету — назвать моих возможных конкурентов. Но, извините меня, вы требуете от меня невозможного. Да-да! Спросите, если хотите, писателя Мак Алистера, имеет ли право литератор скрывать сюжет своей книги накануне ее издания?

— Да, — сказал я, — безусловно...

Карриган больше не проявлял никакого интереса к Губинеру, а когда явился полисмен и позвал его, мне даже показалось, что инспектор был этому рад.

Мы с Губинером остались с глазу на глаз. Некоторое время неловко молчали. Наконец он заговорил. Тихо, горестно, будто продолжал давно начатый несвязный рассказ:

— Я понимаю, вам, конечно, не о чем со мной говорить. Да и о чем можно говорить с торгашом, человеком чистого бизнеса, готовым на все ради процветания своего жалкого балагана... Да-да, не спорьте! Я же вижу, я все вижу и все прекрасно понимаю. Может быть, именно в этом моя трагедия... Но прежде чем вы уйдете отсюда, я хочу, чтобы вы знали: я такой же художник, как и вы! Да, сэр, вы не ослышались! Я, Оскар Губинер, такой же художник, как и

Генри Мак Алистер, как Чарли Чаплин, как Эдгар По! Я знаю, вы считаете меня сумасшедшим или наглцом... А знаете ли вы, что между вашей и моей системой творчества почти нет никакой разницы? Знаете ли вы, как создаются мои куклы, как создаются сцены, в которых они принимают участие? Понимаете ли вы, что каждая кукла и каждая складка на ее одежде — это плод подлинных творческих мук художника, перед которым стоит труднейшая задача: изобразить в статике, в застывших позах и выражениях и образы людей, и жизнь, и смерти, и движения? Вы скажете, дешевые сюжеты, уловошкина, воздействие на людей с малоразвитым вкусом? Да! Иначе я погибну. Как и вы, как многие другие. Мне приходится идти на это, приходится! О, если бы я имел возможность изображать в своем музее то, что я хочу, то, что чувствую... Вы себе не представляете, как много могут рассказать куклы! Они ведь умеют говорить, как живые, как герои ваших книг, как актеры театра и кино. Но для этого нужны деньги, много денег... Помогите мне, Мак Алистер, ведь вам это ничего не стоит. Несколько страниц за вашей подписью о моем музее, о таинственном преступлении, о куклах, способных убить человека, — что хотите! Но мне нужна сенсация, крупная сенсация, вы понимаете? Тогда у меня будут кредиты, новые куклы, тогда я не только сохраню свой музей, но и создам нечто совсем удивительное, невиданное...

Он говорил шепотом, а глаза его блеснули от слез или от одержимости. Его речь поразила меня и очень взволновала. Я был уже готов заверить его, что исполню все, что он просит, но тут возразился Карриган и прервал нашу беседу.

— Простите, Губинер, — сказал он, — у нас еще уйма работы. А в нашем деле важно не упустить время. — Да-да, Карриган, да-да, — заступился хозяин, легко вскопич на ноги. — До свидания...

Он пожал мою руку и, не говоря ни слова, посмотрел мне прямо в глаза, как человеку, которому доверили важную тайну. Мне было неприятно, и я, кажется, слишком быстро повернулся к полицейскому инспектору и слишком поспешно — еще до того, как в дверях исчезла круглая спина мистера Губинера, — спросил:

— Что-нибудь новое?

Карриган плотно прикрыл за Губинером дверь кабинета и повернулся ко мне. Он лукаво улыбался.

— Ничего особенного. Просто я хотел поделиться с вами выводами, которые я сделал на основании нашей беседы с Губинером.

— Мне кажется, что он напрасно отнял у нас время.

— Нет, почему же! — Карриган вытаскивал свой блокнот и стал искать нужные ему страницы. — Это был необходимый разговор. Многого стало яснее... Вот! Например, теперь нам известно, что за последнее время дела музея шли из рук вон плохо. Губинер отказался назвать сумму недельной выручки, потому что она ничтожна. По корешкам проданных билетов, обнаруженных в урне в день убийства, известно, что денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Что касается баснословной ценности какого-то патента на новый аттракцион, — все это выдумки. Про бездельшущую еще можно сказать, что она стоит «двадцати долларов», но когда человек оценивает свое добро в «сто — двести тысяч долларов» и, забывшись, тут же начинает говорить о миллионных прибылях, то, будьте уверены, он лжет!

— Но зачем же! — спросил я, удивленный выводами Карригана.

— Очень просто — чтобы запутать следствие... Карриган уронила свой блокнот и некоторые важные

пыхтел под столом. — Ведь Губинер извлекал немалую пользу из этого убийства.

— Как! Вы полагаете, что он замешан?..

— В убийстве! Ну нет! — улыбнулся Карриган. — Мало ли кто наживается на этой шумихе: фирма по изготовлению сейфов, торговец готовым платьем, зубной врач, газеты... Он смущенно замолчал, оскесся. — Простите, я, конечно, не имел в виду... Я говорю о Губинере. Дела его идут неплохо, и он очень заинтересован, чтобы следствие затнулось. Вы понимаете, чем больше будет шуметь газеты о таинственном убийстве в Музее асокивых фигур, тем лучше для Губинера. Это же великолепная реклама! Вот почему следует относиться к нему особенно осторожно к его показаниям. А о том, что Губинер не прочь сорвать ради своего бизнеса, говорят даже те бумаги, которые он вам оставил. Смотрите...

Карриган взял лист машиннописного текста и, сильно нажимая, провел пальцем по бумаге. Строки смазались. На пальце остался след от черной краски.

— Видите? Отпечатано на поздне вчерашнего дня. Вероятно, бедняга всю ночь просидел за пишущей машинкой. А ведь говорил, что нашел этот материал случайно, копаясь в старых бумагах... Итак, подведем итоги. — Полицейский инспектор стал давать какие-то отметки в своей книжке. — Как обычно, мы здесь встречаемся с двумя группами людей. Первая — это люди, заинтересованные в быстрейшем раскрытии преступления. Сюда мы внесем адвоку Монторо и... И, пожалуй, больше никого! Кроме нас, полиции, конечно... Ко второй группе отнесем всех тех, кто заинтересован в том, чтобы затянута процесс. Сюда войдут: Губинер, Буртон, фирма Кэртис, зубной врач и подозреваемые — заставляя из аттракциона «Электрический стул и неизвестная женщина, купившая последний билет, вероятно, его сообщница...» — Карриган поднял голову. — Как видите, мистер Мак Алистер, полиция всегда встречается с двумя противоположными силами. Одна старается нам помочь, но сама по себе малочисленна и очень слаба. Другая, самая значительная, всегда действует против нас, мешая нам работать. Но это неизбежно и даже естественно: бизнес есть бизнес, и каждый стремится использовать любую шумиху для рекламы своего товара...

Слова Карригана потрясли меня. Полицейский инспектор был прав: бизнес есть бизнес... Все продается, и все покупается. И даже убийство человека можно превратить в законную монету. Кому он был нужен, этот мексиканец, кроме жены и детей? За всю жизнь он вряд ли заработал столько, сколько принесет его смерть Губинеру. Да и не только Губинеру. Какому-то владельцу магазина готового платья. Фабриканту сейфов. Мистеру Рэндольфу Грейтсу-младшему. Мне... Да, мне, черт возьми! Разве не я должен был превратить правду об этом убийстве в ходовой товар для газеты «Нью-Йорк Глоб»? И мы, мы все будем обязаны своим успехом какому-то гнусному убийце. Значит, мы его сообщники, и Карриган прав: нам верить нельзя!

Впервые я полностью осознал всю чудовищность затеи Рэнда с пресловутым «новым курсом» газеты «Нью-Йорк Глоб». Вся чудовищность этой затеи и... всю ее наглость!

«Ну, хорошо, Рэнд, — сказал я про себя, — так тебе нужна правда? Чистая правда? Ладно! Ты получишь ее. Это будет первосортный товар...»

Меня смущало лишь одно: неужели придется очертить личность убитого подозреваемого о том, что он был связан с преступным миром?

— Скажите, Карриган, — спросил я инспектора, — какая могла быть уверенность у полициста, что

мексиканец Монтеро согласится участвовать в ограблении музея? Кто мог толкнуть на это человека, которого все характеризуют как честного?

— Очень просто — купила.

— Нет, вы это... серьезно?

— Конечно. Я имею в виду его воскресного дэвингизма. Видите ли, в первые годы работы эта кукла гарантировала ему постоянный заработок. Но шло время. Монтеро старел, а кукла нет. И каждый день она ему напоминала, что его счастье кончается. Он не мог относиться спокойно к своему будущему. А в таком состоянии, сами понимаете, все возможно...

Я не скоро обрел дар слога.

— Постойте, Карриган. Ведь то, о чем вы говорите, — это ужасно! Это же страшная трагедия человека!

— Да, конечно, — Карригану не передалось мое волнение, — только вряд ли эта трагедия имеет прямое отношение к убийству швейцара. То есть я не спорю, какое-то отношение имеет. Но мы, полицейские, относим такого рода факты к так называемым «эмоциональным». Суд не принимает их во внимание, если они не подкреплены основательными доказательствами: письмом, показанием свидетелей — одним словом, чем-нибудь реальным.

Я долго считал, что этот день был для меня началом какого-то «прозрения». Теперь я понимаю: это не так. Наши взгляды формируются внутри нас постоянно. Это непрерывный процесс, который мы не замечаем до тех пор, пока не приходится принимать важные решения. А в тот день я понял, что мне необходимо немедленно, сейчас же повидаться с вдовой мексиканца Монтеро и узнать все о ее муже. Я был уверен, что это — сейчас самое важное. В общем-то, я не ошибся...

Глава пятая

ДОМ, КОТОРЫЙ Я ИСКАЛ

Дом, который я искал, находился на одной из многочисленных улочек, пересекающих с востока на запад широкие магистрали Нижнего Манхэттена. Я был в самом центре Латинского квартала Нью-Йорка. Здесь вывески магазинов пестрели испанскими, португальскими и итальянскими фамилиями владельцев, навстречу часто попадались смуглолицые прохожие с прямыми, иссиня-черными волосами, и слышалась чужая речь, в которой звучали бесчисленные «с» и твердые раскатистые «р».

Летом, когда нью-йоркские вечера особенно влажны и жарки, здешние улицы выглядят празднично и оживленно: все окна огромных доходных домов распахнуты настежь. Приходя с работы, их обитатели набрасывают на подоконники подушки и одеяла и лежат полуодетые, высунув головы на улицы. Сотни окон украшаются ярким нарядом разноцветных подушек, рубашек и одеял. Над улицей стоит гул людских голосов, льются звуки песен и музыки из радиоприемников. А внизу, на еще не остывшем и пропахшем бензином асфальте, играют дети. Их так много, что в эти часы полиция вынуждена закрывать здесь проезд транспорта.

Где-то совсем близко жила семья мексиканца Монтеро...

Я шел по грязному тротуару, то и дело наталкиваясь на прохожих и стараясь не задеть тех, кто сидел

возле своих дверей на вынесенных из дому стульях. Это были главным образом пожилые люди. Полуодетые, а шлепанцах на босу ногу, в безрукавках и небрежно запахнутых халатах, они громко разговаривали, темпераментно размахивая руками, и, видимо, чувствовали себя совсем свободно. Но всякий раз, когда я останавливался возле них, чтобы расспросить номер дома, они умолкали и оглядывали меня недружелюбно и насмешливо. А когда я нашел наконец нужный дом и уже собирался войти в темный, как туннель, подъезд, со всех сторон раздались тревожные, грубые окрики:

— Вам кого надо?

— Что вы здесь потеряли?

— Вам какую квартиру?

— Я... Мне к миссис Монтеро. В двести семьдесят четвертую. Это ведь на восьмом этаже, из так ли, миссис? — обратился я к толстой, неряшливой женщине в папилотках.

Вместо ответа она сказала соседям, презрительно кивнув головой в мою сторону:

— Ну! Кто я вам говорила! К ней и есть! Теперь уж начнут шляться! Помню, когда повесился кривой Фернандо, целый месяц к его старухе шлялись точно такие же...

Я понял, что меня приняли за агента, собирающего взносы за вещи, проданные в рассрочку. Пытаясь рассеять это мнение было глупо, а вернуться спиной и сразу же войти в дом — невежливо. И мне пришлось услышать в мой адрес еще несколько замечаний:

— Уж эти-то свое дело знают!

— Шкуру сдерут и с живого и с мертвого!

— Я бы на ее месте все продал! В тот же день взял бы да и продал. И пусть шляются сколько хотят. С голого рубашку не стащат...

Еще в грязном, залпванном лифте я стал испытывать мучительный стыд и растерянность перед свиданием с вдовой Монтеро. Я не имел ни малейшего понятия о том, как представлюсь и начну разговор, хотя, в сущности, мой визит был самым обычным делом для рядового газетного репортера. Вот где пригодился бы Джо! Но я сам отказался от его помощи...

«Здравствуйте, — скажу я вдове, — я из газеты. По поводу убийства вашего мужа. А потом буду задавать вопросы, расспрашивать о человеке, которого она вчера, да, только вчера похоронила...

Лифт остановился, а я все не выходил. Мне безумно хотелось нажать кнопку, спуститься на первый этаж и уйти. Уйти из этого дома, из Латинского квартала, из проклятой газеты мистера Рэндольфа Грейтса-младшего!

Теперь я часто думаю: интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я так поступил?

Квартиру Монтеро я сразу узнал по траурному банту на облезлой двери. Я подошел к ней вплотную, отыскивая глазами кнопку звонка, снял шляпу и... изумленно застыл с поднятой рукой, прислушиваясь к веселым детским голосам, которые раздавались с той стороны. Как только прозвучал мой звонок, шум приблизился. Смех, хныканье и веселая возня слышались совсем рядом, затем дверь заделалась, приоткрылась, и на мгновение показалось смуглое личико девочки лет пяти. Она смотрела на меня огромными смеющимися глазами и энергично кого-то от себя отталкивала. Борьба продолжалась недолго. Дверь внезапно распахнулась, сильно качнулась и упал черный бант, и перед моими глазами предстал клубок из детских тел. Невозможно было понять, сколько там детей и кто из них плачет, кто визжит, а кто хохочет. На меня уже никто не обра-

щаль внимания. Я попытался успокоить ребят и даже стал их растаскивать — один из них отчаянно, взвизгивая, ревел. Мне удалось поднять и взять на руки совсем маленького мальчугана с густо-черными волосами и огромными ресницами. Ему было не больше трех лет. Он так обильно поливал круглые щеки слезами, что казалось, окунул свое личико в воду. На лбу у него быстро набухла шишка.

— Ну ничего, ничего! — успокаивал я ребенка, вытирая платком его щеки. — Сейчас все пройдет! Из глубины темного коридора прибежала испуганная худая женщина и, вырвав малыша из моих рук, зашептала с отчаянием:

— Святая дева Мария! Мистер, мистер, ради бога, что с ним? Что с тобой, Карлитос, где болит? Покажи маме...

Она глядела задыхавшегося от крика мальчугана, в отчаянии мешая английским словом с непонятной мне певучей испанской речью.

— Это Пэпе, мама, Пэпе... — говорила девочка, держа мать за юбку. — Я только пошла открывать, а он как-то толкнет...

А Пэпе, красивый мальчуган с такими же озорными глазами, как у сестры, наоравшись курносый носик и заревел во весь голос.

— Да замолчите вы! Нет от вас покоя ни днем, ни ночью... Вот уж наказание господней Карлитос, что с тобой, мой мальчик? Проходите, сеньор, проходите. А вы — марш отсюда! — Она подняла с пола затоптанный, пыльный траурный бант, с раздражением хлопнула им несколько раз о колено, повесила на место и закрыла дверь.

Я следовал за ней по коридору и как можно громче, чтобы заглушить детский плач, объяснял: — У малыша на лбу шишка. Ничего серьезного, миссис Монтеро, уверю вас... Вот мы сейчас ему приложим монету, и все пройдет... — Вместе со всей семьей я вошел в комнату, порывшись в карманах, нашол монету в 25 центов и приложил ее ко лбу ребенка.

То ли при виде блестящей монеты, то ли оттого, что холодный металл действительно успокоил боль, мальчишка сразу перестал плакать. Мы переглянулись с женой и улыбнулись. Но проказник Пэпе заревел еще громче.

— И я хочу мою монету! — захлебывался он.

Сестреника тоже начала капризничать.

— Ах вы, бесстыдинки! — возмущалась мать, а я зсмоялся, нашел у себя еще две монеты и дал им. Они сразу же замолчали и лукаво переглянулись, собираясь выбежать из комнаты. Но мать крикнула:

— А что надо сказать?

Ребята повернулись и заученно протянули в один голос:

— Спасибо, сэр!

Женщина посмотрела им вслед, покачала головой и сказала с улыбкой:

— Беда с этими близнецами. Ужасные озорники... Простите, вы не из полиции? Я даже не предложила вам сесть.

— Спасибо, — сказал я. — Нет-нет, я из газеты. Славные у вас ребята. Сколько малышу?

— Да ему всего два годика. Он только очень крупный. А близнецам по пяти лет. И вот так с утра до ночи целый день...

— А старшие их есть?

— Был. Рамонито. Ему бы сейчас уже исполнилось семнадцать, — сказала она с гордостью и добавила просто: — Умер он. Тринадцать лет как помер, да будут с ним милости божьи.

Вдруг она резко повернулась к двери, прислушиваясь к яростному шипению сковородки.

— Ох, простите, там у меня, кажется, горит ужин! — И, прижимая к себе ребенка, выбежала из комнаты.

Оставшись один, я впервые оглянулся.

Комната была маленькая. Почти треть ее занимала высокая кровать, покрытая дешевым чистым покрывалом. Посередине комнаты — старомодный круглый стол и на нем большое блюдо, накрытое салфеткой. Кресло, в котором я сидел, находилось между комодом и ножной шейной машиной. На ней лежало черное траурное платье, наметанное крупными стежками белых ниток. Под стекленным колпаком на комод стояла раскрашенная статуэтка божьей матери.

Восла миссис Монтеро. Она держала на руках маленького Карлитоса. Ребенок засыпал. Мать осторожно положила его на кровать и, наклонившись ко мне, шепнула:

— Я сейчас накормлю близнецов и уложу их. Только вы, пожалуйста, не уходите. Я быстро...

Впервые я рассмотрел ее лицо. У нее были очень красивые глаза и смуглый цвет кожи. Пожалуй, ее можно было бы принять за мулатку, если бы не волосы — прямые, блестящие и закрученные на затылке толстой косой. Скоро из кухни донесся приглушенный звон посуды, беспечный ребячий говор и отрывистый, приторно-строгий голос матери. Потом из краев зажурчала вода. По фырканию, хныканью и взрывам смеха я понял, что детей умылают. Очень скоро в соседней комнате послышался скрип кровати пружин. После короткого затишья голоса зазвучали громко и дружно. Я не понимал слов, но сразу догадался, что дети молятся. Раздались звуки поцелуев, щелкнул выключатель...

Она вошла в комнату и устало присела на краешек стула.

— Как хорошо, что вы пришли! — сказала она просто. — Днем все время были соседи. Спасибо им, не оставляют меня одну. Да и дети — то накормить их надо, то переодеть... Не знаю, что бы я делала без них! — Ее взгляд остановился на блюде, покрытом салфеткой, после короткой паузы она добавила без всякой связи, словно продолжала давно начатый разговор: — Накануне того дня он мне наладил масжорубку и говорит: «Приготовь-ка завтра «тамалес». Я очень он их любил. Ну, я и наготовила! — Она кинула на стол. — Целое блюдо. А теперь пропадут. Дети-то их не едят — переные очень...

Я понял, что был ей нужен. Женщина боялась остаться наедине со своим горем. Ей необходимо было говорить, все время говорить о нем, рассказывать всю свою жизнь, вспоминать подробности. Все равно, кому об этом рассказывать. Когда она говорила, ее муч, ее Рамон, снова был с ней. Как живой. Совсем как живой...

— А вчера во время похорон попали под ливень. Промокли все до нитки! И дети тоже. Боюсь, не захворали бы...

— Пожалуйте, расскажите мне о себе, о нем, о детях, — попросил я. — Рассказывайте с самого начала: где вы с ним познакомились, откуда он, как попал на работу в музей, какие у него были друзья, как проводил время?

Женщина закивала головой.

— Да-да! Я расскажу вам, я все расскажу!

— Вы ведь родились в Мексике, миссис Монтеро, не правда ли? — попытался я ей помочь.

— Нет, сеньор. Мы с ним отсюда. С этой стороны. «С этой стороны!» Я знал, конечно, что так говорят мексиканцы, родившиеся у нас, в Соединенных Штатах. Но впервые я услышал, сколько горечи, сколько тоски по «той стороне» звучало в этих словах.

— ...А поженались мы в Контеррас, — продолжала

она,—это такой городишко в штате Нью-Мексико. Рамон тогда работал на марганцевом руднике. Потом рудник закрыли, и мы всей семьей перебрались на Север. У нас тогда уже был Рамонсито — мой старший.

Потом она рассказала мне, как они жили, когда пятнадцать лет назад приехали в Нью-Йорк.

— Вы знаете, сеньор,—улыбнулась она своим воспоминаниям,—в ту пору мы никак не могли найти дешевую квартиру. И вот однажды Рамон мне говорит: «В Гарлеме сдается совсем дешевая маленькая квартира. Погидем посмотри!» «Но, Рамон,—говорю я ему,—господь с тобой, там же негры!» «А что, мы хуже их, что ли?» — отвечает он мне.—Идем, идем! Ну, пошли. А управляющий тем домом, толстый такой негр, смотрит на нас и говорит: «Нечего вам здесь делать. Вы не негры, проваливайтесь! Из-за вас какживешь еще неприятностей!» А Рамон ему по-испански: «Пуэрто-Рико... мулато,—и тычет себя пальцем в грудь, а потом показывает на меня и повторяет: —Мулато, мулато, Пуэрто-Рико...» Но управляющий видит мои длинные косы и говорит: «Мексикан, мексикан... Проваливайтесь отсюда!» Тут на наше счастье появился один из жильцов, молодой кубинский негр. Он посмотрел на Рамона и говорит ему по-испански: «Ты, друг, такой же мулат, как я, президент Соединенных Штатов!» А управляющему по-английски: «Одурел ты, что ли? Разве не видишь, что это полукровка из Санто-Доминго? Там у всех волосы прямые, как проволока. Эх ты... Дожил до старости, а не знаешь таких простых вещей. А еще негр...»

Она вдруг рассмеялась звонко и весело и сразу помолодела.

— Ох, сэр, вы бы видели, какое виноватое лицо скорчил толстак управляющий! Рамон даялся от смеха и едва не испортил все дело. И что же вы думаете? Няня! ведь мы квартиру! Так и прожили в Гарлеме целых пять лет. Да, пять лет. Это были совсем неплохие годы...

Миссис Монтеро умолкла, потом встала и подошла к окну. Я тоже.

На улице уже стемнело, стало малолюдно. На углу возле ярко освещенной витрины стоял на посту низкорослый, плотный полисмен и от скуки играл своей дубинкой.

— Я тут рассказала полицейскому инспектору,—вдруг затворила глаза совсем о другом,—что накануне того дня видела на улице Рамона с какой-то женщиной. Зачем только я это сказала! Теперь он подумает-бог знает что. И без того многие считали Рамона черствым и бездушным. Но это же неправда, сеньор! Мне ли не знать! Он просто отвык разговаривать и смеяться, но меня и детей очень любил и заботился о нас. А теперь в газетах напишут... Мало ли с кем он мог стоять!.. Ведь нас здесь все знают. А на других женщин он никогда не обращал внимания. Пожалуй, не пишите об этом... Ах, господи, я опять не то говорю! Какое это имеет теперь значение?—Она медленно вернулась на свое место, прижимая пальцы к вискам, словно ссылая что-то вспомнить.—Что же я хотела вам рассказать? Да! Я хотела вам рассказать, что в ту пору нам жилось очень трудно, но мы были молоды и не тужили. Потом Рамон нашел работу. Там же, в парке. Но на этот раз работа была постоянной. И тогда мы переехали сюда, в эту квартиру...

Она говорила долго, и голос ее звучал то глухо и грустно, то звонко и даже весело, но иногда вдруг умолкала на полуслове и обводила комнату удивленным взглядом, словно поражаясь, что все здесь вы-

глядит так буднично и обычно, как всегда: из-под кровати высовываются ночные туфли мужа, висит на старом месте его плащ, лежит на комодке его бритвенный прибор. Ничего не изменилось. Ничего! Только сильно болит голова и в висках стучит кровь. Нет, это не кровь — как только наступает тишина, можно разобрать странное, нелепое слово. Оно повторится мерно и настойчиво, как качанье маятника: «Умер... Умер... Умер... Умер...»

Нет-нет! Нужно говорить, нужно все время говорить, чтобы не дать проникнуть этому проклятому, холодному слову в сознание, в сердце! Иначе жить станет слишком страшно, невозможно...

Когда я ушел от миссис Монтеро, уже занималась заря, но на улице по-прежнему было душно. Летом в Нью-Йорке светает рано, за короткую ночь каменные громады домов и асфальт мостовых не успевают остыть. Безлюдные грязные улицы с погашенными огнями реклам и слепыми окнами домов на рассвете казались старыми и жалкими.

— Хэлло, сэр! — окликнул меня верзила-полисмен. — Вы не скажете, который час? — Он бесцеремонно постучал своей дубинкой по стеклу наручных часов. — Боюсь, что мои небьющиеся отстают...

Я ответил ему. Он удивленно выпятил нижнюю губу и, покачав головой, принялся снова играть своей дубинкой.

— Вы что, сержант, недавно заступили? — Я не мог оторвать глаз от замысловатых и каких-то уже мне знакомых движений полосатой палки полисмена.

— Кой черт недавно! Пять часов уже торчу без сменя...

Вдруг мне представилась картина: я смотрю из окна квартиры Монтеро вниз и вижу на этом самом месте маленького, коренастого полисмена, который играет своей дубинкой. Маленького, коренастого полисмена...

— Неужели это вы стояли здесь часов в одиннадцать вечера?!

— Да, сэр! Можете смело заключить пари на что угодно, что это был я. А разве кто-нибудь утверждает обратное, сэр?

— Нет,—улыбнулся я,—дело в том, что с высоты восьмого этажа вы мне показались совсем маленького роста. Спокойной ночи, сержант!

— Спокойной ночи, сэр! Ровно шесть футов и один дюйм! — крикнул он мне вдогонку.

«Ну, конечно же,—подумал я,—когда смотришь на людей с большой высоты, они всегда кажутся ниже ростом...»

И вдруг я остановился. Моя память воспроизвела совершенно точно, до малейшей интонации, слова Карригана:

«Если бы она была высокого роста, я бы и сам подумал, что это мисс Паризини,—та ведь тоже размахивает руками, когда рзговаривает,—но миссис Монтеро говорит, что ясно видела, как ее муж стоял с какой-то коротышкой».

Неужели Карриган... ошибся?

В ту ночь я не оценил по достоинству важности сделанного мною открытия. Я был под огромным впечатлением от рассказов вдовы Монтеро.

Сопоставляя все, что я знал об убитом, с собственными размышлениями и догадками, я старался представить себе образ этого человека, его нелегкую жизнь и судьбу.

Я думаю, что это мне удалось.

Но о швейцаре Музея восковых фигур Рамоне Монтеро я расскажу лишь то, что имело непосредственное отношение к его убийству и в дальнейшем подтвердилось целым рядом событий.

(Продолжение следует.)



Андрей Вознесенский

Охота на зайца

Ю. Казаков

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! И лай и гам.
И оранжевые кожные
Апельсины по снегам!

Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завар,— оппонент милиции,
Лица в валенках, в хроме лица,
Брат Букашкина с пацаном —
Газанем!

«Газик», чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Сапоги на мне и тужурка.
Что же пляшет прицел мой, Юрка?
Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе
По снегам
Скачет крови живой стакан.

Страсть к убийству, как страсть
к зачатию,
Ослепленная и зловещая,
Она нынче кричит: «Зайчатины!»
Завтра взлетит о человечине...

Он лежал посреди страны,
Он лежал, трепыхаясь слева,
Словно серое сердце леса,
Тишины.

Он лежал, синева боков
Он вздымал, он дышал пока еще,
Как мучительный глаз,
моргающий,
На печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
Он возник,
И над лесом, над черной речкой
Резанул
Человечий
Крик!

Звук был пронзительным и чистым,
как ультразвук
Или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы
так?!

Так кричат рожицы. Это была
нога жизни.

Так кричат перелески голые
И немые досель кусты.
Так нам смерть прорезает голос
Неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чуждой,—
Роша, озеро ль, иль бревно —
Им позволено слушать, чувствовать,
Только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
Вылетая, как из силка,
В небосклоны и облака.

Мы окаменели. Это длилось
мгновенье.
Сапог бегущего заварга так и
не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев,
застыли в воздухе.

И внезапно —
Или это нам показалось? —
Над горизонтальными мышцами
бегуна,
Над запекшимися шерстинками шеи,
Блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко
расставлены,

Как на фресках Дионисия.
Он взглянул на нас.
Он взглянул изумленно и
разгневанно,
Он парил,
Он парил, как бы слившись с криком,
Он повис
С искаженным и светлым ликом.
Как у ангелов и певца.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакала пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.

Римские праздники

В Риме есть обычай, в Новый год выбрасывать на улицу старые вещи.

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж
из спальни:
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Милый город, мы потонем
в превращениях твоих.
шкурой сброшенной питона
састят древние бетоны.

Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомцам.
Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет,
расставаясь со старьем.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.

Что в нас плачет, отделившись?
Оленьих, отелившись,
так добры и смущены.

Может, будет год нелегким?
Будет в нем погод нелетных?
Не грусти, не пропадем.
Будет что смахнуть потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Надоела суетня.
Но я затем живу хотя бы,
что среди ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
Сбитый атомным огнем?

Мы не только этим нилым
Не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
сквозь абажуры
светят женские тела.

Тишины!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

Чтобы тень от сосны,
шекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно налость,
вдоль спины до мизинца ступни.
Тишины...

Звуки словно отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание — молчаливо.
Тишины...

Звук запаздывает за светом,
слишком часто мы рты разеваем,
настоящее — не называемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа — тоже ведь человек.
С впечатлениями, голосами,
для нее музыкально касанье,
как для слуха поет соловей.

Как живете вы там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны не наобались?
Тишины...

Мы в другое погружены,
и ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из закигалок,
светят тихие языки.



Рисунки Г. Калиновского.

ДВА РАССКАЗА

I. С ВОСЬМИ ДО ВОСЬМИ

Вобщем, когда я взглянул на часы, уже было двадцать минут восьмого. А на дежурство мне надо было к семи... Так что все равно я опоздал...

А какая разница: опоздать в предпоследний день практики на двадцать минут или на час? Все равно зачтут... А тут еще наши завели проигрыватель, который мы взяли на практику из Москвы... И, как назло, была суббота... И тащиться через всю рощу в больницу в субботу, в предпоследний день практики, не очень-то хотелось... И пластинку поставили мою любимую, правда, треснувшую, потому что кто-то из нас однажды сел на нее... А главное, Валечка — сестра из терапевтического отделения — пришла в тот день к нам в гости и довольно мило на меня поглядывала...

Ну, а я на нее...

Мы с ней и раньше переглядывались, а сегодня все было как-то по-особенному... То ли потому, что послезавтра мы уезжали, то ли еще почему-нибудь...

Короче, какая-то невидимая ниточка протянулась от меня к ней, и казалось, что между нами должно именно сегодня что-то произойти...

Наши сдвинули кровати к окну, и начались танцы.

Выпить захотелось невероятно, но я знал, что рано или поздно пойду на дежурство, и не взял в рот ни капли.

Это было совсем плохо, потому что, даже когда я выпивал, у меня храбрости в общении с девочками не прибавлялось, а уж в трезвом виде всей моей смелости хватало максимум на беседу о Римском-Корсакове или о Вагнере. Я тогда жутко застенчивый был. И в самом физиологическом смысле, несмотря на двадцать два года, оставался еще мальчишкой. Скрывал, конечно. Врал. Вот тебе и медик-иники, медик-иники!

Я с Валечкой протанцевал подряд три танца. Два танца молчал. Она тоже молчала... Но раза два переглянулись все-таки... А во время третьего танца плюнул на все, собрался с духом и спросил, любит ли она Вагнера. Ну что я еще мог спросить!.. Валечка кивнула, и я подумал, что теперь все в порядке.

А тут она еще попросила, чтоб я вообще не ходил ни на какое дежурство.

Я бы и рад, конечно, не ходить, но, с одной стороны, боялся, что не поставят зачет, а с другой стороны, все-таки последнее дежурство. Может, хоть какой-нибудь аппендицитик привезут...

Надо же! Четыре недели был на хирургическом цикле, и за все это время мне самостоятельно разрешили только один раз извлечь какую-то дурацкую иголку. Остальное время вязал узлы, снимал швы, удалял тампоны! Это я-то, член хирургического кружка, человек, который решил всю жизнь посвятить хирургии! И когда мне наконец сказали, что следующую операцию сделаю я сам, то, по невероятному невезению, как мое дежурство — так ни одного случая!

Поэтому я сказал Валечке, что не пойти на дежурство я не могу, но если ничего не случится, то к двенадцати я вернусь, и мы с ней немного погуляем в роще, если, конечно, она меня подождет... Она сказала, что до двенадцати подождет, но из позже...

По дороге в больницу я почти бежал. Бежал по той самой роще, которая для местных жителей была чем-то вроде парка культуры и отдыха. По субботам и воскресеньям вся молодежь надевала свои

лучшие наряды и гуляла в роще... Здесь и выпивали, «на лонец», и ухаживали, и любили, и, случалось, дрались...

Так вот, бежал я по этой роще, порой даже вприпрыжку. Бежал и ивовым прутиком сшибал по дороге листья и желуди. Особенно мне нравилось попадать по листу самым кончиком прута так, чтобы расщепить этот лист по всей длине.

Пригнал я так по роще, посвистывая своим прутиком и думал, как останусь с Валечкой один на один... И будем мы идти с ней по этой тропинке. А потом окажемся совсем в лесу. Но как мы окажемся совсем в лесу, я даже не представлял...

Мы сядем с ней на траву... Ей станет прохладно, и я накину на ее плечи свою куртку. Мы будем говорить о чем-нибудь. Потом я ее поцелую... Но как я перейду от разговоров к поцелую, я понятия не имел. Потом, может быть, поздно ночью я возвращаюсь к нашим и тихо пройду к своей раскладушке. И на вопрос проснувшегося Сани «Ну, как?» я отвечу лениво, по-мужски: «Все в порядке». И так же лениво, по-мужски, начну раздеваться...

В этот момент моя левая нога резко ушла вперед, как на лыже... И я неловко забалансировал на одной правой, чтобы не упасть... Оглянувшись, я увидел, что попал ногой в коровью лепешку. Это, конечно, тут же вернуло меня с небес на землю, и я стал возить левой ногой по траве, стараясь очистить ее как можно лучше.

— Угодили, доктор? — услышал я за спиной чей-то знакомый соболевущий голос.

Я оглянулся и увидел Гузову, мою бывшую больную, которая выписалась две недели назад. Гузовой было 54 года. Это была очень смешная женщина. Глядя на нее, я всегда вспоминал известный врачебный анекдот, когда врач спрашивает мужика: «Как на двор ходите?» А мужик отвечает: «В сапогах»...

Мне стало очень неудобно, что Гузова застала своего доктора в таком нелепом положении, и я просто не знал, что сказать...

— Это никоновская корова напакостила, — понимающе произнесла Гузова. — Уж я-то точно узнала... Только Никонова свою корову в роще гуляет... Вот я этой Никоновой выговорю...

Мне было как-то все равно, чья это корова, и положение мое было просто идиотским. Поэтому, наверное, я совершенно по-деловому спросил:

— Ну, как самочувствие, Гузова?

Она как будто ждала этого вопроса.

— Да что уж там, доктор... — заговорила она, точно я был на обходе. — Вот тут справа все время колония ощущаю... Вот колет и колет, а потом как вдарит, так что сердце останавливается... А вчера утром проснулась и ощущаю, что меня душит... Ну: душит и душит... Просто сил нет... Когда у вас лежала-то, лучше ощущала...

Разговор становился бесконечным, и я сказал, что тороплюсь в больницу...

— А-а... Ну, тогда конечно, — вздохнула Гузова. — И на том спасибо... Душевный вы человек, Сергей Михайлович... Больные вас ох как любят... Спасибо, Сергей Михайлович...

После встречи с Гузовой я почувствовал себя совсем уверенно.

«Сергей Михайлович, — подумал я, — доктор Сергей Михайлович... А может, я действительно сегодня стану Сергеем Михайловичем...» И я пошел быстрым, но солидным врачебным шагом, в кедах, в сатино-



вых черных шароварах и белой майке... Ну, потому что жарко было, а халат все равно давали больнич- ный...

Во дворе перед корпусом, как обычно, гуляла перед сном больные. Больше терапевтические. Ну и те из хирургии, которые могли двигаться...

Они выглядели очень смешными. Все в застиранных серых фланелевых халатах. Все в стоптанных больничных шлепанцах. Женщины в простых коричневых полуслисовых чулках. А у мужчин из-под халатов виднелись белые кальсоны, заправленные в простые коричневые носки.

Мне не удалось проскочить через двор незаметно, и несколько мужчин обступили меня. Они все хорошо ко мне относились, но как-то несерьезно... Понимали, наверное, что я еще мальчик. Называли Сережей и ценили меня, казалась, только за умение рассказывать анекдоты...

Вот и на этот раз они потребовали от меня новый анекдот. Пришлось рассказать. И пока они покатывались, я сбежал.

Еще в приемном отделении мне сказали, что придется прободную язву.

Я мгновенно нацепил на лицо маску, убежал в операционную и увидел, что опоздал... Больной уже был под наркозом, а Иван Андреевич делал разрез. Ему ассистировали операционная сестра и студентка из нашей группы с нелепой фамилией Лошадь. Она тоже сегодня дежурила и торчала в больнице чуть ли не с утра. Не любил я эту Лошадь! Какая-то она была до противного исполнительная и правильная. Вот ведь ни к чему ей эта операция. Ведь хочет быть гинекологом. Но чтоб когда-нибудь уступила свою очередь поассистировать — нет!

Видимо, закон бутерброда, по которому хлеб всегда падает маслом вниз, действовал против меня. Опять почти два часа только смотреть. Да еще злиться, что не ты ассистируешь, а Лошадь!

А ведь не танцевал бы я с Валечкой, не влез бы в коровью лепешку, не трепался бы с больными, я бы тоже ассистировал...

— Явились, профессор? — спросил, не глядя на меня, Иван Андреевич. — Пеняй на себя... Пришел бы вовремя — участвовал бы в операции... А теперь смотри...

— Да видел я прободную не один раз, — огрызнулся я.

— А коли видел, так нечего без толку в операционной толкаться! Пройдись по палатам, больными поинтересуйся, Астахов проведет... В Москве-то ведь такое не увидишь, — так же, не глядя на меня, произнес Иван Андреевич и наложил кохер на маленький сосудик, из которого фонтанчиком брызнула кровь...

Как я ненавидел в эту минуту Лошада за ее ехидный, злорадный взгляд в мою сторону!..

Я направился в хирургические палаты и стал думать об Иване Андреевиче.

Вот если бы встретил его раньше, в Москве, подумал бы, что это какой-нибудь мужикон-плотничек с хитринкой, но никак не врач. Говорит быстро, высоко. И все время белую свою шапочку с затылка на брови надирает.

Мы все с недоверием к нему отнеслись, когда в первый раз увидели: но после того, как он на моих глазах за девять минут расправился с аппендикситом от разреза до последнего шва, я буквально в рот ему стал смотреть. А уж когда узнал, что при этом у него еще и зрение только на шестидесять пять процентов, я вообще решил, что это просто некоррелированный Пирогов.

Больные на него молились. А с нашей эгоистической точки зрения он имел только один недостаток: не очень-то разрешал нам Иван Андреевич самостоятельные манипуляции. Все больше велел смотреть больных, щупать, слушать, расспрашивать. Чтоб мы, как он говорил, «понятие заимели».

— Если операцию сделать без понятия, — часто повторял он, — то никакого проку в этой операции нет. Вот мой пятилетний Вася из кубиков любое слово сложить может. Вася! Сложи слово «трансформатор»! Сложи! А что это за слово такое — «трансформатор», — он понятия не имеет... Так вот и вы, прежде чем операцию сделать, должны понятие заиметь!..

И мы смотрели больных, щупали, слушали, расспрашивали... По несколько раз одних и тех же...

Думая так об Иване Андреевиче, я вошел в палату, в которой лежал Астахов...

Солнце уже почти исчезло, и последние косые блики его сделали всю палату шафрановой. Стены, простыни, подушки, температурные листы — все было шафрановым... Таким же шафрановым, как Астахов... Только меньше. Потому что у Астахова был старый, видимо, скirrosный рак желудка величиной почти с детскую голову. Он с каждым днем сдавливал желчные протоки, и Астахов с каждым днем желтел и желтел.

Он поздно дает метастазы, этот скirrosный рак... Но дает. И у Астахова метастазы уже были...

Он лежал на спине и неподвижно смотрел желтыми глазами на желтую стену.

— Совсем я пожелтел? — очень тихо и очень задумчиво произнес он.

— Это потому, что солнце, Николай Петрович, — сказал я и присел на край его кровати.

Осторожно я сдвинул одеяло к ногам и приподнял белую рубашку. Опухоль была видна на глаз, и пропальпировать ее не представляло никакого труда. Я положил ладонь на желтый живот и ощутил твердое с неподвижное, как пень, образование.

— Ну вот... Уже почти совсем все размягчилось, — сказал я, не глядя на Астахова, — и подвижнее стало...

Так каждый день на обходе говорил Иван Андреевич. Эта ложь поддерживала в человеке тлевший, несмотря на то что тлевший, где-то глубоко огонек надежды...

Астахов тяжело вздохнул.

— Все грустно и безотрадно, — так же задумчиво произнес он, и по скулам, обтянутым желтой кожей, скатились две крупные слезы.

— Ну, уж это ни к чему, Николай Петрович...

Я тяжело поднялся с кровати.

Астахов промокнул глаза кончиком рубашки.

Солнечные блики уже исчезли. Стены снова стали белыми, простыни и подушки стали белыми. Один только Астахов остался шафрановым. Он действительно совсем уже пожелтел за последние дни.

Я вышел из палаты и остановился у окна.

Вот странно... Пройдет три-четыре месяца, все останется на своих местах: будет стоять эта кирпичная больница, будет время от времени поступать в отделение новые больные, будем на пятом курсе мы, а Астахов уже не будет. И ничего, абсолютно ничего нельзя сделать... Пройдет каких-нибудь шестьдесят — семьдесят лет... Так же будет стоять эта кирпичная больница, будут шуршать машины по Волколамскому шоссе мимо моего дома, будет стоять это старое дерево... И небо будет такого же цвета... А меня не будет. Меня точно не будет. Никогда... Меня никогда не будет... Никогда... Никогда...

Я вздрогнул. Я всегда вздрагивал, когда начинаю вдумываться в это страшное слово «никогда». Я вздрагивал, и мне хочется закричать, так закричать, чтобы все услышали, чтобы все обступили меня и напомнили мне о самых близких жизненных делах. О чем угодно. О том, что мне нужен костюм на зиму, об абонементах на симфонические концерты, о Валечке...

Валечка моментально вытеснила из головы все остальное. Я почувствовал, как усталенно забилось сердце, и стал подталкивать часовую стрелку времени к двенадцати.

За окном по карнизу голубь бегал за голубкой. Он наддувал серую грудку и устремлялся за ней. А она безразлично от него уходила. Кончался карниз. Голубка перелетала на другой конец, и все начиналось по-новой.

— Сережа! Быстро в приемное отделение! — услышал я с конца коридора и нехотя пошел вниз. Наверное, опять завалился в приемное какой-нибудь пьяный. До чего же я не люблю объясняться с пьяными! И ведь напиваются до такой степени, что уже ничего не соображают.

В приемном возле столика я увидел блдую, растерзанную дежурную врачу, сестру, которая позвала меня сверху, фельдшерницу с перевозкой и шофера.

В углу на носилках лежало что-то, покрытое серым больничным одеялом.

На скамейке для больных пьяный парняга тер кулаками красное лицо и ревел:

— Мне отрежьте! Отрежьте, ему отдайте! Всю жизнь на его работать буду! Все оплачу!

Рядом с пьяным сидела молоденькая женщина, видимо, его жена, сморкалась и тем же платком промокала слезы...

— Вы, что ли, принимать будете? — бесстрастно спросила меня фельдшерница.



— Очевидно,— неуверенно сказал я.— Что привезли?

— Ампутация... травматическая... Закурить не будет?

Я достал сигарету и дал ей прикурить.

Она затянулась.

— Целый час на путях пролежал... Пока этот обалдуй сообщил...

— Все оплачу! — снова заревел пьяный.— Протезы ему куплю!..

Молоденькая женщина вскочила со скамейки и затараторила:

— И кто же мог подумать, что это правда, доктор? Он прибежал, глаза выпулпил, водкой разит. Человек, кричит, под поезд через меня попал! А кто мог подумать? Может, ему спьяну прирезилось? Ну, пока разобрались, пока сообщили...

— Все у меня отрежьте! Все! — снова заревел пьяный.

— Слушайте! — обратился я к молоденькой женщине.— Берите своего красавца и идите спать. Все. Вы свое дело сделали.

Я подошел к носилкам, нагнулся и высвободил из-под одеяла бескровную руку.

Пульса не было. Я откинул одеяло до пояса и задрал испачканную в земле рубашку. Где-то глубоко в груди я услышал нарек на сердцебиение.

Я боялся откинуть одеяло совсем и посмотреть на ноги. Я боялся. Я никогда так близко не видел человека, который попал под поезд. В институтском морге я видел все. Я привык ко всему. Но там были только мертвые. Препараты. А здесь передо мной лежал еще живой человек, которому ноги переехало поездом. И я боялся взглянуть на все это

— Подавать на стол? — нерешительно спросила сестра.

— Вызывайте второго хирурга,— сказал я,— а я пойду скажу Ивану Андреевичу...

— Он знает. Велел вам мыться.

В первый момент от этих слов я почувствовал где-то в спине такое же ощущение, какое испытываешь, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях.

Потом меня подхватил какой-то бурный, неосознанный поток радости, и я ворвался в операционную.

— Ход операции помнишь? — спросил Иван Андреевич, не глядя на меня и продолжая манипулировать.

— Помню! — закричал я.

— Чего раскричался? — продолжал Иван Андреевич.— Наладишь систему переливания и валяй... Про сократимость кожи не забудь... Перед тем, как начнешь пилить кость, расслабишь жгут, перевяжешь сосуды... Ясно?

— Наркоз общий? — спросил я.

— Какой еще общий? При таком шоке общий? Нафраншируешь местно новокаином и валяй...

Ух, какими завистливыми глазами посмотрела на меня Лошадь, которая всего-навсего держала какие-то крючки!.. Ух, как я торжествовал!..

Я натирал щетками густо намыленные до локтя руки и думал, что вот сегодня, несмотря на этот самый закон, бутерброд для меня все-таки упал маслом вверх. Сегодня я сделаю самостоятельную операцию, и каковую!..

Я совал руки под кран, и вместе с мылом смывались все реальные ощущения происходящего: человек, перерезанный поездом, жизнь, висящая на волоске, моя ответственность за эту жизнь.

Я стоял, согнувшись, над тазами с хлористым ам-

мением. Нашатырь на редкость приятно щекотал носом.

Я думал о том, что вот так всегда бывает у врачей и актеров. Незаметный статист случайно заменяет заблывшего гения, и сам тут же становится гением. Незаметный студент случайно заменяет врача, занятого на операции, и вдруг все обнаруживают новую звезду хирургии...

Я перешел ко второму тазу.

Как я завтра буду смотреть на наших!..

Мальчишки! Практиканты! Да я вчера ампутацию сделал! А может, даже и не завтра, а сегодня. Может, еще и к Валечке успею! Таких два события в один день! Настоящий день рождения мужчин!

— Хватит плескаться, Сережа,— услышал я справа от себя голос нянечки.

Сестра подала мне сухие тампоны.

— И как это его угораздило? — почему-то весело спросил я, протирая руки.

И пока я вытирался и облачался в операционный наряд, я узнал со слов нянечки, что пьяный парняга брел по путям по ходу поезда, недалеко от поворота. Пьяный ничего не понял, когда кто-то с ругательствами налетел на него. Он только почувствовал сильнейший удар в подбородок и очутился под насыпью. А когда очутился, полез наверх, чтобы расчитаться с обидчиком по справедливости. Влез на насыпь и тут же протрезвел. Помчался в деревню.

А дальше все так, как его жена рассказывала.

...Когда была налажена система переливания, когда были введены сердечные, когда все было готово, я подкинул сестре и сказал весело:

— Ну, начнем?

Она ничего не ответила, и я пинцетом отбросил белую простыню, до пояса покрывавшую неподвижное тело... Из поля зрения исчезло все. Глаза выхватывали только ноги. Только безжизненные ноги.

Ноги, которые еще час назад, подчиняясь корковому импульсам, помчались навстречу пьяному крестнику, чтобы продлить жизнь этого крестника еще на сорок — пятьдесят лет. Ноги, которые два часа назад, подчиняясь корковому импульсам, куда-то очень спокойно шли. Ноги, которым мало ли куда предстояло идти завтра...

Я видел только эти ноги, которые сейчас еще соединялись с телом их хозяина непонятно почему уцелевшими грязными лоскутками кожи.

Я вдруг впервые за все время почти материально ощутил, что эти ноги совсем недавно принадлежали живому человеку. Живому. Что передо мной на столе лежал не препарат, не фантом, не труп. Живой человек, на месте которого я сразу представил своего отца, мать, Ивана Андреевича, Лошадя, себя... Я испытывал страшную физическую боль, как будто все это произошло со мной, а не с ним — лежащим на столе незнакомым человеком.

На операционном столе я вдруг увидел совсем рядом жизнь и смерть, которые соединялись друг с другом этими непонятно как уцелевшими грязными лоскутками кожи. Я почувствовал себя вовлеченным в рукопашную схватку между жизнью и смертью. И в этой схватке я мог драться только на стороне человека, который лежал на операционном столе.

Я понял, да, я понял, что любая моя ошибка, любой неосторожный шаг будут расцениваться как предательство и шпионаж в пользу смерти.

И мне вдруг на мгновение стало страшно...

Я стал похож на человека, который восхищенно любовался чудесным полотном гениального художника, а когда подошел вплотную к картине, увидел только бесформенные мазки красок.

Мне захотелось не принимать участия в этой схватке, а просто наблюдать ее со стороны или, еще лучше, не зная о существовании таких схваток.

Почему я не пошел в геологоразведочный?

Мне очень захотелось проснуться, именно проснуться. Но я не мог проснуться, потому что я не спал. Я стоял перед операционным столом, на котором пнировала смерть. И человек на столе не мог сам от меня защититься...

— Вам плохо, доктор? — будто пронзил меня голос сестры.

Это заставило меня схватить протянутые мне ножницы, и я перерезал грязные лоскутки кожи. Бой начался.

Забултыхал в белой амбириванной кружке набираемый мной новокаин.

— Давление! — крикнул я.

— Почти никакого, — ответила сестра.

— Лобелин!.. Странно!..

Булька новокаина и со свистом выходил из шприца в разможенные мышцы. Я уже ничего не замечал. Я видел только инструменты и рану.

— Пульс! — крикнул я.

— Появился, — услышал я откуда-то издалека.

Порядок! Все будет нормально... Все будет нормально. Пульс появился. Я действовал очень быстро. Во всяком случае, мне так казалось. Скальпель выскользнул из рук. Я машинально потянулся за ним к полу.

— Куда?! — заорала сестра. Она уже протягивала мне новый.

— Давление! — бросил я.

— По-прежнему...

— Еще лобелин с кофеином!

Как трудно оттягивать мышцы!

Сестра одной рукой стала тянуть ретрактор...

Я начал пилить... Как стало будет очнуться этому человеку в больничной палате и почувствовать пустоту там, где раньше были ноги! Я пилил... Потом у него возникнут фантомные боли. Вдруг начнут чешаться несуществующие ноги.

Я кончил пилить...

— Давление?

— Пятьдесят — верхнее, доктор.

Порядок! Все будет нормально!

Я ослабил жгут. Слабыми струйками появилась кровь. Короткими очередями загаворили зажимы. Ух, как обрадуется моя мать, когда я расскажу ей про эту операцию! Я обязательно специально приеду из Москвы и проведу этого человека.

— Пульс пропал, доктор... Я сделаю еще странfant, — таинственно сказала сестра.

Нет, не может быть! Как это пропал пульс? Ведь он же появился...

Я не мог себе представить, что появившийся пульс может опять пропасть. Появится... Все будет нормально...

Я не чувствовал жары от верхней лампы, я ничего не чувствовал.

Операционная слилась в какой-то сплошной беложелтый фон, на котором проглядывались расплывчатые белые фигуры.

«Вроде бы ничего получилась культя», — с удовольствием отметил я, когда стал стягивать кожу шва-

ми.—Подберет протезы и будет ходить. Готов узел. Сначала на костылях, а потом с палочкой. Готов узел. Только бы жена не оказалась сволочью... Готов узел. А может, он и не женат... Готов узел. Найдется человек, который выйдет за него замуж... Одна нога готова». Я взял палочку с йодом.

— Давление! — крикнул я.

— Начинать вторую, — услышала я напротив себя. — Я сам за всем прослежу...

По другую сторону стола оказался Иван Андреевич. Он, очевидно, уже закончил свою операцию. Рядом с ним стояла Лошадь и завистливыми глазами ловила каждое мое движение.

И все я повторил с самого начала.

Иван Андреевич следил за пульсом и давлением, и мне стало совсем спокойно.

Я целиком ушел в операцию, и смерть отступила от стола куда-то далеко-далеко. Когда я дошел до шова, я даже мысленно зашел. Я был просто счастлив, что сделал первую свою самостоятельную операцию.

Я был так увлечен, так уверен и так спокоен за исходом, что, конечно, и не предполагал, что последние стежки, и аккуратные культи, и палочки с йодом, и стерильные повязки уже совсем не были нужны человеку, лежавшему на столе.

— Все, — сказал Иван Андреевич и сдвинул свою шапочку с затылка на брови.

— Как это «все»? — каким-то чужим голосом переспросил я.

— Все, — повторил он.

Только тут я по-настоящему понял, что изначально это «все».

— Адреналин! — прокрипел я. — Большую иглу и эдриналин!

Сестра вопросительно взглянула на Ивана Андреевича.

Он кивнул.

Я схватил иглу и всадил ее почти на всю длину туда, где должно находиться сердце. Нет! Он не мог умереть! Не мог умереть человек, которому я сделал операцию! Я выдал в иглу три шприца адреналина.

— Помогает только иногда, — сказал Иван Андреевич, — но не в этом случае...

Все вокруг стало вдруг приобретать реальные очертания, как на листке фотобумаги, который бросили в провалы.

Белые квадраты кафеля, черные квадраты окон, гладко выбритое лицо бывшего человека, следы земли на левой щеке. Откуда-то появилась страшная слабость и ноющая боль в пояснице.

И только две мысли: «Умер... Не может быть... Умер... Не может быть... Умер... Не может быть...»

— Заполнишь историю болезни, опишешь операцию, поставишь причину смерти, — отчетливо произнес Иван Андреевич.

— А... кто это? — У меня пересохли губы и пропал голос. Я ничего не знал об этом человеке.

— А кто его знает, кто? — совсем просто сказала нянечка. — Документов при нем никаких. Суббота ведь... Небось, не на работу шел устраиваться.

Она нагнулась, закрыла простыней таз, в котором лежали ноги, и понесла этот таз из операционной.

Я стоял в каком-то оцепенении и не мог оторвать глаз от того, что лежало на столе.

— А ты чего? Совсем расквасился? — осторожно заговорил Иван Андреевич. — Ты не квася. Ты молодец. А его-то уже ничего не спасало. Это мне сре-

зу ясно было. Кабы на полчаса раньше... А ты все отлично сделал. Теперь навсегда запомнишь.

— Если бы была хоть малейшая надежда, вызвали бы второго хирурга? — спросил я, глядя на мертвого.

— А ты считаешь, что он не умер. Ты все сделал правильно. Для тебя он не умер...

— Значит, обманули, — совершенно убито сказал я и вышел из операционной.

Я сидел в дежурке один на табуретке и смотрел в темноту окна.

В принципе не имело никакого значения, обманул меня Иван Андреевич или не обманул. Видимо, он прав. Если бы на полчаса раньше. Я мысленно повторил весь ход операции. Сестра отвозила его в палату. Я сидел всю ночь у его постели. Он поправлялся. Я хлопотал о его протезах. Он был первым человеком, которого я спас. Если бы на полчаса раньше! И я опять думал об одном и том же. И еще я думал о том, что кончилось что-то для меня этой ночью... И что-то новое началось... Но не понимал, что именно кончилось и что началось.

Потом, как в тумане, уселся рядом со мной Иван Андреевич и, как сквозь вату, говорил что-то. Про то, что вот так именно и становятся взрослыми. Что только тогда приходит мужество, когда сам видишь, как жизнь переходит в смерть.

Потом я, не раздеваясь, распластался на койке. А он все говорил, говорил, пока я не отключился.

Все утро мне казалось, что у меня должны появиться седые волосы. Я долго смотрелся в зеркало, но не обнаружил, к сожалению, ни одного. Только синяки под глазами.

— Серебро ищешь? — улыбнулся Иван Андреевич. Я промолчал.

— Будут еще у тебя серебряные ночи...

Шел я из больницы по той же тропинке, той же рошеч, что и вчера. Шел, и мне действительно стало казаться, что он не умер... И это идя я не после первой, а после обычной очередной операции. Кончики пальцев у меня перепачканы в йоде. И это тоже обычно...

А рошча принимала свой воскресный вид.

Навстречу попадались знакомые и незнакомые. Многие меня за два месяца уже знали. Кланялись и говорили:

— Здравствуйте, Сергей Михайлович.

И казалось, они знали, что я провел успешную операцию. И казалось, оглядывались мне вслед и говорили таинственно тем, кто не знал:

— Это Сергей Михайлович...

И как-то я не очень-то переживал, что вчера не состоялась встреча с Валечкой. У меня было такое ощущение, что была уже такая встреча — только не вчера, а значительно раньше.

И когда я вошел в дом, Саня тут же доложил мне, что Валечка вчера в двенадцать ночи ушла мне навстречу и что интересно, встретил я ее.

Я ничего не ответил и стал лениво, по-мужски таскаться с себя кеды.

Саня сказал, что, судя по моему виду, я великолепно провел с ней время, и спросил: «Как она?»

Я было хотел ответить, что все в порядке, но вместо этого стянул с себя шаровары, улегся на свою раскладушку и безразлично сказал:

— Да не было ничего.

Как-то раскотелось мне врать. Тем более, что Лошадь все равно бы рассказала правду.

2. Педальная машина

Когда я вижу у какого-нибудь ребенка педальную машину, во мне рождается что-то теплое, волна воспоминаний подхватывает меня и несет назад, в детство, года на двадцать четыре вдале от берега взрослых...

В детстве у каждого есть своя «педальная машина», своя мечта номер один. У одних это кукла с закрывающимися глазами, у других — заводная железная дорога, у третьих — моторная лодка, которую можно пускать в тазу, в корыте и, конечно, в теплой последодевой луже возле дома. А у меня это была педальная машина.

Но в детстве подобные мечты сбываются только при участии взрослых. Помню, как за несколько дней до моего пятилетия мама спросила, какой подарок я хочу на свой день рождения. Сердце у меня забилось часто-часто, я почему-то покраснел и с трудом выдал:

— Педальную машину...

— Ишь ты, чего захотел, — ласково сказала мама и погладила меня по голове.

— купи!.. — Я, наверное, при этом так посмотрел на маму, что она вдруг на мгновение сделалась серьезной, потом поцеловала меня и сказала:

— Ладно-ладно... Куплю. Иди погуляй.

— А когда мой день рождения? — не уходил я.

— Во вторник.

— А когда вторник?

— Вот будет завтра, потом послезавтра, потом после-послезавтра, а потом будет вторник.

Значит, после-после-послезавтра!..

Конечно, я всем во дворе сказал, что у меня будет педальная машина. В этот день Люська Четверикова разрешила мне попрыгать с ней и с другими девочками через веревочку и даже доверила покрутить «пята холодных и пять горячих». И я подумал, что Люська вовсе и не «воображала». А она потом спросила меня:

— Дашь покататься?

— Конечно! — радостно крикнул я.

Славка, которого мы все звали «жадиной-говядиной», подарил мне самую большую драгоценность — «чертов палец». И я подумал, что Славка вовсе и не «жадина».

А вечером ко мне подошел Витька, которого мы все боялись, потому что ему было уже восемь лет, протянул мне коробку с майскими жуками и сказал:

— Давай с тобой водиться.

— Давай, — неуверенно протянул я.

— Я за тебя заступаться буду, — сказал Витька. Водиться с Витькой да еще знать, что он за тебя заступается!.. Это что-нибудь да значит! Я чуть даже не забыл про педальную машину.

Все дни до вторника я ждал. Наступало «завтра» — я ждал «послезавтра». Наступало «послезавтра» — я ждал «после-послезавтра». Наконец, наступило «после-после-послезавтра». В этот день мама и папа пришли с работы вместе и раньше, чем обычно. Папа, что-то прचा за спиной, прошел к столу, а мама, стоя в дверях, крикнула мне:

— А ну-ка, закрой глаза!

Я закрыл.

— Теперь открой!

Но я стоял с закрытыми глазами и, наоборот, все

сильнее и сильнее зажимурился. Я, конечно, понимал, что за спиной у папы не может уместиться большая педальная машина, и все-таки надеялся на чудо. Но чудес не бывает. Поэтому, когда я открыл глаза, на столе стоял маленький улыбающийся поросенок. Он был в черном костюмчике, на голове у него была черная шляпа, в руках он держал смычок и скрипку.

Наверно, у меня был очень разочарованный вид, потому что папа сразу бросился к поросенку, сунул ему в спину клочок и стал с треском повертывать его, приговаривая:

— А как он у нас сейчас заиграет...

И действительно, поросенок вдруг задергался и быстро-быстро заводил смычком по скрипке. При этом черная шапочка стала подпрыгивать у него на голове.

Я смотрел на маму, которая все еще стояла в дверях и ждала только одного, ждала, когда же я обрадуюсь подарку, чтобы броситься ко мне и начать целовать меня, тискать и говорить мне много-много ласковых слов, таких слов, которые может говорить только мама, когда сыну исполняется пять лет. Я посмотрел на папу, который светился возле поросенка и приговаривая то и дело:

— А какие у нас ботиночки! А на скрипочке даже струны есть!

Я посмотрел на глупого улыбающегося поросенка, который прыгал на одном месте, играл на скрипке и ровным счетом ничего не понимал.

И я заплакал. И оттого, что поросенок улыбался, и оттого, что папа светился возле поросенка, стараясь развеселить меня, и оттого, что мама хотела, чтобы я радовался, а не плакал, я заплакал еще сильнее.

— Ты же обещала!.. — говорил я сквозь слезы.

— Что я обещала! — недоумевала мама.

— Педальную машину!.. — И как только я произнес это вслух, с новой силой до моего пятилетнего сознания дошло, что у меня нет, нет, нет педальной машины.

— Ну, ерунда какая, — успокаивала меня мама, вытирая мне слезы своим платком. — Будет еще у тебя педальная машина.

— Когда? — не унимался я.

— Ну вот поедем как-нибудь с папой в город и купим. Только успокойся. Скоро гости придут, а ты плачешь.

— Он просто неблагодарный, невоспитанный ребенок, — сказал отец. — Воспитанный сын должен был радоваться любому подарку, должен был поцеловать папу и маму, а он плачет. Раз так — ничего не получим!

И папа спрятав поросенка в коробку, а коробку положил в шкаф.

День рождения пятилетнего ребенка — это праздник для взрослых. Это благородный повод собраться, немного повеселиться за рюмкой вина, поговорить о чем-либо и, конечно, вкусно поесть. Гостей у нас было немного. Пришли они не все сразу. И каждый, кто приходил, дарил мне что-нибудь и брал у меня скучное, однообразное интервью, стараясь разговаривать со мной, как с равным.

— Ну, здравствуй, — говорил каждый гость, протягивая руку. — Это сколько же тебе лет исполнилось?



— Пять,— отвечал я каждому гостю.

— Э-э!.. Да ты уже совсем взрослый. Скоро в школу пойдешь,— ставил меня в известность каждый гость.

— Скоро,— угрюмо соглашался я с каждым гостем.

— А ведь я тебя еще вот таким помню,— говорил каждый гость и руками показывал, каким он меня помнит.— А ты меня помнишь?

— Нет,— говорил я каждому гостю.

Никто из них не принес педальной машины.

Зато пришедший позже всех дядя Сережа подарил мне черный блестящий большой пистолет! Он стрелял деревянными палочками, на конце которых были специальные резиновые присоски. Ну что говорить? Пистолет мог бы стать моей самой любимой игрушкой, если бы я так сильно не хотел педальную машину. Я рассматривал его, уже лежа в постели, и время от времени целился в сидящих за столом гостей. Но, конечно, я не нажимал на курок.

Разговоры, смех, звон посуды за столом долго не давали мне уснуть.

Утром, когда я проснулся, я сразу вспомнил, что у меня нет педальной машины. А может быть, все-таки мама и папа вчера нарочно говорили, что не купили машину, чтобы сегодня утром меня ждал сюрприз? Я пробегался глазами по углам и даже заглянул под кровать, но, кроме маминих домашних туфель и сухих стружек от матраса, ничего не

увидел. Я приоткрыл дверь и выглянул в коридор — мы жили тогда в бараке, и у нас был длинный полуметровый коридор,— но в коридоре рядом с нашей дверью, где мне хотелось увидеть педальную машину, сидел на горшке Слава — «жадина-говядина» — и серьезно рассматривал какой-то камешек.

Когда я вышел гулять, Люська Четверикова уже прыгала через веревку с другими девочками возле сарая. Увидев меня, Люська крикнула девочкам:

— Мне чур! — И подбегала ко мне: — Ну? Купили?

— Нет... Но скоро купят,— несвело ответил я.

— Жди больше! — как-то вредно сказала Люська. — Педальная машина, знаешь, какая дорогая?

— Какая? — не понимал я.

— Можно прыгалок купить целую тысячу!

Я тогда не понимал, что значит «дорогая», но слово «тыща» внушало мне какой-то неведомый страх, и педальная машина вдруг сделалась для меня маленькой, далекой, необычной...

«Воображала» Люська больше не принимала меня прыгать через веревочку и уж, конечно, не разрешала крутить не только «горячие», но и «холодные». Слава — «жадина-говядина» — забрал у меня свой «чертов палец». И я подумал, что Витка и по-прежнему перестанет со мной водиться.

Я сам разыскал Витку за домом возле шоссе, где он всегда ловил жуков. Он сидел в канаве и строгая перочинным ножом какую-то доску. На доске был нарисован простым карандашом кривой-кривой пистолет. Дуло было уже почти выстроено.

— Хорошо! — ордо спросил у меня Витка, показывая доску.

— Возьми своих жуков,— сказал я, чуть не плача, и протянул коробку.

— Зачем? — удивился Витка.

— Не купили мне педальную машину.

— Ну и не надо. А жуков я тебе за так подарил. На день рождения.

— За та-ак! — протянул я растерянно.

— Ага,— сказал Витка просто. — А педальная машина — это для малышей. Вот пистолет — это да!.. мчтательно добавил он.

— Какой пистолет?

— Какой?! Настоящий, железный черный, который палочками стреляет,— восторженно заговорил Витка, потом с тоской посмотрел на доску, сложил перочинный ножик и вдруг предложил мне: — Давай вместе жуков ловить! Хочешь, научу?..

...Я долго не мог уснуть в этот вечер. Под подушкой в коробке уютно скриблели жуки, которых наловили мы с Виткой. И пусть папа скажет, что я не благодарный, невоспитанный, что я не умею хранить подарки... Пусты! Но у меня под подушкой рядом с жуками лежал настоящий черный железный пистолет, и я знал, что я сделаю с этим пистолетом завтра. А педальная машина — это для малышей...



Дорогие читатели! Мы приглашаем вас на всесоюзную читательскую конференцию «Молодой герой советской литературы». Что вы читаете? Что думаете о прочитанном? Каких книг ждете от наших писателей? Конференцию проводит Министерство культуры СССР, ЦК ВЛКСМ и Союз писателей СССР. В конференции принимает участие и наш журнал. Пишите нам. Конференция началась. Слово имеет ленинградская учительница Л. Ковалева.

Л. КОВАЛЕВА



сатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величайшее движение айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».

Писатель может сказать немного, отобразить несколько деталей, несколько сцен — и читатель представит себе все так ясно, как будто он был участником событий.

Мы верим Чехову, читая «Даму с собачкой», даже если в нашем опыте не было ничего похожего.

Таков талант. Он внушает доверие не фотографическим правдоподобием, а художественной правдой — правдой искусства.

Однажды Владимиру Галактионовичу Короленко прислали рукопись. Короленко прочел и сказал автору: «Неправдоподобно».

«Владимир Галактионович! — воскликнула он обижено. — Ну как вы можете это говорить, когда я честным словом вас заверю, что списал с натуры все точно, как было!»

Разговор происходил в гостиной Короленко, под писевшим на стене большим портретом Владимира Галактионовича.

«Посмотрите, — сказала писатель, чуть-чуть усмехаясь одними глазами, — это портрет с натуры. Его писал с меня художник Ярошенко. Правда, неплохой портрет? А теперь на минутку вообразите, что не Ярошенко с меня, а я с Ярошенко написал портрет. Это тоже был бы портрет с натуры. Но, боюсь, он был бы гораздо хуже написан. Как вы полагаете?»

В литературе, разумеется, «сходство» или «несходство» с реальной жизнью выступает не так ясно, как в живописи. Но и здесь читатель может «узнать» и «не узнать», может поверить и не поверить автору.

Казалось бы, фальшь в изображении семейных радостей и неудач должна ощущаться каждым читателем... Но читателя можно определенным образом воспитать. Можно создать в литературе такую традицию изображения семьи, которая, постепенно дезориентируя читателя, приучает его к тому, что семья в книжке и семья в доме — совершенно разные явления.

И, отвыкнув искать в книжке жизненную правду о семье, он перестанет улавливать фальшь. Он как будто «оголохает». Он начнет верить тому, чему НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ.

Рисунки
Э. Заринского.

Что ответить Лизе?

Я получила такое письмо:

«Мне восемнадцать лет. Я не знаю еще, что такое любовь, что такое семья. Я много читаю, но не нахожу в книгах ответов на вопросы, которые меня волнуют, например: может ли девушка первая объясниться в любви? Можно ли выйти замуж после короткого знакомства, или надо долго встречаться с человеком? И как строить семью?»

Пожалуйста, посоветуйте, какие книжки читать, только не Толстого и не Тургенева, это все советую, а у них ничего не найдешь, ведь мы совсем другие, и жизнь у нас другая. В общем, порекомендуйте хорошие книжки о любви, чтобы прочесть — и все стало ясно, только не брошюры, они скучные, а художественные книжки — романы.

Лиза К.»

Я могла бы составить список современных книг, в которых затрагиваются интересные Лизе вопросы, и послать этот список по адресу, указанному на конверте. Но это было бы формальной помощью. Никакой, даже самый подробный список не помог бы ей найти ответы на те вопросы, которые заданы в пись-

ме, ибо литература не поваренная книга, а писатель не повар, создающий рецепты изготовления блюд.

Лизе нужен ответ не на вопрос «что читать», а на вопрос «как читать». Как читать? Чему верить? Чего искать в книжке и как размышлять над ней?

А появив, КАК читать, она уже сама опытит, ЧТО читать.

ПРАВДА И НЕПРАВДА

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда».

Лев ТОЛСТОЙ

Открывая книгу, мы предвкушаем удовольствие, которое она доставит нам. Мы начинаем читать — входим в созданный автором мир. И тут-то начинается сложный контакт с автором, с его героями, контакт, который заставляет нас смеяться и плакать, радоваться и размышлять...

Но если, прочитав несколько страниц, мы не входим в созданный автором мир, если мы НЕ ВЕРИМ в него, всякое общение с автором становится невозможным: semaфор закрыт.

По словам Хемингуэя, «если пи-

«СЕМЬЯ ЕСТЬ! ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»

Есть в репертуаре Аркадия Райкина сатирическая сценка, а которой действует современный бюрократ.

Сущность его отношения к делу и к людям неизменна, по-видимому, со времен Фамусова: «Подлинано — так с плеч долой!»

Модернизирован он в одном: он понял, что надо демонстрировать хотя бы видимость внимательного отношения к людям. И, прощаясь с посетителем, он торопливо кричит вдогонку: «Семья есть! Привет семье!»

На протяжении ряда лет семейная тема во многих романах и повестях занимала примерно то же место, что и в упомянутой сценке. Семейные отношения и конфликты играли побочную, третьестепенную роль.

На это были свои причины.

В сороковых и в первой половине пятидесятых годов в нашей литературе преобладали, условно говоря, «военная повесть» и «производственный роман». Это естественно: даже когда война закончилась, долго еще она не уходила из сознания людей, а следовательно, из литературы. С другой стороны, главной целью общества после победы было восстановление разрушенного войной хозяйства — городов, заводов, колхозов. В соответствии с этой задачей писатели изображали человека главным образом на его рабочем месте, в рабочем коллективе.

Свет прожектора направлялся на инженера в цеху, командира на корабле, врача в больнице, шахтера в шахте. На человека в его ТРУДЕ.

Это интереснейшая сфера. В ней характер выявляется наглядно, резко. И все-таки ограничиваться ею нельзя! И в лучших произведениях наших писателей человек изображен во всех своих связях с жизнью — политических, трудовых, семейных... ведь они неразрывны.

Однако во многих произведениях сороковых годов семейная тема сходит на нет. Если на инженера в цеху направлялся луч прожектора, то у себя дома этот же инженер освещен слабым светом ночничка...

Ну, а в жизни? Какова была реальная роль семьи в жизни человека в послевоенные годы?

Да, многие и многие семьи разрушила война, вырвав мужей, братьев, сыновей, отцов... Но тем сплоченнее должны были становиться оставшиеся в живых! Тем

больше любви и нежности, казалось, должно было приходиться на каждую «уцелевшую душу».

Вот тут-то приходится вспомнить о том трагическом обстоятельстве, из-за которого — в значительной мере — семейная тема глухо звучала в общем оркестре... В сороковые годы, как и во второй половине тридцатых, жизнь семьи далеко не всегда давала основания для оптимистических картин. Об этом говорят подлинные документы эпохи — например, дневник Нины Костериной, опубликованный в журнале «Новый мир» № 12 за 1962 год.

Этот дневник свидетельствует о том, как больно ударили именно по семье оговоры и незаконные аресты. Во многих семьях разрушено было естественное доверие и уважение детей к родителям, естественный союз, в котором все верят и все помогают друг другу.

Вспомните дневник Нины Костериной. Она колеблется: считать ей отца виновным или нет?..

«Арест отца — это такой удар, что у меня несильно горбится спина. До сих пор я держала голову прямо и с честью... А сейчас меня день и ночь давит кошмар: неужели и мой отец враг?»

К чести Нины Костериной, надо сказать: она не поверила в то, что отец — враг. «Нет, не может этого быть, не верю! Это ужасная ошибка!»

Отражены ли в литературе эти сложности, эти колебания семейной почвы? Отражены, но с большим и понятным опозданием. От-

ражены ретроспективно, в произведениях, вышедших после Двадцатого съезда.

Игорь Малютин — герой романа Гранина «После свадьбы» — потерял родителей, и дядя заменил ему умершего отца. У него была семья. Но вот дядя арестован (по наговору), жена отказывается от него, как от врага (было и такое!), мальчик остается без семьи. Жизнь его с этого момента протекает в обезжитии.

В романе Бондарева «Тишина» проблема усложнена: трепичку наносит война, окончательно же ломает семью арест отца. Ни сын, ни дочь не верят, что отец — враг. Но оба бессильны помочь ему.

А вот перед нами Тина Карамыш (роман Галины Николаевой «Битва в пути») и ее отец, Вера Тины в отца не поколебалась даже под натиском страшного обвинения, предъявленного ему. Но друзья Тины, Юрий и Лея, пережившие такую же трагедию, не устояли: они сняли портрет своего отца со стены, хотя в душе не верили в его виновность. Они отказались от отца, пошлан на комиссию со своей совестью (фактически на предательство!) с единственной целью — сохранить общественное положение и служебную репутацию. И сохранили!

Естественно, многое ограничивало возможности правдивого изображения семьи в те времена. Потому что говорить правду о семье значило говорить обо всех глубоких потрясениях, которые испытывали тогда многие семьи. А это было невозможно.

Вот почему семейные отношения в сороковые годы глубоко не исследовались. Лишь в литературе конца пятидесятых — начала шестидесятых годов семье уделяется значительно больше внимания и проблемы, связанные с жизнью семьи, ставятся глубже и правдивее. Появляются «Битва в пути» Николаевой, «После свадьбы» Гранина, «Тишина» Бондарева, «Семейное счастье» Вигдоровой, романы и повести Веры Пановой и другие произведения, в которых семейные отношения становятся предметом серьезного художественного исследования.

ГДЕ ПОСПЕШНОСТЬ ПРОТВОПОКАЗАНА

Подлинный художник — всегда исследователь.

Изображая заинтересовавшее его явление, он озабочен яркостью, точностью своей палитры. Он ставит перед собою во-



прос: «Откуда это явление? В чем его корни, его социальная сущность?»

Выросли дети, родившиеся во время и после войны. Многие из них не видели отцов, погибших на полях сражений. У многих были трудными, очень трудными именно те годы, когда закладывались основы семейных привязанностей.

И вот теперь, в пятидесятые и шестидесятые годы, луч прожектора врывается в семейную сферу.

Писателей тревожат не только вопросы воспитания, но и становление молодой семьи. Ранние и непрочные браки. Недолгая любовь.

...Почему расходятся молодые супруги, которых соединило, казалось бы, большое, горячее чувство?

К сожалению, не все писатели, пишущие о становлении молодой семьи, задают себе вопрос: «Почему?» Иные видят свою задачу в том, чтобы, бегом охарактеризовав явление, немедленно выработать рецепт и вручить его людям: будете поступать так-то и так-то — все будет отлично!

Цитирую:

«Да, сначала нужно провести большую, очень большую, и трудную, и черную работу», — сказала он. — И вместе с тем необходимо в срочном порядке перестраивать человеческое сердце на коммунистический лад».

Слова эти произносит главный герой романа Александра Андреева «Рассудите нас, люди». Как видите, он знает, что нужно делать. Правда, лишь в общем виде. Надо перестраивать сердце, и притом срочно.

А как его перестраивать? И уместна ли тут срочность?

Когда скальпель искусства попадает в руки к людям, может быть, искренне доброжелательным, но лишенным духа исследования, лишенным стремления разобраться в сложности изображаемого ими явления, этот скальпель в лучшем случае ничего не изменит, в худшем — приведет к плачевным результатам.

Ибо тут успешность противопоставлена.

Итак, роман «Рассудите нас, люди».

Заглавие обещает серьезный конфликт: надо обращаться к людям — сам не рассудишь!

Тема — становление молодой семьи.

Генеральская дочь, избалованная родителями, влюбляется в рабочего Алешу. Она рвет со своими же-



нихим, преодолев препятствия, чинимые деспотичной матерью, убегают к Алеше и выходят за него замуж.

Друзья поздравляют Алешу и уступают ему комнату в бараке — «райский уголок», по словам Жени. Добрая комендантша тетя Даша опекает молодоженов и кормит их блинами.

Молодожены в восторге от друзей, от чуткой тети Даши и друг от друга. Они без устали говорят о своем счастье. Жени почти декламирует:

«У меня сердце сжимается от счастья, когда мы садимся за наш стол, когда все у нас есть, все чисто, уютно, и я могу посмотреть на тебя, сколько хочу... Если бы мне запретили видеть тебя хоть неделю, я бы, наверно, умерла. И если бы людям пришлось наказывать нас за что-нибудь, то самое страшное наказание было бы — разлучить нас. Для влюбленных страшнее разлуки ничего нет».

Молодой супруг ей отвечает:

«Однообразен примитивный, лишенный взлетов человек — мешанина в быту, чиновник в своей деятельности: все размерено, рассчитано, никаких отклонений от нормы, все спокойно, а главное, благополучно. Постоянного счастья нет. Есть постоянное благополучие. Счастье не в обладании счастьем, а в достижении счастья, в движении к нему. Мы с тобой, Женечка, в пути».

Успокоив таким образом жену (или читателя?), что испытываемое им счастье не мешанское, герой

продолжает демонстрировать (жене или читателю?) широту своего кругозора.

Он вспоминает в эту лирическую минуту Аристотеля, Кампанеллу, Гомера, Льва Толстого, Анны Карениной, Цюльковского, Эйфштейна и Пушкина. «...Не хватит вечера, чтобы перечислить всех лишь по именам. И вот, когда я остаюсь одиан или когда мне тяжело и горько, я незаметно прокрадываюсь в их общество и тихо слушаю. Они учат мудрости, доброте и жизнелюбию. Нет, не навязчивой назидательностью, а примером своей жизни, своей борьбы...»

Далее герой, бросив прощальный взгляд в сторону правдолюбцев, горевших в свое время на крестах, произносит речь о будущем, коснувшись ставленников, строителей, предстоящих полетов на Венеру, похода дашинки песникам, которые всем недовольны, и завершает речь скромным заявлением:

«— Я настроен на другую волну. Я ненавижу зло, корысть, подальность, завистливость, душевную бедность. Все это я отчетливо вижу. Но все равно жизнь прекрасна, Жени!»

Молодая супруга, восхищенная эрудицией мужа, восклицает:

«— Мечтатель ты мой! Мой настоящий... Только ты способен, находясь в этой торе с единичным окошечком, видеть красоту мироздания и верить, что зло скоро исчезнет. Я согласна с тобой, Алеша: будущее за нами. Но пусть и сегодняшнее будет тоже нашим. Давай жить и наслаждаться сегодня и тем, что у нас есть. Алеша, обними меня крепко-крепко!.. Скорей!..»

Слушая этот любовный дуэт, исполняемый не скрипкой и виолончелью, а фанфарам, читатель вправе спросить: супруги ли говорят друг с другом или автор с читателем? И почему так громко? Кого он убеждает, кого хочет перекричать?

Но взаимного умения супругам хватать ненадолго.

Избалованная Жени не выдерживает «трудности быта». В общении, которое трудными тетя Даша и друзья превращено было в «райский уголок», ей пришлось самой стирать!

И стирка донала ее.

Алеша с тоской думает: как ей помочь? «Как правило, люди ставят подобные задачи, когда решают их уже поздно».

А как легко оказалось решить «подобную задачу»? Всего-навсего купить стиральную машину. И Алеша додумался до этого. Сер-

добрые друзья снабдили его пужливой суммой. И он купил ее! Купил, но с опозданием в один час.

Этот час и стал роковым: Женя уже ушла. Приди он с машиной на час раньше, и не было бы конфликта, печаль было бы тревожить добрых людей, призывая их рассудить...

Но Женя ушла не навсегда.

Она ушла временно, надеясь, что отец уговорит Алешу переехать в ее родительский дом, где спирать будет уже не Женя, а прислуга. И хотя все готовы улаживать Женнины дела — мать, подруги, товарищи Алеши, — она две недели ждет отца. Эта задержка в развитии событий дает автору время отправить отчаявшегося Алешу в Сибирь на ударную стройку. Создается видимость трагической ситуации: «Рассудите нас, люди!»

...Оказывается, проблема номер один в нашем обществе — это «нервный» брак.

Наш рабочий зарабатывает не меньше любого учителя или врача, эрудитный заткнет за пояс ученому Женнину мамашу (вспомните, Аристотеля, Гомера, Кампанеллу, Эйнштейна — его друзья и наставники). В чем же дело? Где почва для конфликта?

Да, серьезного социального конфликта в наши дни на такой почве не придумаешь. Он и не получится. И тогда возникает проблема номер два: тяжелый быт убивает любовь!

И здесь неправда. У молодежи отдельная комната. В общагитки их не только не преследуют, напротив, им все помогают!

Эти нормальные, средние условия для людей, начинающих жить, могли казаться такими тяжелыми только Жене, выросшей в семье, пропитанной мещанским духом, — от верной явни и до мамашин, преподающей не то политэкономия, не то философию и в то же время гонимой за выгодными женихами для дочери...

Вот на что мог быть направлен огонь!

Но автор амнистирует родителей Жени за какие-то заслуги в прошлом, о которых в романе говорится весьма бегло, а огонь направляет против людей, ничем не причастных к фабуле, — на студентостилей, предводительствуемых откровенным подлецом Растворовым.

В романе они сбоку припека, к сюжету пристегнуты насильственно, с первых же страниц откровенно заявляют о своих целях, и поэтому все дальнейшее — не развитие, а нагромождение банальных и

совершенно не идущих к делу подробностей. И огонь из тяжелых орудий, который автор ведет по стилам, не вызван ходом событий романа, не оправдан необходимостью их «разоблачения»...

Женя задумана в основном как положительный персонаж. Ее полюбила все друзья Алеши, она дает бой стилам в конце романа.

Она, видимо, любит Алешу.

И все!...

Многословные, трескучие декларации о труде и о будущем, о любви и о героизме — это ведь еще не характер, это только слова.

Больше всего она жалеет все-таки себя. «Железная койка в общагитки — вот наше гнидышко счастья», — говорит она.

А ведь, в сущности, безразлично, что стоит в гнидышке — железная койка или роскошная деревянная кровать. Не это важно! Важно, что гнидышко — мещанское, замкнутое гнидышко, несмотря на то, что в нем произрастает много прекрасных слов.

Риторика никогда не заменит движения мысли, а мелодраматические эффекты («Женя отпрыгала от меня, дико расшвырив глаза», «Аркадий... прохрипел, оскалась») не компенсируют отсутствия художественной правды.

И людям не за что «судить» молодых супругов — слишком ничтожен их конфликт — и почему учиться у них.



А книгу читают!

Ее читает и похваливает часть молодежи. Она не стоит на полках библиотек, она всегда в руках. Роман инсценирован.

Пьеса идет в театре.

Чем же объяснить успех романа?

Можно сказать, что молодежь жаждет книг и пьес о любви, а их мало, — и это будет правдой.

Можно добавить, что роман привлекает внешней занимательностью, фабульностью, напряженностью действия, — и это тоже правда.

Наконец, построение романа (часть глав написана от лица Жени, часть — от лица Алеши) привлекает читателей внешней (опять внешней!) психологичностью, видностью интимна. Эти главы похожи на дневник, а дневник всегда интересно читать, чей бы это был дневник: он имеет притягательность человеческого документа.

И все-таки, мне кажется, есть еще одно обстоятельство, о кото-

ром стоит поговорить, — утрата тех, которыми читателями художественного критерия.

Что до молодых людей, тут нельзя говорить об утрате: здесь, видимо, этот критерий в ряде случаев просто не выработан. Особенно у тех юношей и девушек — а их немало, — которые в своем литературном образовании прошли МИМО классической литературы — мимо Толстого, Тургенева, Чехова.

Что это за критерий, как его опутить?

КОЕ-ЧТО О КРИТЕРИЯХ

Эти критерии, как мне кажется, возникают у человека, думчиво и осмысленно прочитавшего романы и повести Льва Толстого.

Человек может об этом даже не догадываться. Просто Лев Толстой — это вершина, однажды забереешь на нее — и все видишь другими глазами: становишься мудрее, умнее, тоньше. И требовательнее. Просто душа не принимает после Толстого никакой фальши, никакой поделки!

Разумеется, невозможно требовать от каждого писателя, чтобы он писал, как Толстой. Гений есть гений, а литература жива не только гениями, но и талантами и просто способными людьми...

Но Лев Толстой установил некоторые принципы изображения



жизни, поднявшие на более высокий уровень сразу всю литературу, причем на много лет вперед. После Льва Толстого нельзя писать так, как если бы Толстого не было вовсе. Вот Наташа в «Войне и мире» разговаривает с Пьером:

«Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенною ясностью и быстрой понимая и сообщая мысленно друг друга путем противным всем правилам логики».

«Косноязычие» мужа и жены у Толстого ощущается как художественная находка: они могут употреблять случайные, небрежные слова, они не боятся быть непонятыми! Такова мера их близости.

Кстати, и у Чехова близкие люди разговаривают друг с другом по законам, «противным всем правилам логики».

И многие современные писатели, не подражая классикам, а развивая найденные ими художественные принципы, изображают интимные, семейные взаимоотношения героев в ином ключе, нежели служебные их взаимоотношения. Но можно встретить и такой диалог.

«— Я удивляюсь, Алеша,— говорила Женя, пожимая плечами,— как это близкие люди могут сорваться между собою из-за пустяков. По-моему, лучше совсем не жить вместе, чем сорваться, потому что ссоры незаметно подтачивают любовь».

— Соглашайся:

Я ссоры из-за пустяков, из-за мелочей — это, Женя, удел мечтан. Между мужем и женой могут быть споры на принципиальной и, если хочешь, на идейной основе. Мелкие ссоры оскорбляют достоинство, идейные споры обогащают, даже украшают жизнь, углубляют мысли».

Где мы? На диспуте о любви и дружбе? На комсомольском собрании?

Нет. Это семейный разговор за завтраком.

Вслушайтесь в интонацию, взгляните в построение фразы — ведь это не диалог! Это проповедь, проносимая одним человеком — автором, но разделенная (для занимательности!) на две части: первую часть произносит муж, вторую — жена. Нет ни одного слова, ни одного жеста, свойственного только Алеше или только Жене. Помните места высказывания — ничто не переменится.

А мыслы!

Где те семь восьмых, которые

придают величайшую движению айсберга? Их нет. Все восемь восьмых — на поверхности.

Где те слова, которые опускает Наташа у Толстого, оставляя надежду с мужем, опускает потому, что он все понимает с полуслова, в случайном, необдуманном выражении?

Их нет. Все, что говорит Алеша Жене, он мог бы в ТЕХ ЖЕ ВЫРАЖЕНИЯХ сказать своему профессору.

А раз нет живых людей с их живой манерой, живыми отношениями — значит, нет и художественной правды.

Но кое-что тут есть: есть привычно «правильные» слова. Азбучные истины: ссоры незаметно подтачивают любовь. Или: ссоры из-за пустяков — это удел мечтан.

...И они вводят в заблуждение некоторых читателей, воспитанных на выспренных фразах. Ктонибудь, может быть, подумает: «Какие идейные супруги! Как возвышенно они говорят! А мы с женой говорим совсем иначе...»

И хочется сказать такому читателю: люди за завтраком не говорят «возвышенно». Не верьте! Даже если они говорят об очень важных, очень серьезных проблемах. Они говорят по-иному.

А как?

«УЖЕ СЕЙЧАС, УЖЕ СЕГОДНЯ...»

В городе Подгурске семья недавно убитого фронтовика постигло несчастье: его сына-подростка судили за кражу.

Журналист Поливанов поехал в Подгурск и убедился: это судебная ошибка. Обвинение ложно. Но как убедить в этом общественность? Как добиться пересмотра дела?

Надо написать статью. И он начинает писать ее по горячим следам, только вернувшись из Подгурска. А статья не получается. И тогда к нему приходит его жена, Саша. Она хочет помочь ему.

— Представь себе: ты приехал из Подгурска, а меня нет.

— Где же ты? Я не люблю, когда тебя нет!

— Я уехала на Северный полюс. Или в Ленинград. Или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжай, а меня нет. Что ты делаешь?

— Я сержусь.

— Верно. Ну, а потом?

— Потом я ору на всех подряд, расширяю все, что попадает под руку. Дети плачут, а я проклинаю вселенную и все ее окрестности.

— Все верно. Ну, а потом?

— Потом я пытаюсь дозвониться тебе.

— На Северный полюс? Нет, ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгурске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. «Дорогая Саша, я приехал в Подгурск поздним вечером...» Потом мы вычеркнем «Дорогую Сашу» и «Целую тебя», и остается статья.

— Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк.

— Митя, честное слово, я тебе дело советую... Ведь ты не станешь мне писать... — Она перегнулась через его плечо и прочитала: — В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том, что...

И Митя понимает: да, ей, Саше, он не стал бы писать канцелярские фразы, вроде этой: «В суд поступило дело...» Он нашел бы ДАЖЕ другие слова. Сумел бы передать ей свое волнение, боль за этих людей, острую жалость к ослепшей семье, возмущение несправедливым обвинением... Это был бы язык сердца, а не канцелярского отчета!

И он пишет всю ночь. А утром Саша, прочитав письмо-статью, с волнением говорит:

— Спасибо. Очень хорошее письмо!

(Забегая вперед, скажу: статья замечена, дело пересмотрено, обвинение снято.)

А теперь вернемся к разговору между мужем и женой. Перечитайте его. Вы не чувствуете себя на собрании. Вы слышите интонацию, свойственную близким, очень близким людям. Они говорят тихо, спокойно, с привычным, очевидно, в этой семье юмором, без громких слов, хотя дело, о котором говорят, огромный важности.

В этом ночном разговоре есть конкретная правда человеческих отношений. И есть еще одна правда: статья, которую пишет Поливанов, лишь тогда будет иметь большое ОБЩЕСТВЕННОЕ звучание, если она будет по-настоящему ЛИЧНОЙ, если по сути, по «сверхзадаче», это будет ПИСЬМО К ЖЕНЕ.

Эта сцена представляется мне ключом к роману Ф. Вигдоровой «Семейное счастье». (В отдельном издании вторая часть романа называется «Любимая улица».) Общественное звучание романа обусловлено той сердечной болью, с которой написаны многие сцены, той проникновенной простотой, которая исключает

всякую риторику, пышные фразы и громкие слова.

Герои здесь не разговаривают о своих высоких идеалах и благородных стремлениях. Они просто живут, живут трудно, неустойчиво, но как-то не жалеют при этом себя!

Узнав о смерти своего мужа — летчика, погибшего в Испании в боях за республику, — молоденькая Саша думает, что никогда больше не будет любви, никогда не будет романтики, которой так щедро было украшено ее первое чувство. Она воспитывает дочь и живет воспоминаниями, она не хочет и не может изменить памяти мужа.

Но время идет. Саша молода. Кинооператор Полынов полюбил ее той выпуклой любовью, о которой мечтают многие девушки. Но Саша остается верна памяти Андрея. И только в эвакуации, встретив Полынова, приехавшего после ранения с фронта на несколько дней, Саша понимает, что к ней опять пришла любовь.

Так начинается вторая жизнь Саши — трудная, сложная, с двумя детьми и с Полыновым, контузленным, побывавшим в плену...

— Но почему же роман называется «Семейное счастье»? — спросите вы. — Жизнь трудная, сложная, где же счастье?

А тут оно. В этой трудной жизни. Его невозможно вычленишь, отделить — тут и радость и горе, и приливы и отливы, и страх и ревность...

Многие авторы так строят фабулу произведения, что один из супругов (чаще муж) оказывается победом. Итог — разочарование, победа жены над своим чувством и торжество добродетели. Но жизнь разнообразна, и ситуации она предлагает самые различные. Описанный случай — муж-победитель, — пожалуй, не самый распространенный в жизни. Часто бывает иначе — менее эффектно, но более сложно; каждый из супругов хорош по-своему и плох по-своему. И жить вместе трудно не только и не столько из-за внешних, материальных трудностей (хотя эти трудности легче поддаются

изображению), а из-за трудностей психологических.

Оказывается, помимо любви, которая — общая, у каждого есть что-то «свое»: свой характер, своя мера терпимости, свой «порог боли». И если все это не совпадает, то жить трудно, хотя любовь от этого вовсе не исчезает и даже не слабеет.

Это внутреннее, психологическое действие делает роман правдивым и проблемным.

Полыновы не мечтают вслух. Не решают для себя вслух в выпавших фразах моральные проблемы. Но когда приходит горький час и Саша стоит перед дилеммой: заступиться за невинно оклеветанного друга, врача Королева, или промолчать, — она так размышляет о последствиях своего поступка:

«... Думай не думай, тут выбора нет... И будет ночь. В дверь позвонят и войдут двое военных, тех самых, что она видела у Королева. Андрей проснется, сидит на кровати, взглянет с ужасом... И Катя будет деляться за твое плечо, ничего не понимая...»

С жуткой отчетливостью представил себе, что ждет ее и детей, если она выступит на собрании, она все-таки встает и говорит:

— Он не виноват. Я работала с ним и видела, как он с больными, как он с людьми... Я знаю: он ни в чем не виноват.

На подлость нельзя идти даже ради детей. Именно из-за детей! Семейное тепло не должно обстрелять только свое гнездышко — таково убеждение Саши. Оно должно выноситься из дома и распространяться на людей — на конкретных, живых людей, которые с нею нуждаются. Так в доме Полыновых находят себе приют чужой ребенок — сын арестованного друга, доктора Королева. И это не случайно, это жизненная программа в действии: нет чужих!

Тепла сердца хватит, должно хватить на всех, если сказать себе: нет чужих!

Мне кажется, нечто подобное утверждается и в пьесе А. Володина «Назначение». Каждый отдель-

ный человек нужен, неповторим, какое бы служебное кресло он ни занимал, и должен быть не только полезен, но и счастлив — не когда-нибудь, в сияющем завтра — уже сегодня, сейчас! Герой пьесы хочет перенести в официальную сферу, в служебные отношения личное, интимное, человечески теплое.

— Мы треть своей жизни проводим вместе, — говорит он сослуживцам, — у нас должны быть не менее близкие отношения, чем с нашими женами, родителями...

Я привожу в качестве примера роман Вигдоровой, пьесу Володина не потому, что считаю эти вещи абсолютными шедеврами. В них тоже есть недостатки, о которых можно было бы поговорить и поспорить. Но это не входит в мою задачу. Просто я ищу наиболее плодотворную тенденцию в постановке семейной темы современными авторами. И мне кажется, что именно в произведениях подобного типа заложена мысль, отвечающая духу времени. Есть в них правда человеческих отношений, не упрощенная, но схематизированная правда. И появляется доверие к авторам. Невольно задумаешься над теми проблемами, над которыми ломают голову их герои...

Возвращаясь к письму Азизы, хочу заметить: видимо, тезис «литература — учебник жизни» она толкует несколько прямолинейно, упрощенно. Вот прочтано рекомендованный роман — и сразу постигну, как надо вести себя в тонких любовных делах... Только бы найти такую специальную книжку, вроде учебника: прочел — и все стало ясно!

А такой специальной книжки нет. Нет ее! Есть литература, большая, разнообразная. И единственный способ помочь себе в сложных жизненных перипетиях — это научиться из многих и многих книг выбирать такие, в которых есть жизненная правда. А это зависит от нас, читателей, от того, насколько мы сумели воспитать в себе литературный вкус, умение отличать правду от фальши, умение размышлять над прочитанным.



М и х а и л Б е л я е в

21

Поднял тебя..
Тепло
Качнуло нас травой.
Везде светло, светло,
И плеск,
И зноя,
И зной.

И близок
Полдня час.

Но снятся травам сны.
И льется солнце в нас,
И льется в солнце мы.

И все —
Лучей порыв!
Мы падаем в траву,
Березы уронив,
Как песла,
В синеву...

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

У кого училась звонам,
У кого училась петь
В нашем крае просвещенном
Разговорчивая медь?

Мне казалось:
Утром рано
Сыпал звон,
Тревожа сон,
Возле школы деревянной
Краснолистый
Рослый клен.

Нет, я вовсе не был соней!
Он, увидевши меня,

Красноватые ладони
Подával из-за плетня.

Позабить ли эти встречи!
Где ты, первый мой звонок,
Что когда-то с теплой печи
На урок меня завлек?

И пускай я стал серьезней!
Бьется, словно огонек,
Для меня в дали колхозной
Школьный
Маленький звонок.

✱

Дали обрываются за домом.
Накрепко привязан горизонт
К крыше с перепелою соломою,
К столбикам
Расшатанных ворот.

Прадеды!
Не спится, не сидится,
В высоту расту и в ширину.

Я ударюсь в горизонт, как птица,
Отшатну его
И распахну.

Вы не хмурьте выцветшие брови,
Что уйду,
Под солнцем закружу,
Я на ваше древнее гнездовье
Связки теплых радуг положу.

✱

Будто гений,
Щедрый и великий,
Дарит лес опушкам синеву.
Лаковые солнечные блики
Сыплются сквозь душную листву.

Отшатнул орешника побег —
Засветились яркой желтизной
Крупные латунные орехи,
Теплые,
Как августовский зной.

Древняя прозрачная забава!
Позабыл о книгах и делах.

И за мной в кусты влезают травы,
Сильные,
В коричневых узлах.

Разгибаю ветки, словно луки.
Бьюсь в кустах, как шальная пчела.
От листвы позеленели руки,
По одежде прозелень пошла.

На траву,
Усталый, загорелый,
Упаду в зеленой тишине.
С дерева
Орехом переспелым
Солнце тихо скатится ко мне...



Антал ГИДАШ



Как я люблю вас, ребята!

I

Не заставшие фотографии — быстрые кадры панорамного кино встают у меня перед глазами, когда я вспоминаю о нем.

Живые Фадеевы проходят рядом, идут навстречу, машут друг другу — и мне тоже.

Вот он, стройный, на диво сложенный, в черной кавказской рубашке с высоким воротом и с таким множеством пуговиц, что кажется, их вдвое больше, чем на самом деле.

А вот — в превосходно сшитом костюме. Галстук завязан тщательно, мягкая фетровая шляпа на голове. Статный, элегантный, спортивный — настоящий государственный деятель XX века.

И опять — в парусиновых сапогах, с полевой сумкой на боку, а в ней в полном беспорядке документы, рукописи, деньги.

Сидит за письменным столом. Ворот сорочки расстегнут. Работает. Пишет на обороте старой рукописи: незачем тратить чистую бумагу, пока все еще не дописалось до конца. Написал три строчки. Смотрит. Недоволен. Две зачеркивает. Потом зачеркивает и третью. Опять пишет. Готово. Нет! Переставляет слова. Снова черкает. Оставляет только полстроки.

Но тут уже само перо избутовалось — заполняет страницу за страницей. Потом, удовлетворенное, ложится рядом с бумагой. Отдыхает.

Таежный Вахх сидит передо мной — песни поет, стихи читает, чокается и говорит: «Ребята, если бы вы только знали, как я вас люблю!»

В тускло-голубой пижаме, но такой же стройный и гордый в каждом своем движении, идет он навстречу по коридору больницы. Уже издали

протягивает обе руки, удивленно кивает, вскидывает голову, будто и не к нему пришел, а он сам пришел навещать, и спрашивает с укором: «Как же ты заболел? Что же это такое!»

И все больше и больше Фадеевых я вижу.

Неподвижно сидит в президиуме многолюдного собрания. Слушает. Чувствует зал — всех вместе и каждого порознь. Ведь для большинства здесь он не Фадеев, а Саша. Наклоняется. Пишет. Поднимает глаза и слушает того Фадеева, что говорит с трибуны высоким глуховатым голосом, в рождении которого участвуют, очевидно, не только легкие, голосовые связки, но и все тело высокого напряжения. Но вдруг он вскидывает обе руки и приглаживает серебряные волосы. Так они не под стать всей его фигуре, движениям — и все-таки слились уже со всем его обликом. Лицо строгое. Жесткие мышцы у твердых скул — окаменелости от бессонных ночей. Почувствовал чей-то взгляд. Смущается и, чтобы скрыть смущение, в ответ поднимает едва заметно. Пыгается смягчить выражение лица, стереть следы беспокойной ночи.

Изменчивы и глаза — то голубые водовороты, то безразлично серые заводи, — смотрят равнодушно, будто впервые видят того, с кем только вчера встречались. Но вот зрачки сужаются, как у хищной птицы, за километры завидевшей врага. Впереди сражение, и он рвется в бой. Другого выхода нет. И эти же глаза смотрят с таким сочувствием, с такой мальчишеской нежностью, преданностью и непрерываемой любовью...

Идут воспоминания. Фадеевы проходят передо мной.

...Смущенная улыбка. Так улыбается молодой отец, которому впервые дали в руки поворожденного и он не знает, что с ним делать.

Лежит в лесу, закинув руки за голову. И весь лес ему принадлежит. До самых плит вдыхает медвяный воздух. И только шум вершин наводит на грусть.

С ВЕНТЕРСКОГО

Но вдруг удивленно вскидывает голову: другой-то Фадеев смеется, да так, будто все веселье мира вселилось в него и взрывается теперь с реактивной силой.

Взрывчатый смех обрывается. Вопросы затеснились в голову.

Решительным шагом идет он по улице, по коридору, через зал. Руки, точно лапы тазового тигра, двигаются от самых плеч.

Но вот они становятся неуверенными. Не знают, как подняться, как приласкать того, кому слишком много мук досталось в трудные времена. И вдруг вижу: Фадеев уже издали убыстряет шаг — спешит обнять того же человека, когда ему выпало счастье, признание, удача, — шумно выражает свою радость.

И снова лес, и снова сомнения, и снова письменный стол.

Подвижные, живые воспоминания кружатся передо мной.

Фадеевы — за тридцать лет.

II

Впервые мы встретились с ним, если не ошибаюсь, весной 1926 года в большом зале того «кружевного» особняка на Воздвиженке, где собрались пролетарские писатели не то на пленум, не то на съезд.

Двадцать шесть лет было мне тогда. Ему на два года меньше. И все-таки я сразу же всякой обиды признал, что он взрослей, а потом, когда подружились (не говоря уже о трудных делах), мне так и казалось, что он мой старший брат. На это у меня были все основания.

Природа, правда, выкормила нас из различных матерей, время дало нам разное воспитание, и данности мы по жизненному пути с разных точек земаля.

Он — с восточной окраины мировой державы, накаленной долгими революционными движениями и революциями. А я набрался ума и стал человеком после недолгих месяцев венгерской пролетарской диктатуры, во времена белого террора; стал комсомольцем и подпольщиком в такой стране, где у рабочего класса и беднейшего крестьянства не было революционной партии до 1918 года.

Как ни жестки были для моих босых детских ступней булыжники окраины, однако вырос я все-таки в столице на берегу Дуная. Вместо тайги — будайский лес. Вместо Тихого океана — пруд Городского парка.

И все-таки с первой же встречи мы принались друг другу по душе.

И не только потому, что и он и я были тогда уже несколько лет членами всемирной партии пролетарской революции и оба мечтали создать такую великую литературу, какой еще из было на свете... пролетарскую литературу... Нет, еще не поговорив даже толком, мы, можно сказать, «по запаху» почуяли друг в друге ту общую боль, общие страдания, что были в прошлом уделом людей нашей породы.

Ведь и русскому и венгерскому народам, да и народу любой страны, не доставало ровно столько, сколько отбирали у него привилегированные классы.

III

Тогда я не читал еще по-русски, но уже слышал о «Разгроме» Фадеева — романе, который с полным правом был признан крупной победой пролетарской литературы.

Он тоже слышал о написанной еще «там», на «зем-

ле контрреволюции», моей первой книге стихов. Если и ни о чем другом, то об одном она свидетельствовала несомненно: что с венгерской пролетарской революцией не удалось расправиться навсегда.

Мы встречались все чаще.

Дом Герцена. На втором этаже — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. Две комнаты, а может, и три.

Редакция журнала «Октябрь». Одна комната, а может, и две.

Из окон виден сад и Тверской бульвар, где то и дело дребезжа проходит трамвай «А», или, как его ласково окрестили, «Аннушка». Садом идет Фадеев. Никогда не видел я такой красивой походки.

Винзу в доме Герцена — ресторан. Обед из трех блюд — пятьдесят пять копеек. Первое и второе блюдо по выбору. На третье непременно кисель. Между гудящими столиками (писатели и здесь не прекращали свои споры) мылко и бесшумно прохаживается «метростроитель» с черной охладистой бородой и с внешностью профессора медицины. Он знаком со всеми. И уже по одному его приветствию можно угадать, кто из посетителей ресторана обогатил пролетарскую литературу новой достойной книгой.

...Международная конференция пролетарских и революционных писателей... Зал заседаний Народного комиссариата просвещения. Председатель — Дунайский — в отличном спитом костюме, который, однако, мешковато сидит на его крупном, мздажяе фигуре. Секретарь — Бела Илаеш — гордо ходит в русских сапогах. Мы с Фадеевым стоим в коридоре. Другой он здоровается с кем-то и — я вижу это впервые — низко кланяется. Мимо нас проходит пожилая женщина в мальчишковых бантах: член коллегии Наркомата просвещения, вдова Ленина — Крупская.

...Русские и иностранные революционные писатели спрашивают десятую годовщину Октября на квартире у Серафимовича. Рядом с хозяйным дома сидит молодой, совсем молодой человек. Весь вечер молчит. Говорят только его очень синие глаза. Серафимович представляет его гостям:

— Мой земляк. Скоро выйдет его роман «Тихий Дон».

Раздается привычное для таких случаев «ура», и писатели мгновенно переходят к другому предмету.

...Мы еще совсем молоды. Мигом затеваем борьбу. Фадеев схватывается со мной. У меня уже пот струится с лица. А у него лицо сухое, только совсем красное. И вот я на полу. Фадеев надо мной. Я чувствую его жаркое дыхание. И раздается знакомое: «Ха-ха-ха!» Победа. Но ему мало этого. Зрачки сужаются. Уже не в силах сдержать себя, он вцепляется мне в волосы и несколько раз стучает мою голову об пол. «Чтобы не забыла, кто — кого, когда рассказывать будешь», — говорит он, смеясь.

Я смотрю на него. Это еще что такое?

Он приходит в себя. Помогает мне подняться. Целует, гладит по голове, а другой рукой счищает пыль с моего костюма, да так сосредоточенно, будто именно эту задачу и поручили ему к десятилетию Октября Союз пролетарских писателей, Землячество приамурских партизан и Международное бюро революционных писателей.

Выражение лица серьезное, робкое и вместе с тем сердитое. Словно это не он, Фадеев, а кто-то другой виноват, что обидели товарища, друга и гостя.

...Год спустя, в декабре 1928 года, мы поехали в Малеевку, в первый открывшийся Дом творчества.

Сошли с поезда в Дорохово. У станции стояли извозчики с санями. Начался торг. Извозчик запросил

пятьерку. «Грешку», — ответил Фадеев. И наконец разницу между трехкой и пятьеркой поделили пополам: согласились на четырех рублях.

Залезли в сани, устроились на сене. Извозчик накрыл нас тулупом, а мы для верности завязали ушанки под подбородки. И лошадки тронулись. Дорожкою осталось позади.

Ехали полулежа на развалинях. Согрелись под тулупом. Мимо нас медленно шагали заспанные снегом сосны. Задние ноги лошадки взметали снежную пыль, то и дело бросали ее нам в лицо. Морозный воздух был так чудесен, что его и выдохнуть-то было жаль. Вот только знали, что иначе не вдохнешь опять.

До Малеевки километров четырнадцать. Уже стемнело. Вот и Старая Руза. Трактир.

— Хлопнем по сто граммов!! — спросил, вернее, объявил Фадеев, пригласив извозчика, причем, как мне показалось, даже любезнее, чем меня. Улыбнулся ему, будто говори: «Мы-то с тобой знаем в этом толк».

«Хлопнули» и поехали дальше по деревянному мосту над замерзшей Москвой-рекой. Извозчик что-то напевал, а Фадеев, будто качаясь в колыбельке, счастливый, слушал его.

Осталось еще километра два. Свернули направо. Снежная равнина сверкала вечерней синевой.

— Не уеду отсюда, пока не кончу... — сказал Фадеев.

Подковы лошадки застучали по мостику, перекинутому через речушку. Доехали. В тулупе, в валенках и с фонарем в руке на террасе стоял Серафимович.

Дом творчества — старый лаверовский домик — был на пять или шесть комнат. Метрах в пятидесяти от него стояла бревенчатая банька.

Воду на кухню мы сами таскали ведрами из речушки. Брали с собой колуи, прорубали окошко в речке, которая каждую ночь туго пахлаивалась, стараясь защититься от стужи. И дрова колола сами. Фадеев с таким восторгом размахивал топором, будто топором затем и приехал сюда, чтобы наколоть несколько саженей дров. После каждого удара слышался могучий выдох: «Кх!»

— Так оно легче и здоровей! — объяснял Фадеев. Впрочем, все мы развивали бурную хозяйственную деятельность, кроме Серафимовича. Он уже стар. Его надо беречь.

Ему было тогда столько же лет, сколько мне сейчас. Но признаюсь, что я готов немилосердно побить каждого, кто сейчас из милосердия не позволял бы мне спускать ведро в прорубь, тащить ледяную воду, колоть дрова, разгружать сани с продовольствием, носить сахар, муку и картофель в тот давно уже исчезнувший малосенский Дом творчества в Малеевке.

IV

Под вечер в субботу — баня. Фадеев шайками набирал воду из чана и раз за разом окатывал раскаленную печь. Вода шипела. Печь окутывалась горячим воздухом. Фадеев снова подавал пару. Потом залез на полок, взял березовый веник и с восторгом и остервенением начал себя стегать.

— Анатолий, забирайся и ты, бери веник! — крикнул он мне.

Я попробовал. Не понравился. А Фадеев, кивнув на меня презрительно-удушенный взгляд, ринулся к дверям, распахнул их, голый бросился в снег, побарахтался, потом с веселым ревом примчался обрат-



А. А. Фадеев в Сучанской долине. Приморье, 1933 год.

но. Новые шайки воды на раскаленную печь... Шипение. Пар. Чистое полотенце. Чистое белье.

На другой день — воскресенье. Встали чуть позже. Потом пошло все своим чередом, как и в будние дни.

V

Фадеев писал «Последний из удег». Работал обычно вечерами. А может, это мне так кажется сейчас, потому что стояли тогда хмурые декабрьские дни — небеса были тяжелые, нависшие, тучи в километр толщиной, в три часа уже совсем темно, да и весь день в комнатах горели керосиновые лампы. Потому, может, и осталось у меня в памяти, что Фадеев работал при желтом свете.

Я постучался к нему. Остановился в дверях. Да? Нет? Он откинул голову, подмигнул:

— Гулять? Гм...

Поклебавшись мгновение, он аккуратно положила длинную ручку (вечных ручек той поры еще ни у кого из нас не было) и сказал, засмеявшись:

— Что ж, если прогулка мешает работе, бросай работу. Верно? — Надел пальто, шапку. И показалось мне, что в пальто он еще выше и стройнее.

В эти часы мы гуляли обычно вокруг дома, где окна светились тишим синим керосиновых ламп.

Никогда ни звука не говорил он о том, что написал в тот день, удалось ли, сколько осталось, разве что бросит ненадолго:

— Чертовски трудное дело — писать!

Гуляли, разговаривали, он поправлял меня, когда я что-нибудь не так говорил по-русски. И щетно благодарил я его за это. Он каждый раз спрашивал:

— Ты не сердись, что я тебя поправляю?

Так шагали мы обычно, пока не выходил «директор» Дома творчества и не начинал колотить железкой о кусок рельса, висевший на террасе. Ужия.

Случалось, что Фадеев хоть и выходил гулять, но слушал рассейно: «Да-да», «Да-да» — вот и все ответ. Потом, буркнув «Прости, пожалуйста», оставлял меня на подорожье и поспешно направлялся к дому. Немного погодя загоралось желтым светом еще одно окно. Окно Фадеева.

Я продолжал кружить вокруг дома, а он работал. Даже к ужину не выходил. «Оставьте на столе», —

говорила он. «Останется». «Ничего», — отвечал Фадеев и нежно закрывал дверь перед самым носом «директора».

Писать для него было всегда борьбой. А характер его не выносил поражений. Однако презирал он и легкую победу — и в жизни и в творчестве. Он хотел бороться, сражаться и непременно побеждать.

Я думаю, что не раз с громким «ха-ха-ха» стукал он сопротивлявшиеся слова головой о бумагу, пока они наконец не сдавались.

В том же году 31 декабря в комнате у Бела Иллеша (ни у кого из нас не было тогда больше одной комнаты) на втором этаже одного из домов Старосадского переулка собралась компания. Человек десять. Пришла и четырнадцатилетняя дочь Бела Куна — Агнеш, с которой Фадеев был уже знаком. (Два года назад подарил он ей на школьном вечере свою книгу, надписав: «На добрую память».)

С песнями, стихами и шутками встречались наступающий Новый год. После полуночи я прочел написанное накануне стихотворение «Берберы» из цикла «Колонии кричат». В нем смешались три разных мотива: колониальное угнетение, фашистский террор в Венгрии и — любовь.

Никогда не забуду, с каким напряженным вниманием слушал Фадеев стихотворение на незнакомом ему языке. Думаю, что угадал он прежде всего третий мотив. Ибо то и дело поглядывал на сидевшую в комнате девочку, которая слушала стихотворение с напускным равнодушием. Потом смотрел на меня. И снова на девочку-поионерку.

Позднее, когда после нелегких годов жизнь свела нас опять вместе, мы частенько вспоминали втроем ту ночь и стихотворение «Берберы», в котором я спрашивал:

О море, почему не бьешься ты,
Не майшься и, выйдя из себя,
Огнем не зажигаешься?

VI

В сентябре 1934 года, после I съезда писателей, Фадеев, Павленко, Фраерман и я поехали от редакции «Правды» на Дальний Восток.

Жил я тогда в левом фангеле дома Герцена, в крохотной, но очень славной квартирке с окнами в сад. В том же фангеле жили Луговской, Павленко, Пастернак, Уткин и Иван Катаев.

Фадеев забегал почти каждый день. К Луговскому являлся обычно вечерами, нередко ночевал у него, потом шел к Павленко. К нам чаще всего заходил днем и обедал у нас. И все уговаривал меня: поедem на Дальний Восток.

Агнеш очень не хотелось этого. И она была права.

Скверно мне было в том году. Нервы взяли власть надо мной, мучила бессонница, навещали кошмары и никак не хотели уходить. Словом, тяжело было по многим причинам. К тому же и стихами своими я был недоволен, роман, который начал писать еще в 1929 году («Господин Фицке»), никак не давался с места... будто чернила окаменели.

Мне и самому-то было тревожно уезжать. А Фадеев, может, потому, что и он попал в трудный период жизни, решил войти в компанию со мной, рассуждая, очевидно, математически: минус на минус дает плюс; горе на горе — веселье. А прочем, он, может быть, просто хотел помочь мне, хотя и тактично делал вид, что ничего не знает о моих незго-

дах, о которых я, разумеется, молчал. Но, может, просто вбил себе в голову, что увезет меня с собой, и не хотел отступать от своего намерения.

Цельми днями толкавал он о том, что лучшее спасение от нервов — «ощутительная перемена места». Что и говорить, поездка во Владивосток, за десять тысяч километров, была действительно «ощутительной переменой».

И в конце концов уговорил меня.

Немедленно сел за мой письменный стол и написал письмо редактору «Правды» о том, что и я готов поехать с бригадой. (Характерно для творческой эзиковости Фадеева, которая по инерции действовала уже всегда: он трижды переписал письмо, прежде чем запечатал в конверт. Но видно было, что ему еще хотелось бы «поработать» над ним, хотя и все письмо-то было в пять строк.)

Когда билеты были уже на руках, я снова запрямился, узнав, что с нами, четырьмя мужчинами, едет какая-то женщина из редакции «Пионерской правды». Мне это не понравилось. Я сказал, что женщина может нарушить всю жизнь бригады. И только после того, как мне объяснили, что речь идет о молодой женщине и старой партийке, я успокоился и согласился поехать.

В начале сентября мы сели в поезд. Когда вагоны уже тронулись, Фадеев, стоя на ступеньках, громко крикнул моей жене, которая с грустью и тревогой смотрела нам вслед:

— Не бойся, Агнеш! Я буду беречь Анатолий!

VII

Мы ехали в двухместных купе. Павленко вместе с оченч тихим Фраерманом, Фадеев со мной.

— Занимай нижнюю полку, я и на верхней хорошо сплю, — распоряжался Фадеев. — Пообещал же я Агнеш беречь тебя, но, — и он подмигнул, — ты тоже береги меня... Предупреди, если... Не пускаяй...

На третью ночь поезд подъезжал к Свердловску. Фадеев спал. А я никак заснуть не мог. Все неспокой казался мне перестук колес.

Я осторожно оделся, сложил вещи в чемодан и решил: в Свердловске сойду и поеду домой. Довольно! Но вдруг — тут-то и оказалась партизанская интуиция — Фадеев проснулся. Глянул вниз. Увидел, что я одет.

— Ты что? — крикнул он сверху.

— Саша... Домой поеду...

— Никада не поедешь! — закричал он опять и повернулся на другой бок, чтобы снова заснуть. Но вдруг спустил ноги и соскочил вниз. Появля, видно, что силой тут не возьмешь, разве только вызовешь еще большее сопротивление. — Анатолий, милый, не дуй!.. Поверь, что все будет отлично.

— Отлично?..

— Ну, конечно.

Он видел, что я все еще колеблюсь.

— Ложись, — сказал он тихо и неловко поглядывая на лицо. — Я сяду около тебя и буду рассказывать... Да ну же...

Он укрывал меня. Сначала, смеясь, рассказывал о том, какие громадные уши были у него в детстве, вернее сказать, такие же были, как сейчас, только что лицо было худее. Потом он посерьезнел. Голос его прерывался. Он заговорил о том, что окончательно не развелся с женой... Бог его знает, как все это получается... Подростком он был влюблен в одну девушку. Четыре года подряд, не скрывая это... Никто,

даже сама девушка не знала... Первая любовь... Юность... Владивостокские улицы...

— Какое счастье, если люди смолоду найдут друг друга,— воскликнул он с отчаянием,— и останутся вместе на всю жизнь!.. Сначала дружба, потом любовь, страсть... И все чисто, чисто!.. Ведь позднее уже иначе, совсем иначе...

И опять владивостокские улицы... Юность... Первая любовь... Если бы она осуществилась!

Он говорил все тише и тише и уже больше самому себе, чем мне.

Одна синенькая лампочка горела в купе.

Когда я заснул, поезд нас мчал уже к Омску.

VIII

Видно, плохо я его берег, потому что на четвертые сутки Фадеев вернулся в купе уже к рассвету. Тихонько разделся. Решил, должно быть, что я сплю. Рывком закинул себя на верхнюю полку.

Утром проснулся поздно.

Я думал: начнет оправдываться. И ошибся. Ему было безразлично, спал я или нет, знаю ли, когда он вернулся... Он был рассеян и молчалив. Положил перед собой книгу. Не читал, а только глазами водил по строчкам. Когда я заговаривал с ним, отвечал отрывисто: «Да», «Нет», — или вовсе молчал.

Но за обедом, в вагон-ресторане, его будто подменили. Он взял в руки меню, в которое обычно и не заглядывал, озорно заказывая каждый день одно и то же: «Бифштекс с лучком по-деревенски. Лучку побольше». Теперь, изображая великую заинтересованность, он внимательно изучал «репертуар» и громко, словно стихи, продекламировал от начала до конца названия всех блюд и напитков, еще громче называя цены.

Играл. А может быть, преодолевал свое смущение. Видно, не был уверен во мне: вдруг я коммунибуду рассказал о ночном происшествии. Но может быть, попросту хотел скрыть свое дурное расположение.

После обеда Павленко с Фраерманом ушли спать в купе. Мы остались вдвоем.

Вагон-ресторан покачивался. Сидевшие в нем тоже качались из стороны в сторону — всегда отставая от вагона на одну восьмую такта. Вагон, казалось, выражал свою укоризну: «Эх-эх-эх...»

Попачула Фадеев рассказывал об удэйейцах. Но не в связи с романом. Просто говорил о дальневосточном племени. Всего-то их полторы тысячи человек. Живут они вдоль рек Хор и Хунгари. Только после революции приучили их к оседлости, открыли для них школы, создали письменность. Пусть учатся на своем языке.

— Их язык тебе легче было бы выучить, чем русский,— лукаво заметил Фадеев.— Ударение почти всегда на первом слове, как и у нас.

Рассказывал. Подружился он с удэйейцами еще в партизанскую пору. Полобид этих бесконечно преданных, искренних, честных людей. «Капитализму не удалось их еще испортить».

— Один скачок, и от кочевой образа жизни они перейдут к социализму... Словом, пишу роман... И вернусь в Москву только с готовым романом...

Мы, люди близкие ему, знали, что с «Последним из удэге» у него что-то не ладится: много лет бьется он с этой книгой, упрямо стараясь держать ее первоначального замысла. Но живые силы романа не желали подчиниться ему, перестать сказать, художник-



А. А. Фадеев. 1926 год.

реалист Фадеев не мог насловать действительность, не мог следовать не совпадавшей с действительностью, отвлеченной идее, чувству, очевидно, всю пагубность этого для искусства.

Роман шел своим естественным путем. А Фадеев упорствовал, хотел победить непобедимое.

Вагон все раскачивался с укоризненным «эх-эх-эх», а Фадеев все рассказывал. Но уже не про удэйейцев, а про свою юность, про «самое прекрасное». Теперь я уже знаю: не для того он рассказывал, чтобы пожаловаться: «уходят годы». «Может ли жалеть река,— сказал он как-то,— что воды ее утекают в море? Иначе ведь она не была бы рекой». Он — это я полая позднее — жалел о том, что могло бы свершиться, было бы прекрасно и не свершилось.

IX

Сидели. Выпивали. А он все рассказывал...

Шестнадцать лет вступил он в партию большевиков.

— Нас, — рассказывал он, — называли «владивостокскими соколятами». Мы готовы были жизнь отдать друг за друга.

Семнадцать лет он уже партизанил. Был тяжело ранен. Спасен друзьями.

Х съезд партии. В Москву приехали делегаты Дальневосточного края. И Фадеев вместе с ними — самый молодой делегат съезда. Девятнадцать лет было ему.

— Саша, а ты не смущался, не чувствовал себя мальчишкой среди делегатов?

— Нет. Я чувствовал себя опытным парторботником.

И вдруг задумался.

— Однажды я и вправду смутился. Ленин про-
шел совсем рядом. И я укладкой коснулся его
пиджака. А через три года Ленина уже не было.

Он хотел еще что-то добавить, но, видно, раздумал.
Потом возбужденно заговорил:

— Понимаешь, шел съезд... И вдруг весты: мя-
теж в Крошштадте. Делегатов мобилизовали. Пони-
мишь?

Он спросил так, будто и я была на съезде и меня
тоже мобилизовали. И все говорил, говорил. Я при-
слушивалась к чеканному, отглаженному построению рас-
сказа. Казалось, Фадеев излагает готовый сценарий
или роман. События мелькали перед глазами, оста-
навливались на мгновение, потом ускользали, как и
проплывавшие мимо окон переменчивые сибирские
леса, поля, реки и на минуту выскакивавшие, по-
том вновь исчезающие деревни.

...По льду Финского залива ползет Фадеев в белом
халате. Вдали маячит крошштадтская крепость. Ра-
нен. Петроград, 1921 год. Больничная палата.

— Очень странной казалась жизнь после трех лет
гражданской войны... Кругом разруха, люди оборва-
ны... Новая экономическая политика... Задачи все но-
вые, неизвестные, сложные... Понимай?

И он залпом осушил рюмку.

— Привыкали с трудом... Даже люди с полетом и
то как-то растерялись, а что уж говорить о комму-
нистах консервативного склада... Нет, ты не смей-
ся. Они ведь как привыкнут к чему-нибудь, никак
не переключаются на новое, пусть даже это новое
прет из всех щелей... Нет того, чтоб разобраться, что
к чему, так сказать, с помощью марксизма. Нет, они,
наоборот, и действительность норовят изнасиловать:
пусть, мол, ведет себя так, как они задумали. Да,
много чего было... И оправданного и неоправданно-
го... Как всегда. Верно?

Я молчала. Фадеев продолжал свой рассказ:

— Несколько месяцев провалялся я в госпитале.
Никогда в жизни столько не читал. Тут тебе и
утопические социалисты, и Ленин, и Милтон, и Блок...
Чего-чего только не прочел...

Он замолк. Посмотрел на меня. Лицо смягчилось.

— Врач был добрый, как и вообще врачи. Сестра
была красивой, как и вообще сестры... И деревья в
саду были прекрасные... Все смотрел я на них из па-
латы... Ведь они были совсем другие, чем у нас, на
Дальнем Востоке... Здесь они распускаются за не-
сколько дней, нетерпеливые, безудержные, оглануть-
ся не успеешь, а уже все в цвету... Хороши были и
прогулки по вечерам. И Нева была хороша. И Лет-
ний сад... Короче говоря, я влюбился.

— Саша! Да ведь это же готовый роман. Вот его
и напиши сейчас.

Он резко откинулся на стуле. Зрачки сузились.

— Сначала я закончу «Удэг»... И вдруг, повысив
голос, спросил взволнованно: — Ты знаешь, что та-
кое коса?

— Знаю. По-неггерски тоже коса.

И я показал, как косят.

— Вот и не знаешь. По-русски есть еще два зна-
чения: девичья коса и узкий мыс полуострова. Но
теперь я не про девичьи косы...

Он приблизил ко мне лицо.

— Слушай! Сидит медведь на косе. Понял? Лопу
сует в паду... Рыбу ловят. Впереди вода, позади го-
да. Поймал рыбу — и за спину бросил. Есть! Еще
одну поймал. Есть! Опять бросил за спину. Третью,
четвертую... Выловил десяток и думает: «Вот когда
полакомлюсь». Повернулся, а рыбы-то и нет. Вся
в воду побросал... А-а-а!

И Фадеев взревел с такой болью, что не только
посетители ресторана повернулись к нам, но даже
повар высушил голову в белом кошаке. Что такое?
Что случилось?

На другой день опять принял обедать. Фадеев уже
и не глядит на карточку — прямо заказывает:

— Бифштекс с лучком по-деревенски. Лучку по-
больше.

Когда же Павленко с Фраерманом пошли спать в
купе, Фадеев попросил водки. Час спустя глаза его
уже горели голубовато-белым накатом.

— Знаешь, что такое коса? — спросил он, пригну-
вшись ко мне.

— Знаю. Ты же объяснял вчера.

— Ничего ты не знаешь... Сидит медведь на
косе...

И пошло то же, что и вчера, закончившись таким
же отчаянным ревом. Потом он повернул к себе бо-
вавшуюся на боку попутную сумку. Вытащил не-
сколько смятых бумажек. Расплатился. Встал. И по-
шел коридорами вагонов, еще более прямой, еще
более вытянувшись, чем обычно. Шел так стреми-
тельно, что, казалось, он и в конце поезда не оста-
новится, шагнет вниз прямо на рельсы и пойдет по
шпалам — обратно, к юности, к первой любви, к
«владивостокским соколятам», которые уже давным-
давно порастерялись.

Х

Накопел в Хабаровске мы сошны, усталые и раз-
битые после десяти дней сидения и лежания
в поезде.

Заклинув лени в гостиницу, первым делом отпра-
вился в баню. Надо было привести в движение раз-
лененную кровь. Четверо голых мужчин. Четыре
различных тана.

Посреди бани стоит Павленко. Не щедедушный, но
и не сильный. Я сказал бы, рассудительного телос-
ложения. Рассудительное телосложение! Таким оста-
лось оно у меня в памяти — верно, потому, что очень
близорукий Павленко — в бане и без очков — посто-
янно щурился и неуверенно ступал по скользкому
ребристому полу.

Фраерман — он и всегда-то старался оставаться в
тени — здесь тоже удалился в угол со своей шай-
кой. Встал спиной и начал бесшумно мыться, укры-
пшись от нас даже облаками пара.

Тяжеловесом в компании был я. (Еще два года
назад на севастопольском Приморском бульваре, ко-
гда я брался за силомер, то выжимал его до конца.
То же самое было на всех приборах, где испыты-
вали силу. Поэтому меня всегда окружали глумя-
щие там моряки. Интерес ко мне рос с каж-
дым днем. Являлись все новые и новые моряки по-
мериться силой. И ни одному не удавалось одолеть
меня. Но чтобы и диалектика не оставалась в убы-
ток, надо сказать честно, что в это же время я лечил
нервы в Сеченовском институте. Видно, уже и в ту
пору была справедливой истина: «Жизнь прожить —
не поле перейти», а тем более коммунисту.)

И, наконец, Фадеев. Упруго ступал он по ребристо-
му полу, будто ступаями струны перебирал. И буже-
вал даже пуще, чем в Малеевке, поминутно огла-
шая нас радостными воплями.

Получил. Час. «Последняя», еще одна «последняя»
шайка воды, и, оставив за собой снежное поле из
мыльной пены, мы гуськом направившись в уставлен-
ный одинаковыми шкафчиками предбанник.



Группа руководителей Всемирного Совета Мира: Н. Г. Эренбург, А. А. Фадеев, Ф. Жолно-Юрни и Жан Лаффит (стоит спиной).

— Деньги у нас на исходе! — заявил вдруг «бригадир» Фадеев, затягивая ремень. — Отсюда пойдем прямо в редакцию «Тихоокеанской звезды».

Там уже ждали нас. Посыпались вопросы. Мы отвечали, они отвечали. Больше всего разговоров было о Москве. Около дюжины голов поворачивалось то туда, то сюда, вместе и порознь загорались две дюжины глаз.

Сотрудники газеты жили в страшной оторванности от столицы. Кое-кто из них, как, например, Зонин, хотя на груди у него и красовался столь редкий еще по тем временам орден Красного Знамени, был за какое-то мнимотерное отклонение закинут на берег Тихого океана первыми, еще относительно слабыми «толчками» сталинского произвола.

Когда мы задавали вопросы, разговор шел главным образом о Дальнем Востоке, об этом почти неизвестном нам (кроме Фадеева) крае, который один, сам по себе, больше Германии, Франции, Италии и Англии, вместе взятых.

Часов пять просидели мы в кабинете у главного редактора и толковали больше всего, разумеется, не о литературе, а о стройках, о преобразовании края.

Сотрудники «Тихоокеанской звезды» в мгновение ока переписали нас от Иркутска до Японского моря, от Амура до Берингова пролива, от Сахалина до Камчатки.

Наконец, главный редактор Шацкий (он принадлежал к столь милому душе и мгновенно опознаваемому племени старых большевиков) чутко смущенно, стараясь шуткой перебить свое смущение, спросил, как у нас с деньгами.

И Фадеев, еще недавно в предбаннике так решительно хлопнувший свою опустевшую полевую сумку, теперь забормотал что-то. Но, кроме громкого «ха-ха-ха», болтавшегося на кончике бормотания, так ничего и нельзя было понять.

Шацкий встал. Поднялся и Фадеев. Видно, его беспомощные «значит», «так сказать», «словом», «то есть» и опять «так сказать» оказались достаточно убедительными аргументами: Шацкий с радостью взял у нас стихи, рассказы, отрывки из романов и выписал гонорар.

Неделю прожили мы в Хабаровске. С Шацким встречались чуть не ежедневно, но, не рассказав

Фадеев историю жизни главного редактора (подпольщик, сидел в царской тюрьме, участвовал в Октябрьском восстании, затем в реконструкции страны, бывал на стройках пятилетки... Куда только не мобилизовала Шацкого партия!), так вот, не расскажи обо всем этом Фадеев, от самого Шацкого мы ничего бы не узнали.

...Не думал я тогда, что спустя шесть лет — еще на три тысячи северо-восточных километров от Хабаровска, не у Тихого, а почти у Северного Ледовитого океана встретимся мы с Шацким на руинах Колыммы. В одежде заключенных.

Худой Шацкий — он был намного старше, чем я, — узнал меня сразу. Я тут же с радостным возбуждением пошел вспоминать о наших встречах. Шацкий смотрел на меня ласково-грустно. Он стал еще молчаливей, чем был в Хабаровске. А в общем, был такой же. Кокешку за баладой подходил без всякого волнения и не возмущался, когда из половника в его миску лилась только жижица. (Таким, как Шацкий, гущи никогда не доставалось.) Таким в одном увидел я перемену. Временами он запевал — в Хабаровске я не замечал этого за ним — и всегда одну и ту же песенку Бетховена:

Как много стран я обошел,
И мой сурок со мною.

Стояла зима. Сорок пять градусов мороза. Мы сидели с ним на парах в темноте брезентовой палатки, глубоко вздыхавшей под порывами ветра.

— Товарищ Шацкий, вы что, других песен не знаете?

— Знаю.

Он взглянул на меня: сказать или нет? И сказал:

— В Хабаровске, когда после приговора мне разрешили десять минут свидания с женой — она не была еще тогда арестована, — я спел ей на прощание эту песню. Тому уже четыре года. С той поры не знаю ничего ни о ней, ни о детях.

И опять, терзая душу, заучулая, но теперь уже обвинением, песенка Бетховена:

Как много стран я обошел...

XI

«П» одкрепившись гонораром, выписанным Шацким, Фадеев «с привлечением» членов бригады составил план работы, который накануне вечером сам набросал на клочке бумаги, и прочел его нам вслух.

Фраерман остается в Хабаровске. Если мне не изменяет память, у него жили там знакомые или родственники; кроме того, он хотел собирать материал по роману. Фадеев — так звучал второй пункт программы — вместе с Павленко отправляется на моторной лодке Дальневосточного военного округа в строящийся город Комсомольск. Поедут по опасному еще для судоходства Амуру.

— Продолжайте, пожалуйста, — сказал Фадеев с тем мальчишеским гонором, с каким говорил всегда, когда брался за что-нибудь необычное, рискованное. — Дорога!.. Подумайте, какие-то сотни пустиковых километров по воде!.. Что это для нас с тобой, Петя!.. А уж сидем на мель или продырявим моторку... Петя, ты плавать умеешь?

Павленко сжал очки, прищурился и потешно задвигала одновременно верхней и нижней губой. В такие минуты он становился похожим на зайца, который припихивается. Казалось, Павленко начнет сейчас откинуться: доскочит, так и эдак, а может, все-таки не стоит... Но не тут-то было! Павленко надел очки, глаза его перестали шуриться, а спокойным, очень серьезным тоном отчитывал такое смешное, что мы все покатились со смеху. И Фадееву, чтобы не остаться побежденным, надо было найти достойный ответ... Это ему, надо сказать, не всегда удавалось.

Мне, как «изнеженному европейцу», по выражению Фадеева, бригада наметила город Владивосток.

Перед отъездом мы выступали в Хабаровске на разных литературных вечерах, где я, к величайшей гордости Фадеева, читал свои стихи на русском языке. Мы облизали весь город. Побывали и в рыбацких поселках. Рыбаки угощали нас красной икрой из только что выловленной кеты. Икру посыпали солью, глази рядом мелко нарезанный лук, и каждый брал сколько хотел.

— Принимают из Тихого океана, справляют свадьбу, икру мечут и умирают, — рассказывал богатый рыбак. — Рыбы в эту пору пруд пруда, вода так и кипит от нее. Потомство подрастает в Амуре, потом уплывает в океан, живет себе там, а как пройдет года четыре-пять, возвращается сюда, сыграет свадьбу и помирает.

— Отличная смерть, — бросил Фадеев, с превеликой сосредоточенностью уплетая икру.

Как-то вечером он повел нас на Приамурский бульвар к обелиску, установленному над братской могилой венгерских интернационалистов. Имена были выгравированы сверху донизу, но от солнца, снега и дождя уже поблекли. Потрясенный, разбирал я их по буквам, словно человек, которому много лет спустя показали могилу близких.

Я читал имена венгерских революционеров, которые лежали в земле за десять тысяч километров от родины. Фамилия Сабо повторялась трижды, но все с разными именами.

— А может, это братья были? — тихо высказал свое предположение Фраерман.

— Не думаю... Фамилия Сабо¹ встречается в Венгрии так же часто, как в России, скажем, Кузнецов.

И чтобы скрыть свое волнение, я пустился пространно объяснять, как образовались фамилии от различных ремесел. Фадеев мягко оборвал меня.

— Да нет же, Аватогий, это были братья, — просто разрешил он вопрос и, чтобы я перестал уже рассуждать о происхождении фамилий, заговорил о том, что на этом Приамурском бульваре в 1918 году играл венгерский оркестр. Состоял он из пленных музыкантов. Фадеев познакомился с ними еще в Спасске, откуда они и приехали в Хабаровск. Но вскоре какая-то контрреволюционная банда свергла с помощью японских и американских войск Советскую власть в Хабаровске, все двадцать оркестрантов были казнены. Трупы их бросили в Амур. Так что они не лежат под этим обелиском. Даже имена их не уцелели.

Фадеев закончил рассказ. Мы стояли перед памятником.

...Впрочем, на бульваре и сейчас играл оркестр. Штатские, военные, больше всего молодые краснофлотцы тавцевали с хабаровскими девушками совсем неподалеку от обелиска, установленного в память о венгерских интернационалистах.

XII

Во Владивостоке меня встретили два местных поэта. С трогательным рвением показывали они приехавшему издали вентру город, залив Золотой Рог, Восточный Босфор и дальше за ним Японское море. Если не ошибаюсь, фамилии их были Афанасьев и Гай. (Жили они, нет ли? Не знаю.)

В Центральном доме Тихоокеанского красного флота мне пришлось сделать доклад о Первом съезде писателей. После доклада ко мне подошел русский молодой краснофлотец. Выткнулся в струнку и сказал:

— Я Ференц Яничик-младший, — и прибавил не без гордости: — Сын Ференца Яничика.

— Фери! — воскликнула я. — Неужто это ты?

Я вспомнил, как восемь — десять лет тому назад учил его венгерским революционным песням в пионерском отряде московского клуба политэмигрантов. А теперь вот...

— Что ты делаешь тут, Фери?

— Служу помощником командира на аниской подводной лодке Дальневосточного флота.

— Да что ты говоришь!

Мы сели рядышком и говорили уже без умолку, не закрывая рта. Крутом расселись краснофлотцы, тактично слушая нас, вот так случайно встретившихся здесь во Владивостоке и допотопших о чем-то на неизвестном им языке.

Я, правда, объяснил им, что отец этого молодого красного командира — мой близкий друг, выдающийся деятель венгерского рабочего движения. Что в мировую войну он был в плену здесь, в Раздольном. Потом, в 1916 году его как отличного токаря переправляли в Иваново-Вознесенск. В 1917 году он вместе с группой пленных венгерцев сбежал в Москву, участвовал во взятии Кремля. Был ранен. В 1918 году стал одним из организаторов движения военнопленных интернационалистов, ближайшим соратником Беда Кула. Летом 1918 года, в дни эзерского мятежа, он вместе с группой венгерских интернационалистов во главе с Беда Куном и Тибором Самуэлем штурмовал почтамт на Мясницкой... Потом вернулся в Венгрию... 1919 год. Он командир венгерской красной милиции. Падение пролетарской революции. Яничика бросают в тюрьму. И Советский Союз спасает его от верной гибели. А теперь он заместитель красного директора на одном из московских заводов.

Нас усадили поужинать. Все спрашивали: где Фадеев, почему он не приехал? Видно было, что в первую голову ждал его. Чуточку выпил, а потом уже, как водится, когда компания развеселится, запел песню:

Эй, штурвал держи покрепче,
Он ты, парень молодой,
Путь, который нам назначен,
Есть Онтарь мировой,
Дуй, дуй, ветер свиной,
С владивостокских побережий!..

¹ Сабо — по-венгерски буквально портной.

Видно, по краснофлотскому счету времени было уже поздно, потому что Ференц Ячич-младший взял под козырек и сказал, что должен идти, в девять часов он обязан явиться. Остальные тоже начали прощаться.

Афанасьев и Гай пошли провожать меня в гостиницу «Золотой Рог». Весь долгий путь говорил я один, но заметил это только, когда уже подошел к дверям гостиницы. Да послужит мне оправданием, что говорил я не о себе, а о других, и казалось мне, что так ничего и не успев я рассказать. До самого утра мог бы я говорить о них, о венгерских интернационалистах.

XIII

На другой день небольшой торпедный катер — всего лишь четыре человека и одна торпеда — помчался на нем — повез меня в Японское море на Русский остров. Там я тоже должен был выступить перед краснофлотцами.

Сначала меня повели осматривать остров. Военные инженеры показали «кое-что». Было непривычно жарко, падало солнце, и мне очень захотелось пить. Неосторожно, хотя товарищи и предупреждали меня, выпил я несколько кружек студеной воды из кристально чистого с виду источника и даже сказал самонадеянно: «Я всегда пью сырую воду, и никогда от этого ничего не бывает». Но не на Дальнем Востоке! — прозвучал ответ.

Уже вечером, стоя на трибуне, почувствовал я: беда! С великим усилием преодолеваю боль, весь в холодный пот, стараясь я как можно скорее закончить свое выступление. «Амебная дизентерия», — установил врач, когда я попал в единственную палату островной больницы, где еще человек восемь лежало с разными заболеваниями. Помимо других неприятных признаков, у меня и температура упала до 34,5 градуса.

— Так и помереть недолго, — сообщил мне один больной.

— Это решится на третий день, — добавил моряк, лежавший в углу палаты.

«Здорово!» — подумал я, но как-то тупо, без всякого волнения. Такое снижение температуры вызывает депрессию, которую я и без того привнес с собой в изрядной дозе.

Телеграфировать домой? Никакого смысла. Если выживу, — только зря напугаю. А не выживу, — так Агвеш даже к похоронам не поспевает: дескать дней пути. И я отправил телеграмму Фадееву.

Но, видно, на дальневосточных просторах и его не так просто было разыскать, поэтому, не дождавшись ответа, я оделся и попросту сбежал из больницы. Измученный, пожелтевший, приобрел я в порт. С разрешения коменданта забрался на воинский катер, и он отвез меня во Владивосток. Меня уже ждали там Афанасьев и Гай, видно, заранее оповещенные Фадеевым, и сказали, что он попросил направить меня в дом отдыха.

Где был этот дом отдыха, не помню. Как я туда поехал, сколько там пробыл и с кем, и этого не помню. Все стерлось, остался в памяти только вялые осенние лучи, солнце, тайга и больше ничего. Должно быть, я дошел уже до крайней степени душевной подавленности.

И только одно еще запомнилось. Как-то после обеда ко мне в комнату влетела божья коровка и улетала на столе. Я обрадовался ей. Вспомнил Венгрию

и запел по-венгерски: «Божья коровка, улетай на небо». Но она не улетела. Я сел за стол, написал письмо в Москву. Вложил в конверт и божью коровку. Бросил письмо в почтовый ящик.

...Проспалося ночью. Чувствую: что-то непрерывно падает мне на лоб, на шею, ползает по груди, по рукам. Я зажжет свет. Все кругом было алым от десятков тысяч божьих коровок: и потолок, и стены, и простыня, и одеяло. До рассвета так и так ничего не поделаешь. Я натянул одеяло на голову, оставив только челочку для носа, и мучительно старался заснуть. В полусне слышал, как мягко шепеляются на одеяло эти красивые жучки, со стуком падают на пол, на стол, на шкаф.

Утром директор дома отдыха долго извинялся:

— Совсем забыл предупредить, что тут нельзя оставлять окно открытым. Божьи коровки коचуют в эту пору. Мы же на Дальнем Востоке. В иные годы их тут бывает миллиарды.

Окно закрывали. До самого обеда приводили в порядок комнату. Собрали около трех ведер божьих коровок.

«Дни ли пропал на неделю? Не помню. Только вадуг приехал Фадеев.

— Ну, что с тобой случилось? — спросил он без всякого сочувствия, пытаясь разгадать меня: вот, мол, «изнеженный европеец», потому и заболел на Русском острове.

— Ничего особенного, — ответила я с обидой. — От этого уже многие умирали, и притом русские.

— Чепуха, — отмахнулся он, — подумаешь тоже — дизентерия!

Но когда я рассказал ему про миллионы божьих коровок, Фадеев смотрел на меня растерянно, изумленно, подумав, верно, что я рехнулся малость. И вадуг ласково сказал:

— Ну ладно, ладно... А теперь давай соберем твои вещи.

И один за другим выдвигал он ящики стола, комоды, открывал дверцы шкафа, даже под кровать заглянул. Рядом складывала мои вещи.

— Сейчас же поедем в дом отдыха на берег Амурского залива! Павленко и Фраерман уже там... Диетитание тебе организуем... И гарантирую, что через неделю будешь здоров, как... Больше нет у тебя никаких вещей?

Мы вышли из комнаты. Фадеев повес чемодан. Вниманием и нежностью хотел он загладить мои неурядицы. Но когда уже спускался по лестнице, все же не выдержал и сказал:

— Божьи коровки... Вот тебе и на! Только этого еще не хватало.

XIV

Если диетическое питание означает вместе с тем и однообразную еду, то в доме отдыха на Амурском заливе мы и в самом деле питались диетически. Каждый день на стол подавали фазана, правду, то так, то эдак приготовленных. С тех пор я убежден, что нигде на свете нет — во всяком случае, не было — столько фазанов, как на Дальнем Востоке.

Фадеев тоже охотился на них. Однажды вечером взял я меня с собой. Зажегши фары, автомобиль медленно съезжал по шоссе. И немного погодя в сотне шагов от нас мы увидели фазана. Он стоял ока-

мелевший, словно сказочная птица. Машина подъехала еще ближе, и хлопнул выстрел.

Фадеев отправился за своей добычей, поднял ее и пошел обратно по шоссе, снявшему между грозно темневшей с двух сторон тайгой. Нес все еще подрагивавшую, окровавленную птицу, которая замерла вдруг только возле самой машины.

— Гаупейшая в мире птица, — раздраженно произнес Фадеев высоким глуховатым голосом. — Как замороженная, стоит в снании славы... Ни за что отуда не выйдет... Лучше помереть готова...

— Что ты сказал?

Он не ответил. Минут пять спустя с криком «Ко-ко-ко!» свалился второй серебристый красавец и шлепнулся вскоре в освещенный фонариком багажник, рядом со своим собратом. С перьев его катились еще капли крови.

...Утром я заметил: Фадеев чем-то встревожен, обеспокоен.

Мы сидели все вместе и завтракали, как вдруг он как-то слишком решительным шагом направился к себе в комнату: писать. Вскоре вышел опять. Неуверенно осмотрелся вокруг и сел в углу столовой. Широко раскинул ноги, опустил руки на колени и нагнулся, будто разглядывая дощатый пол: мол, сдвинутся ли доски или на месте останутся? Потом, заметив, что я наблюдаю за ним, словно собака воду, страхнул с себя дурное расположение.

— Анатолий? Хотите пойти погулять?

Он взглянул к Павленко, который — ведро ли было, неважно ли — всегда работал.

— Петя, мы вернемся к обеду.

Была солнечный, прозрачный осенний день. Фадеев, чтобы вытеснить свои утренние раздумья или, напротив, чтобы открыть им путь, начал говорить. Говорил, говорил, не останавливаясь, горячо — и рассказы его то шли по одному руслу, то растекались в разные стороны.

Спаск... Сучаские рудники... Уссурийский край... Появились друзья: Билименок, Перезов... Возник уже и Сергей Лазо, потом и двоюродный брат Сибирцев, вовлекший его в большевистское движение.

Рассказы Фадеева, казалось, скачут во все «стороны», хотя на самом деле у них была своя последовательность.

Но вдруг он заговорил об уссурийских тиграх. «Самая опасная порода тигров. Есть тут один старый охотник. Тридцать с чем-то тигров убил за жизнь. И вот я спросил его однажды: «Не страшно вам было? Ведь опасней тигра зверя нет». А он, знаешь, что ответил: «Самый опасный зверь не тигр, а человек...»

Мы шли по Владивостокскому шоссе. Нас провожала тайга с двух сторон. Село Седанка. Вторая река. Здесь жил его лучший друг — Саня.

(Шесть лет спустя я был снова на Второй реке. Только уж не по своей воле, а пригласил меня. Не с писательской бригадой приехал, а вместе с полутора тысячами заключенных. Неделю провалился мы на траве под вольным небом. Ждали парохода, который должен был увезти нас на север.

Был я здесь и в третий раз. 20 июня 1941 года прибыл на пароходе «Советская Латвия» вместе с двумястами двадцатью четырьмя заключенными во Владивосток. Всех нас везли в Москву на переселение. Часа в четыре на рассвете нас везли под конвоем в тюрьму по владивостокской улице Ленина. Я озирался кругом: смотрел, как изменялся «с тех пор» город, какие выстроились новые дома. Все мы были такие веселые, как, я думаю, никогда в жизни. Полные надежд, целый день мы пели песни. Одня мой товарищ, старик, конструктор подводных

лодок, пел весь день, не умолкая. И раз, и два, и десять раз запевал он одну и ту же песню:

Еду, еду, еду к ней.
Еду к любимке своей...

И... к немалому удивлению всех, седовласый старик, он говорил только о своей жене.

Так прошел день. К вечеру мы кое-как улеглись спать. Тринадцать человек набилось нас в камеру. Все думали-гадали: когда же дальше отправят? Ночью отворилась железная дверь. Втолкнули новых заключенных. Все проснулось. Полетели обычные вопросы:

— Откуда вы? Есть что-нибудь с вами? Что там слышно?

— Гитлер напал на Советский Союз. Война началась. Мы знали: все кончено и с переселением и с Москвой.

Я лежал на полу. Пол стучал подо мной, такая лихорадка забила меня.

Никогда не рассказывал я об этом Фадееву. Только разрушил бы дорожку для него воспоминания о нашей поездке на Дальний Восток, о нашем походе на Вторую реку.)

...Ох, уж эти воспоминания! — говорил Фадеев, шагая по Владивостокскому шоссе. — Здесь, на Второй реке, я играл в футбол. Высокий был, так меня вратарем поставили. «Стой, Саня, ты ведь только руку подымеши, и мяч уже твой». Но я ведь и тогда стремился к власти — ха-ха-ха! — и требовал, чтобы назначили меня центром. Сам хотел всю команду сваять мячом и непременно побеждать. (И снова идущее из гора «ха-ха-ха!»)

Потом без всякого перехода:

...Однажды мы вместе с Саней уехали отсюда, со Второй реки, в Раздольное. Там был лагерь военнопленных. Мы пробрались туда. И даже ночевали в бараче у пленных. Саня знал чутко немецкий язык, пленные тоже научились кое-как калякать по-нашему. Очень подружился я там с одним венгерцем-металлистом. Пообещал даже написать ему. И не написал. Почему?.. Да ей-богу не знаю... Боюсь, очень обидел его этим... А ведь не хотел... Бывает со мной такое...

И замолк. Потом рассказ пошел опять по другому руслу. Фадеев вспоминал о партизанской поре.

Где оно случилось, я уже запомнил, помню только, что случилось...

...Японцы схватили нескольких партизан. В числе их и немца, бывшего пленного, по фамилии Либкнехт. К Кару Либкнехту, кроме фамилии, он не имел никакого отношения. Японский полковник приговорил Либкнехта к расстрелу. А так как жители деревень сочувствовали партизанам, то японцы решили привести приговор в исполнение на глазах у крестьян. Со всех сел согнали их туда ради остротки.

Построилась расстреливающая команда. Полковник взмахнул саблей, солдаты взяли ружья наизготовку. А худой оборванный Либкнехт стоял перед ними и курил, будто ему и дела нет до казни.

Полковник крикнул: «Отставить!» — и насмешливо опустил саблю.

«Помню!» — слышно было, как вся площадь вздохнула.

Либкнехт курил.

Полковник снова взмахнул саблей. Дело известное, каждый знает: сабля опустится, пуды вылетят — и конец.

— Отставить!

Так шла «игра». Еще и еще раз. Чем же она окончится? Полковник хотел сломить волю приговоренного, который курил и не обращал на него внимания.

И тут Аибкихт — он, верно, понял, в чем дело, — растегнул штаны и, будто вокруг него нет никого, начал мочиться. Бабы засмеались, завизжали, завыли в голос. Мужики, будто вторя им, забурчали: «Вот это пареня Молодец!»

— Ого! — разярено крикнул пристыженный полковник.

Аибкихт упал на землю, оправляя малую нужду. «Мы пришли во Владивосток. Двадцать километров отмахали. Время шло уже к пяти часам. Проголодались. Фадеев повел меня в «отакский ресторан». Пободали. Потом пошел в театр. После спектакля — актеры узнали, что мы в зрительном зале, — нас попросили пройти на сцену. Фадеев, любивший доставлять радость людям, мало того, что похвалил спектакль и каждого актера в отдельности, но захотел сказать еще что-то, уже вовсе неоспоримое.

— Это самая дальняя советская трупа, — изрек он вдруг. — Она стоит на страже советской культуры здесь, на берегу Тихого океана! — И, глянув в мою сторону, словно ища у меня поддержки, добавил: — Великое дело!

Было уже часов двенадцать ночи.

— Где же мы ночевать-то будем?

Фадеев повел меня к своему старому другу. Позволил. Дверь отворилась. На лице его друга отразились одновременно и радость и ужас.

— Господи ты боже! — воскликнул он. — Саша! Пришел наконец? Пришли! Павленко уж весь Владивосток на ноги поставил, все учреждения. Решил, что мы заблудились в тайге. Немедленно звони в дом отмаха.

— Это ты, Петя!.. — заорал Фадеев в телефонную трубку. И «ха-ха-ха», и «черт ты слухавый», и «прости, пожалуйста», и снова «ха-ха-ха», и «да брось», и «ну ладно», и снова «прости ты нас, грешных», и «да вот он, рядом со мной»... — Возьми трубку, Анатолий... Скажи что-нибудь этому Пете... Не верит никак, что с вами ничего не стряслось!..

Потом снова Фадеев взял трубку и очень серьезно сказал:

— Ты уж прости нас, Петя... Мы заговорились с Анатолием и совсем забыли про вас.

...И на самом деле, дальневосточные партизаны, вспоминая, прошедшая революционная юность смеяли все: дом отдыха, Союз писателей, Павленко, Фраермана — и, честно говоря, не будь я вместе с Фадеевым, смеяли бы и меня. Хотя по дороге я и сказал Фадееву: «Знаешь, Саша, если бы я жил тогда на Дальнем Востоке, я был бы тоже вместе с вами, с «соколятами». Правда!»

XV

Нашу писательскую бригаду пригласили в Раздольное на октябрьские торжества. Как всегда, праздновать начали уже накануне. На другой день был назначен выпуск старшин, окончивших годичные курсы. На утреннике должны были выступать и мы, писатели.

В то время в Красной Армии одним из самых жгучих был вопрос о том, как поднять авторитет стар-

шин. Это была сложная задача: нужно было сохранить товарищеские отношения с красноармейцами и вместе с тем создать настоящий авторитет младшему комсоставу.

На шестое вечером мы были приглашены в часть, к командире полка Хорошилову. Он и еще несколько человек из старшего комсостава ждали нас за большим столом, уставленным всякой снедью. (Фазанов, к счастью, не было.) Мы не заставили просить себя. Налетели на еду. Павленко развлекал компанию забавными историями. Фраерман сидел, как всегда, скромно, еще скромнее улыбался и молчал. Фадеев, награждая рассказы Павленко зычным хохотом, пил водку, как, впрочем, и все мы, да и Хорошилов с товарищами, полностью уступившими нам «паладарм» беседы.

Вскоре раззвучили и песни. Фадеев затянул: «Степь да степь кругом...» Потом зазвенело сопрано Хорошилова: «Однозвучно гремит колокольчик...» Сольно пропела оза только первые строки, дальше подхватили мужичины, тихо вторя ей. Пожилой командир затянул старинную песню каторжан. Припев: «Динь-бом, динь-бом, слышен зов кандалный, динь-бом, динь-бом, путь сибирский дальний...» — подтягивали уже все. Потом спели «Варшавянку», «По долинам и по взгорьям». Когда же Фадеев запел «Кари глазки», я понял: пора идти спать.

Время близилось к двум часам ночи. Фраерман извинился и сказал, что он пойдет и ляжет. (Хорошиловы поставили в одной из своих комнат четыре раскладушки для членов бригады.) Вскоре начал прощаться и Павленко.

— Возьми и Сашу с собой, — шепнул я ему.

— Оставь. Не трогай его! — И все же не без умысла дважды громко повторил: — Ну что ж, я пошел! Пора спать! Завтра выпуск старшин... Саша, пойду-ка я лягу.

Что старшины больше всего ждут Фадеева, как самого известного из нас, это было мне ясно. Поэтому я решил: подожду еще, авось, да уговорю его. И вот я три часа ночи я приступил к «решительным мерам».

— Саша! Довольно!

Темные огонечки замелькали в его голубых глазах.

— Не мешай!

Но я отставил бутылку.

— Поставь на место! Слышишь!

Этого я не ожидал. Встал и пошел в комнату, где нас устроили на ночлег. Павленко пробормотал просьонья:

— А Саша где?

Ни тогда, ни позже не было у меня охоты рассказывать ему, что случилось.

XVI

Фадеев проснулся перед обедом. Пошел прямо разыскивать меня. Нашел. Заговорил со мной. Но не о ночном происшествии, а так, о всяких пустяках. Потом спросил, что было у старшин. Я не ответил.

Тогда он начал обхаживать, утешать меня, словно надутую девицу. То и дело подходил, но сказать что-нибудь «о том» не мог себе заставить. Все вопросы задавал: «Ты что, не высвася?.. Может, ты плохо чувствуешь себя?.. Получил вчера письмо от Агнеш?.. Давай пошлем ей поздравительную телеграмму». Видно было по всему: он чертовски сожалеет о том, что

случилось ночью. За обедом, отодвинув стопку, он сказал вдруг, без всякого предлога, и будто даже не мне, а всей компании:

— Поиду-ка к старшим.

Вернулся домой, когда спустился уже раннее ноябрьские сумерки. И сообщил «всем нам»:

— Два часа беседовал с ними.

Но, заметив, что меня и этим не проймешь, расхотелся вдруг и спросил, обращаясь уже прямо ко мне:

— Скажи на милость, что ты им там говорил? До сих пор хохочут, уняться не могут.

Он, разумеется, отлично знал, что я «наговорил» (рассказали же ему!), но хотел, чтобы я повторил рассказ, авось, да от этого уляжется у меня обида.

...Надо заметить, что еще утром, лежа в постели, я все мучился: что я скажу старшим? Одна банальная фраза лезла за другой: «Товарищи старшины, так, мол, и так... Вы ударили сила Красной Армии... Старшина без авторитета, все равно что... и пр. и пр.» Но когда я поднялся на трибуну и оглядел этих сильных, здоровенных парней, то все бескровные слова, проливя порядочность, сами отступили, и я, недолго думая, заговорил совсем о другом.

— Случилось это, товарищи, еще при императоре Франце-Иосифе. Фельдфебель один, то есть, по-нашему, старшина, назначил в караул какого-то новобранца. И говорит ему: «Эй ты, такой-сякой, слушай приказ! К нам приезжает генерал. Как завидишь его, доложи мигом». «Так точно» — пролепетал испуганный новобранец. На дворе осень. Дождь. Новобранец стоит на часах, а о генерале ни слуху ни духу. Прибежал фельдфебель да как заорет: «Не приходит генерал!» «Так точно, не приходит!» — с ужасом лепечет новобранец. «Черт тебя подери! Открой пошире глаза и, как завидишь его, мигном ко мне. Понял, такой-сякой, раззакан!» Прошло еще минут пять-пять. А генерала все нет как нет. Фельдфебель — опять к часовому. Крик, шум — и он снова ползлос воясояс. И вдруг новобранец видит: генерал идет, со свитой вышагивает. Новобранец прямо к нему и спрашивает: «Это вы и есть генерал? Ах вон оно что! Ну-ну, берегитесь, не хотел бы я сейчас в вашей шкуре быть... Господин фельдфебель-то уже трижды спрашивал про вас!»

Фадеева позвали к телефону. Вернувшись, он засунул руки за ремеш, стягивавший его стройную талию, и выпалил с мальчишеской гордостью:

— Ребята, командарм Федько пригласил нас к себе на вечер в Никольск-Уссурийск... И, взглянув на меня, добавил: — Федько ведь воевал в Крыму, когда отец Агнеш был там председателем ревкома... И спросил, обращаясь уже прямо ко мне: — Поедем! Что же мне оставалось? Поехал, конечно.

...По приезде в Никольск-Уссурийск выяснилось, что, кроме ноябрьских праздников, там будут отмечать еще и другие: 7 ноября впервые здесь городу свет только что пущенная в ход электростанция.

...Мы расселись вокруг большого стола командарма. Комната освещалась керосиновой лампой и целым вихором свечей... Когда Федько — некогда подмастерье столяра — подымался с места, казалось, шкаф приходил в движение. Теперь Федько то и дело поглядывал на свои огромные часы, прикрепленные к руке чуть не поясным ремнем. Непрестанно поджидая и к выключателю. Щелк. Лампы не загорались. Наконец, махнув рукой, Федько разложил коньяк по стаканам и пригласил уже чокнуться с нами... В тот же миг загорелось электричество. Приняло такое «ура», от которого чуть потолок не рухнул. Но Федь-

ко не позволил погасить керосиновую лампу и свеч:

— Пусть погорят еще напоследок.

Завел патефон, поставил пластинку. И этот двухметровый великан, с четырьмя орденами Красного Знамени на груди, поклонился крохотной жене комсомола Хорошилова. Пригласил ее танцевать. (В том году был дан приказ по Красной Армии: все командиры обязаны научиться танцевать.) Картина была странная и, пожалуй, даже страшноватая: тоненькая, малосенькая Хорошилова и только что научившийся танцевать герой гражданской войны — этаким движущийся гардероб. Казалось, папа — боец-тяжеловес — повел танцевать свою пятилетнюю дочку. Господи боже, что же будет, если он невароком ей на ногу наступит?!

Мужчины — штатские и военные — все были одеты просто. Женщины только тогда начали «одеваться». Все они нарядились в креповые платья — этот материал уже продавался в магазинах, — у них на головах торчали даже шляпки, правда, а еще никак не находившие себе там места.

Скажу по чести, я думаю, найдутся и такие, кто поймут меня верно: я как о золотой поре вспоминаю о двадцатых годах, когда не только женщины, но и молодые девушки ходили все в одинаковых красных косынках и при этом были такие разные да такие красивые, что, кажется, я с тех пор не встречал столько красивых женщин.

Мне и сегодня дороги те женщины... женщины в алых косынках, женщины пролетарской революции...

Фадеев всю ночь сидел молчаливым, тихий. Не пел, почти не пил и уж, конечно, не танцевал. А я в ту ночь решил вернуться в Москву раньше назначенного срока.

...Не потому уехал я с Дальнего Востока, что Фадеев обидел меня: это я уже давно знаю. Обида была только одной из немногих причин, а может быть, даже предлогом.

— Все равно вернешься, — сказал на прощание Фадеев. — В народе у нас так говорят: кто на Дальнем Востоке побывал, тот хоть раз да вернется опять.

— Чепуха Суевьер! — отмахнулся я.

Но прав оказался он. Я вернулся. Только еще на более дальний восток.

XVII

Когда ежедневные уговоры: «Оставайся!», «Пусть и Агнеш придет...», «Зимой мы оба закончим свои книги» — оказались напрасными, Фадеев купил мне билет на поезд и, передавая его, сказал с обидой:

— Упрямый ты, — но потом, рассмеявшись, добавил: — Такой же, как и я...

В день накануне отъезда он был ласков со мной, как никогда. Еще раз повел показать свою «родину» — Владивосток. (Ко мне ли относился его нежность или к Москве, куда я возвращался ревер и по которой он, хоть и не говорил об этом, но тосковал непрестанно, не зная. Быть может, к нам обоим.) Еще раз показал улицы, на которых жила, коммерческое училище, где занимался, дома, в которых бывал. Мы заходили в подъезды, но поднимались по лестнице он уже не хотел. Еще подумают — расчувствовался! Вечером повел меня в цирк. Оглашая громким хохотом арену, потешался он над клоуном, Восхи-

щенным «у-ух!» высказывал свое признание пса-днице и восторженно хлопал акробатам. Так и просидел бы до утра — думать не надо было.

Возвращались домой уже ночью. Стояли удивительно мягкие осенние дни, и мы шли без пальто.

— Через три-четыре недели уедет Фраерман, потом и Петя Павленко... — сказал он уже в номере гостиницы.

Утром проводил меня на вокзал. Я оказался в одном купе с начальником Полуправления Дальневосточной армии Арономштам. За Хабаровском по поезду лежал снег. Чита, Иркутск. Помню, особенно долго стояли мы в Новосибирске: меняли паровоз. Я вышел на платформу. Сияющий день. На крышах ослепительно сверкающие снеговые шапки. Дымки из труб тянутся прямо к небу.

— Не холодно, — заметил я своему попутчику.

— Тридцать два градуса, — ответил Арономштам.

Я не поверил, пока меня не убедил в этом ругать бравешавшая на градуснике на стене вокзала.

— Сухой воздух Сибири, — пояснил Арономштам, — здоровый воздух.

...А вслед за мною летели письма.

«Погода все еще стоит прекрасная...» — писал Фадеев. «Занимался... Виделась ли ты с Валей? Скажи ей, что я много работаю». «Жаль, что ты уехал...» Потом позднее: «Бушует пурга, нещадно метет...» «Я один...»

Вернулся я в Москву 30 ноября.

На другой день убили Кирова.

XVIII

Фадеев возвратился в Москву, как мне помнится, осенью следующего года, правда, опять так и не закончив «Удэге».

Приходил он к нам чаще, чем обычно, чувствуя себя у нас, очевидно, легко и непринужденно. Должно быть, проявился доверие ко мне. (Надо сказать, что болезнь, принявшая позднее такой трагический оборот, уже и в ту пору насаждала на него неполадки. Многие близких людей это, естественно, тревожило, и они, из лучших побуждений, пытались предпринять кое-какие шаги. Дескать, если Саша сам не хочет образумиться, так пусть его «сверху» образумят. Иначе он погибнет. Хотели и меня повлечь в это дело. Но я по почему-то всегда чуждался таких мер, пусть даже душещипательного свойства, и отказался наотрез. Считаю, что так поступать не надо. Что, кроме обиды, это ни к чему не приведет. По приезду Фадеев узнал об этом, правда, не от меня.)

Приходил он к нам в эти годы заперто, без предупреждения. Подолгу просиживали мы в нашей малюсенькой квартире в доме Герцена. Вместе обедали, ужинали и о чем только не переговаривались! Шли гулять и тоже все говорили без умолку. Это время сохранилось в моей памяти так: мы оба глотали и написали что-то самое главное в жизни, дел у нас неавторитет, и все впереди...

Помню, однажды был ясный, теплый день. Мы собрались с Агнеш гулять. И только вышли из ворот, прошли мимо Камерного театра, как вдруг кто-то на полном ходу соскочил с трамвая. Саша! Стройный, красивый, элегантный — таким был он от природы!

— Ребята, смотрите я, идете вы такие молодые, ну и не выдержал, соскочил. Пойдемте в зоопарк. Погуляем.

И пошли мы по бульвару, по Большой Никитской,

зашли в зоопарк, посмотрели и обсудили всех зверей. Шутки, смеялись. Потом заскочили в шашлычную у Никитских ворот. Посидели там часок-другой. Дальше пошли по бульвару, по Тверской. Ходили до позднего вечера — радостные, полные планов и мыслей.

Я закончил уже роман («Господина Фицек») и чувствовал какую-то непривычную легкость, удовлетворение. Фадеев, разумеется, читал роман и радовался вместе со мной.

...Тем временем оползнем подкрадывался к нам 1937 год. События с каждым днем все больше нагнетались. Настал июнь. Арестовали и Беа Куна. Наступила осень, зима. Меня, как и многих товарищей, изгоняли из петиции, потом «изгоняли из оборота».

Фадеев еще осенью 1937 года пытался что-то предпринять за меня. Но не удалось ему. Кое-кого он спас. И, видно, этим исчерпал свои возможности. Ведь и он не мог не опасаться того же, чего опасались все, за исключением, быть может, одного человека.

Никто не знал, когда «придут за ним».

...«Жить стало лучше, жить стало веселее!» И чтобы не сомневаться в этом, так называемая «тройка» приговорили меня к восьми годам...

...Из лагеря я обращался к Фадееву через свою жену. Отвечать письменно он, конечно, не мог. Но сколько же я получал писем и telegramм из дому, и почти в каждой из них стояло имя «Саша». То он просил передать привет, то просил крепиться, не терять надежды, быть уверенным, что он сделает все, что может. Часть этих писем сохранилась. И это живые свидетельства товарищества и дружбы.

...В апреле 1940 года в Большом театре на вечере, посвященном десятилетню со дня смерти Маяковского, выступал Фадеев. Тогда я был уже «далеко от Москвы». По барачному радиорепродуктору я услышал голос Фадеева. Страшно разволновался и решил: будь что будет, но я напишу ему письмо и отправлю «назад». В письме я написал о том, что пять лет назад, кажется, в Политехническом музее, председательствовал Фадеев, и я говорил о безвременно погибшем поэте. «Скажи, Саша, пока поэт жив, за него никто не подымет голос!»

Фадеев получил это письмо.

И в том же году семь поэтов и писателей-коммунистов обратились с заявлением к известным органам — по тому времени это был героический шаг — и попросили пересмотреть мое дело. Эти семь имен я должен назвать: Фадеев, Сурков, Ципачев, Панферов, Жаров, Ставский и Джек Алтаузен.

...Когда в один из весенних дней 1944 года, почти шесть с половиной лет спустя, я был освобожден, Алтаузен и Ставский уже не было в живых. Они погибли в Великую Отечественную войну.

С тех пор ушли и Фадеев и Панферов.

Ушли туда, откуда никто не возвратится, пусть даже все честные поэты и писатели мира удостоверяют, что данный человек был «честным революционером, талантливым писателем... И мы хотели бы вернуть его... Поэтому обращаемся к вам с просьбой...»

Точно девять лет спустя после моего первого возвращения с Дальнего Востока я снова сошел в Москве с сибирского поезда. Только не домой пошел, а в другое место. На «квнтацию», которую получали два вооруженных конвоира, привезших меня на переселение, стояла дата «30 ноября». Только что год переименовали: «1943».

Прошло еще сто сорок два дня, и 20 апреля 1944 года я снова оказался на воле. Мог жить свободно. Но реабилитирован не был. Реабилитация произошла лишь одиннадцать лет спустя.

Светлый апрельский день. Послеобеденный час. Москва. Я на улице. Куда идти? Кварталу отнян. Семья в эвакуации. И решил я направиться к Евгении Федоровне Книпович. Она жила еще тогда на улице Веснина.

Одет я был так, как одевались в тех местах все люди одной со мной судьбы. На четвертом году войны это никому не бросалось в глаза.

В руке узелок. В кармане восемьдесят рублей. По тем временам сущий пустяк.

Книпович знала от Фадеева, что меня должны освободить, и уже несколько дней все сидела дома. Ждала. Увидев меня, она оцепенела и ничем не выдала волнения, сдержав этим, по счастью, первый взрыв чувств и у меня. Сказала, что пока я буду жить у подруги Агнессы — Ани Мышеч. (Они вместе учились в ИФЛИ.) Дала мне адрес. И я направился туда со своим узелком.

На улице уже стемнело. Извещенная по телефону, Аня примчалась домой. Я попросил ее немедленно проводить меня к Фадееву.

То ли потому, что прошло шесть с половиной лет, то ли потому, что Москва была затемнена, а может быть, всему виной было мое волнение, — но я не мог найти дома, в котором жила Фадеев, хотя и пришел в Большой Комсомольский и был шагах в тридцати от него. Попросту забывал, что этот дом стоит во дворе. Растерянный, вернулся я обратно. Что случилось? Память изменяет! Как же быть? Решил пойти к одному венгерскому писателю. Его тоже не оказалось дома. Жена этого писателя указала, где я могу его найти. Аня пошла проводить меня и туда.

Город погружен во тьму. Окна затемнены. Нигде ни полоски света. (Там, далеко, где я жила эти годы, затемнения не было, не требовалось.)

Улица Горького. Огромные незнакомые силуэты домов, выстроившихся за мое отсутствие.

— С трудом разобрали мы с Аней номер дома. В парадном темно. На лестнице тоже. По две квартиры на каждом этаже. Одна слева, другая справа. Третий этаж. Звоню. Открывается дверь. В дверях — старик Тренев. Не узнает меня. Смущенно спрашиваю, не знает ли он, где живет такой-то. Но, прежде чем Тренев успеет ответить, кто-то выскакивает из комнаты — видно, на мой голос. Павленко! Смотрим друг на друга.

— Анатолий! — тихо говорит Павленко, с трудом приходя в себя. — Вернулся! Ну, слава богу! Где же ты живешь? Оставайся у меня. Живи у нас. — И снова: — Анатолий!.. Ну, теперь все хорошо...

Что мне было ответить ему? Даже паспорта нет у меня. Только бумажка: «Освобожден из-под стражи». В дверях появляется жена Павленко, Наташа. Сложив руки на груди, она произносит только три слова: — Оставайтесь у нас...

— Не-ет, — отвечаю я глухо. — Нет... Я ищу квартиру одного венгерского товарища. Я... я... Потом к тебе приду, Петя... А сейчас... Не сердитесь...

Квартира, которую я искал, оказалась на другой стороне площадки.

XX

Утром, выскользнув из сна в полудрему, я снова очутился «там». Какие-то неясные мысли: «Вызовут ли наконец? Скажут ли что-нибудь? Знает ли Агнеш, где я?» Потом: «А кто сегодня дежурный? Ко-

му горбушка положена?» (На это тоже существовала очередь.)

И все это за мгновение ока.

...Открываю глаза.

Большие окна. Светит солнце. В лучах его золотятся ножки стульев и половицы. Справа от моей кровати — стол, покрытый белой скатертью. Мать Аня выкладывает на тарелку куски грудничка. Рядом с тарелкой сверкающая фарфоровая чашка, чайник, сахарница.

— Доброе утро, — слышу я женский голос.

И сразу страхино сон.

— Доброе утро, Мария Константиновна, — тихо отвечаю я.

— Как спали? Анечка уже ушла на работу. Ну, что вам приснилось на новом месте?.. Это ведь вещей сон.

— В полусне...

— В полусне не в счет!

— Тогда хорошо, — отвечаю я, и, хоть не думал об этом вовсе, вдруг вспомнил, что дом Фадеева стоит во дворе.

Выскочил из постели. Быстро умылся. Еще быстрой одеся. Проглотил завтрак и не пошел — где уж там! — прямо помчался к Фадееву. Когда я несся уже стремглав по Пушкинской улице, за спиной у меня с грохотом свалился с крыши обеденный сдобор и еще с большим грохотом раскололся на куски. Секунда промедления — и он убил бы меня. Я обернулся, посмотрел на расставившие серые лапки и, крикнув: «Дурак!» — помчался дальше.

Театральная. Лубянка. Мясницкая. Угловой магазин. Поворот направо, потом во двор! Без остановок, перескакивая сразу по три ступеньки (что это было для меня тогда!), мигом очутился на пятом этаже. Позвонил, не отнимая пальца от звонка, пока дверь не отворилась.

— Са-а-аша!

Обинаясь. Расцеловались — и раз, и два, и три. Он повел меня в комнату, все стараясь «держать себя в руках». Но удавалось ему это с трудом, потому что у него-то я уже ничуть не держал себя в руках.

Фадеев пытался найти выход. Кникува жену. (Я не был знаком с ней. Он женился в мое отсутствие.) Представил меня.

— Это вот Анатолий Гидаш... И это вот Ангелина Осиповна Степанова.

Фадеев попросил жену дать ему что-то. Она внесла перевязанный веревкой заранее приготовленный пакет.

— Переоденься, — сказала Фадеев.

— Прямо сейчас!

— Прямо сейчас. Аня, — обратился он к жене, — выйди на минуточку. Пускай Анатолий переоденется... Я сбросил с себя все, залез в чистое, чудесно-расчудесное, как мне показалось, белье, натянул синие в полосу фадеевские брюки и песочного цвета пиджак. (Думал сперва: не налезет. Ведь прежде Фадеев был намного худее меня.) Все оказалось впору. Натянул восток вместо портянок. Превосходно! Только башмаки оказались малы: как ни старался я, но втиснуть ноги не мог.

Вытащил из одного кармана гимнастерки свои восемьдесят рублей, из другого потрепанную самодельную тетрадку. Потом бережно сложила вещи и перевязал их веревкой.

— Оставь их здесь. Выбросим.

— Не-ет, — ответил я уже по ширинке. Ведь там, откуда я приехал, ценилась каждая тряпочка, каждый лоскуток.

Фадеев понял.

— Ладно, поэмы... Сам выбросишь.
Слова его поразили меня.
— Хорошо. Оставлю.
Фадеев отворил дверь.
— Алина, покорми чем-нибудь Анатолия. — И добавил мне в объяснение: — Я уже позавтракал.
— Я тоже позавтракала, Саша.
— Нет, ты поешь. Тебе не помешает... Смотри, как похудел.

И посмотрел на меня долгим взглядом, потом, словно успокаивая себя и меня, заключил с удивлением:

— А все же ты и сейчас красивый... Очень красивый.

Есть я не мог. Отодвинул чашку, тарелку. Не за этим же я пришел. Не об этом думал ни вчера, ни позавчера, ни в лагере, ни сегодня, когда мчался сюда по улице. Голова работала так беспорядочно, что хотела выбросить сразу одновременно сотни самых разных мыслей. Со скоростью звука хотело передать Фадееву и принять от него события семи лет. И не знал, с чего начать. Поэтому рассказал о вчерашней встрече с венгерским писателем, которая длилась всего лишь десять минут и... и...

— И он сказал мне, что лучше всего, если я добровольно попопущу рядовым в противотанковую артиллерию.

Лицо и шея у Фадеева побавровели.

— Так он и сказал?

— Да.

— А ты что ответил?

— Что правильно, конечно...

— Ни в какую артиллерию ты не попросишься! Ты уже отслужил свое! Понял? В таком состоянии, с такими нервами—да в артиллерию? Ты понимаешь, что ты говоришь? — И уже мягче добавил: — Послушай, Анатолий! Давай договоримся так: что бы ты ни решил, предварительно советуясь со мной.

И он все смотрел на меня. Качал головой. Потом тихо закончил:

— И вообще приходи ко мне каждый день.

Я понял, что он хотел этим сказать. У меня сжалось горло, и я молча кивнул.

XXI

Фадеев подошел к окну. Выглянул, будто во дворе увидел что-то. Потом повернулся ко мне. И вдруг все, что я хотел ему сказать, показалось мне несущественным.

Я вытаскил свою самодельную тетрадку и начал читать ему стихи, которые по-русски написал в лагере. Потом прочел одно стихотворение Тютчева и свой перевод на венгерский язык. Подстроично перевел ему несколько стихотворений, написанных в тюрьме и в лагере.

Голос у меня прерывался. Фадеев взял в руки потрепанную тетрадку. Бережно листал ее. Показывал.

— А что, если б сейчас ты, так сказать, написал бы, так сказать, такие стихи, какие писал в тридцать четвертом, тридцать пятом году?... Поминишь, такие, что читал на Дальнем Востоке?

И он процитировал две строчки из одного моего стихотворения, которое стало популярным и на русском языке.

— Помню,— сказал я,— только... (никому другому

не ответил бы я так) только, знаешь, Саша, такие стихи я больше писать не смогу.

...Ни словом не укорил он меня. Не спросил: почему? Заговорила об Агнеш. Назвал ее «декабристкой». (И другие, те, что были смелее, например, Сурков, тоже применяли к ней это слово. Правда, более осторожные называли ее Пенелопой.) Потом Фадеев рассказал мне о нескольких случаях, связанных со мной и с Агнеш, которые «стояли», как он выразился,— на грани чуда». Вот один из них.

В конце января 1942 года мы с Агнеш уже целый год ничего не знали друг про друга: оба сдвинулись со своих мест на много тысяч километров. Я попал в Сибирь, а она в Среднюю Азию. И вот Фадеев получает два письма, да в один и тот же день. Одно от меня, другое от Агнеш. Я написал, что ничего не знаю о ней, что мы потеряли друг друга. А Агнеш написала ему, что «нашлась» (то есть ее освободили), но не знает, что со мной. Фадеев попросил свою секретаршу Валентину Михайловну Каминичеву в тот же день направить письмо Агнеш мне, а мое — ей. Так мы нашли снова друг друга.

— Ну, не чудо ли это, Анатолий?

...Была уже поздняя ночь, когда он пошел проводить меня на улицу Герцена.

XXII

Как известно, москвичи, попавшие в эвакуацию, могли вернуться в Москву только по вызову, но пропуску. Так что свидание с Агнеш казалось безнадежным.

Помог опыт Фадеев. Послал вызов от «Литературной газеты», газетный, что «сотрудница «Литературной газеты» должна срочно выехать на работу в Москву». Два месяца спустя, в конце июня, она приехала. На другой же день поехали мы в Переделкино.

Те же неизменно зеленые сосны. Чудесный летний день Подмосковья. Трудно было даже вообразить, что где-то идет война, что люди мучаются и где-то кто-то несчастлив.

Мы сидели на боковой веранде. И Фадеев заговорил, с трудом, словно ему нужно было сделать нелегкое признание:

— Знаешь, Анатолий, мы все уже руки опустили... Ничего, мол, не выйдет. И... вдруг восемь месяцев назад вызывают меня... Прямо к наркомом... А он про тебе расспрашивает. Я никак не пойму: что случилось? Почему именно сейчас интересуется? И как это ему в голову пришло? Оказалось, что попал он в руки бог знает которое заявление Агнеш! Скажи пожалуйста заявления?

— Не считала, Александр Александрович. Во всяком случае, не меньше трех в неделю... Только попеременно по разным адресам.

— Не меньше трех в неделю,— повторил Фадеев.— Шесть лет подряд...

Он помрачнел. Видно было: о чем-то мучительно размышляет.

— Если б мы все были такими же, как эти женщины... Ходили, писали, протестовали упорно... как настоящие коммунисты... Шан на риск, вернее сказать, не считались ни с чем... Если б мы все были бы себя так же, как Агнеш, тогда... — И он замолк. Встряхнул головой.

— Вы не знаете, как я счастлив, что вы опять вместе!

Фадеев был в это время «в опале». Отошел от руководства Союзом, и теперь у него появилась возможность писать. Он засел за «Молодую гвардию».

Приезжали мы к нему на дачу почти каждый день. Обедали у него. А после обеда он читал нам еще тепленькие главы нового романа. Как несело, как хмельно смеялся он, когда читал про Толю Громгренин! Как он был расстроган, когда читал о первенце советской автопромышленности, о «газике», который проделал большие полукилометра километров и все же не сдавался! (Немало лирики было в этих строчках.) Сколько почтительности было в голосе у него, когда он читал о старых большевиках! С какой нежностью поглаживал он рукописи, когда читал о юношах и девушках — героях Краснодона, востину и сам молодой при этом.

Романов был, в общем, доволен. «За все рассчитаться», — повторял он не раз. И становился все более гармоничным. Почти не пла. А когда и выпивал, то превращался совсем в юнцу, читал стихи. Начиная, как всегда, с Баратынского, высоким глуховатым голосом:

Были бури, непогоды.
Да молодые были годы!

В день ненастный, час тнечный,
Грудь подымет вздох мочный,

Вольной песнью разольется—
Снорб-неизгода распоеет!

А как век-то, вен-то старый
Обручтс с лютой карой,—

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый.

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

Я до сих пор слышу непрекращаемую интонацию последних двух строк. А потом, будто начиналась вторая часть этого хмельного ритуала: звучали строки Бараташвили в переводе Пастернака,

Цвет небесный, синий цвет
Полнобил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

И, наконец, третья часть: Фадеев закрывал глаза, раскидывал руки и мечтательно запевал:

Кари глазки,
Где ж вы скрылись?
Мне вас больше не видеть...

Хорошо, если это чтение стихов и все прочее продолжалось не больше двух-трех дней. Позднее — длилось все дольше и дольше. Но испертого могучий организм переносил все без ущерба. Не выдержали только нервы.

Мы жили тогда, как говорится, на птичьих правах. Ни заработка, ни квартиры, даже за пропиской приходилось являться ежемесячно. И, точно стволы деревьев в лютую стужу, лопались прикрытые уямками нервы.

Обо всем этом ни я, ни Фадеев никогда не заводили разговора. Ему хорошо известны были наши невгоды. Но помочь в ту пору он не мог. Так к чему были жалобы, — они только удавляли бы боль утешением.

В отчаянии скверном настроении поехал я как-то вместе с Агнес в Переделкино. Решил: поговорю все-таки о своих делах. Посоветуюсь. Так не может дальше продолжаться! Довольно! Лучше уж...

...Отворяю калитку. Выхожу: верхнее окно распахнуто. Фадеев сидит на красивом столе. Очки на носу. Стало быть, пишет. Помешаем? Может, лучше обратно поехать? Но он, словно почувствовав что-то, выглянул в сад. Встал, подошел к окну и замаяхал нам обеими руками. И во мне, хоть я и не думал об этом, искрой промчалось через темные извилины сознания: «Будь у него возможность, все равно бы помог... А так, какой он может дать совет!» И вдруг, словно это и не я, а кто-то другой из меня, уже подходя к даче, стал орать во всю глотку известную гуловатую песенку:

Метели вязали, в Моску отправляли.
В Моску отправляли, денгу зашибали.
Денгу зашибали и все пропинали.
Все пропинали, домой уезжали.
Домой уезжали, метели вязали.
Метели вязали, в Моску отправляли...

Фадеев с громким смехом побежал к нам вниз. Потом вдруг понял, что неспроста я так разорался.

— Случилось что-нибудь?

— То-то и оно, что ничего не случилось!

Он притянул меня к себе.

— Пойми, самое трудное уже позади, — произнес он с облегчением из-за того, что «слава богу, ничего не случилось».

Я не ответил. Он отошел от меня на шаг и теперь сам «весело» заорал:

— Ничего, ничего, авось, к годам шестидесяти и у тебя все наладится!

Сорок пять лет было мне тогда!

Мое положение да терзавшую меня к тому же тоску по родине Фадеев переносил с трудом. Ведь никакими «разумными доводами» нельзя было объяснить того, что я даже после освобождения Венгрии не мог поехать домой.

Однажды мы вышли вдвоем из его квартиры в Комсомольском переулке и направились в Газетный, где жила его мать. По дороге разговорились, вернее, я заговорил о Венгрии. Фадеев все больше мрачнел, под конец лицо его стало таким хмурым, что уже я начал его утешать.

— А может, и лучше, что я остался здесь. А то не вышел бы так, как некогда с одной девушкой...

— Девушкой?.. Ты что, с ума сошел?

— Ничего не сошел. Пятнадцать лет я был репетитором у одной девочки. Звали ее Илюшкой. Влюбился в нее. Родители узнали и выптали меня. Несколько лет мы не виделись с ней. А любовь моя все росла, росла. Друзья уже обалдевали от этого беспредметного чувства, столько я морочил им головы.

Потом, четыре года спустя, осенью 1919 года, я пошла ей свои первые напечатанные стихи — они были посвящены ей. И получила ответ: девушка назначала мне свидание на набережной Дуная. Господи боже, что это было за чувство!.. Мы встретились. И двадцать минут спустя я смотрел на нее уже с досадой... Это была совсем другая Илонка, ничуть не похожая на ту, что за столько лет создало мое воображение.

— Глухости, — оборвал меня Фадеев. — При чем это тут? — И от раздражения он произнес имя венгерской девушки даже с усиленным акцентом: — Елопка! И при чем тут эта Елопка? Каждый человек должен жить на своей родине, тем более поэт. А ты — Елонка...

Он сердился. Но, ей-богу, не на меня.

XXVI

Однако человек-то живет, и случается, что главная его задача — выдержать жизнь.

...За два года дела мои сравнительно наладились. Фадеев в это время стоял уже опять во главе Союза писателей. Однажды я пришел по какому-то делу туда. Не к нему. И собрался было пойти уже домой, как вдруг Фадеев поймал меня в коридоре, затолкал к себе в кабинет и засыпал градом вопросов, надеясь в официальный обстановке получить более вразумительный ответ. Обычный: «Все в полном порядке» — сердца его подчас. Но, услышав снова стереотипную формулу, он подмигнув вдруг и спросил:

— Метегаз везла, в Москву отправляли?

— Да нет, Сава. В самом деле. Вернулся к матушке... Живет в Кашине с сыном.

— В Кашине?

— Да. Ведь у нее минус сто один.

Фадеев тут же заговорил о другом, стараясь, чтобы на лице у него и следа не осталось от мыслей и чувств, которые он мгновенно загнал вглубь.

Что он поддерживал отношения с великим множеством людей, вытекало не только из рода деятельности, но и из самого существа Фадеева. В каждом человеке пытался он откопать самое ценное и, в случае надобности, это и приводил всегда как довод. Такое отношение к людям — «суди о них с лица, а не с запыла» — Фадеев методично выработал в себе, считая его, очевидно, необходимым для литературного и политического деятеля. А в том, что его не всегда удавалось превратить в жизнь, виноват был не только Фадеев. Коррективы вносились разные и часто довольно непрекрасимые.

А хватало ли всегда мужества выступить против того, с чем чувствовал несогласие? Об этом я не берусь судить, тем более что это вопрос более общий, и уж никак нельзя его ставить применительно к одному человеку. Мне кажется, правдивее всего, если каждый человек поставит его сам перед собой и решит в соответствии с совестью и убеждением.

Ошибки, просчеты, цепь самообманов во имя «главного», боязнь глянуть подчас фактам в глаза и даже простому страху (удивительного и в нем не было ничего), безоговорочная вера в авторитет и разные вытекающие отсюда последствия — все это можно объяснить, только тщательно изучая, как говорится, «историю вопроса». И наша задача, писателей старшего поколения, — рассказать молодежи все, чтобы она научилась мыслить исторически, не судила скороспелым по одной из сложнейших эпох истории человечества и вместе с тем не повторила нашего, во мно-

гом трагического опыта, не допустила больше никогда повторения того, что называли «периодом культа личности».

Непростителен был, по-моему, если думаешь об этих самых трудных годах, цинизм. А вот его и капли не было у Фадеева. Он и его совесть никогда не разлучались, только не всегда жили дружно. Это было тяжелое единоборство, и не только чувств, но и мыслей... Вот что нужно, по-моему, учитывать, когда мы говорим о нем.

...Я забрался, кажется, в слишком глубокие дебри. Поэтому вернусь к тому, с чего начал...

Удивительная многогранность и столь же удивительная противоречивость Фадеева, а также истинная широта натуры позволяли ему общаться с несмалым количеством людей, и почти к каждому человеку он повораживался другой гранью, благо, их было у него много.

Этим объясняется, наверное, и то, что писатели, различные по таланту, характерам и литературным взглядам, — все видели его по-разному, у каждого оставался единственный, «свой» Фадеев. Понимая все тоже по-разному вспоминали о нем. Но главное, что вспоминают.

Как раз потому и этот портрет никак не претендует на полноту. Несомненно только одно: что я видел его ТАКИМ, для меня Фадеев был ТАКОЙ, каким я его здесь представлял. Разумеется, и я мог бы еще много добавлять, но всему свое время.

Сегодня мы, конечно, можем уже рассуждать о дурных чертах, непростительных ошибках и страшных преступлениях известного периода нашей жизни. Я убежден, что частично они были известны Фадееву, и он немало мучился этим.

Фадеев много лет руководил Союзом писателей, да в какие годы! А ведь мог бы и отстраниться, для этого он был достаточно талантливым и известным. Но Фадеев принадлежал к тому поколению коммунистов (пусть лично у Фадеева играла роль подчас и другие мотивы), которое считало себя ответственным — как это ни звучит, быть может, и высокопарно — за события всемирно-исторического значения. Он был из того поколения коммунистов, которым совесть не позволяла отойти в сторону. (Надо заметить, что от этой привычки трудно отказаться даже и в более преклонные годы.)

Нет, нелегко было Фадееву, как он осторожно выражался, в «суровые времена». Я уверен, что будь кто-нибудь другой на его месте, «суровое время» унесло бы еще гораздо больше писателей. Толчки землетрясений — я выступаю тут как свидетель — Фадеев смиял, как мог, во всяком случае, пытался смиять.

Часто не удавалось ему защитить людей, которых он, бесспорно, хотел защитить. И не раз мешали этому и дурные свойства многих писателей, те самые, что идут от психологии кустаря-одиночки, от зависти, соперничества, от того, что иные писатели, клеймя своих товарищей, думали таким образом утвердить себя, навить себе цену. Если сейчас эти свойства, как говорится, «перезагружены», причиняют «терпимые неприятности» — я говорю вовсе не об идейной борьбе, — то в «суровые» или, по выражению Леонида Мартынова, в «крутые времена» они несли в себе настоящую опасность, могли стать причиной трагедии, да и становились не раз.

Фадеев это отлично понимал. Потому, быть может, и сердился он так, когда кто-нибудь сплетничал или недоброжелательно отзывался о своем товарище-писателе.

Помню, это было летом 1949-го. Также в круто замешанное время. Мы сидели после обеда с Фадеевым у него на даче, и вдруг зашел один поэт. И этот

известный поэт, заговорив с другом, еще более известном поэте, сказал, что, мол, тот в пьяном виде произносит разные «святоотцовские» речи. Фадеев слушал, слушал. Шел у него все больше краснела. И наконец он не выдержал.

— Разница между вами в том, — глуховатый голос его звучал все выше и выше, — что ты даже и пьяный умеешь скрывать свои мысли.

Он встал и вышел из комнаты. Самшину было, как подымается к себе наверх, в кабинет. Ступеньки лестницы сердито скрежетали под его обычно такими легкими ногами.

И вернулся он вниз только тогда, когда увидел из окна кабинета, что вышеупомянутый поэт затворил уже за собой калитку сада.

XXVII

1955 год. Год, предшествовавший XX съезду. Ото всюду несло: реабилитировали того, реабилитировали этого. Назывались известные и незнакомые имена. Волнение нарастало. Весть организму не проще переносит здоровое уменьшение атмосферного давления, чем его болезненное нарастание. Хотя, кажется, что может быть прекраснее естественного состояния!

21 февраля 1956 года. В «Правде» — статья «Семидесятилетие Бела Куна». Это было одним из волнующих событий...

Дома у нас два дня беспрерывно звонит телефон. Мы узнали, что у нас еще гораздо больше друзей, чем предполагали... И вдруг очередной звонок, около часу дня.

— Агнеш! — Даже ко мне доносится из трубки высокий, хрипловатый голос Фадеева. — Агнеш! — Он уже почти звенит от радости. — Поздравляю! Рада! Счастья!

— А как же вы пробиваетесь к нам?

— Да вот два часа сижу в телефонной будке и все пробиваюсь. Очень рад, очень рад! — глухо звенит его голос. — Вот видишь, Агнеш, вот видишь, все хорошо, все хорошо! Передай Анатолию, что я счастлива за вас. Приходите! — И голос его оборвался в рыданье.

...Он ждал нас в коридоре. Поцеловал меня, потом подошел к Агнеш и, чего не делал никогда, спросил: — Можно, я и тебя поцелую? — И тут же сказал: — А все же Ракоши не удалось ограбить Бела Куна, приписать себе все его дела. Ха-ха-ха!

Худой и высокий, в выцветшей голубой пижаме, он пошел вперед упругим шагом, стараясь держаться еще прямее обычного. Повел нас в свою больничную «квартиру». Несколько смущенный, как всегда, когда мы навещали его в больнице, сел на стул у стены и предложил нам сесть. В глазах у него сосредоточенность: видно, думал о том, чем бы занять нас, чтобы мы не расспрашивали его о болезни. (Заговорить сразу о самом главном, видно, не хотел.) Неожиданно оживился. Нашел! В глазах вспыхнули слезы и не прежние голубые искорки, то хоть будто воспоминания о них. Он подошел к столу и взял объемистую папку.

— Видишь, все готово!

И уже не впервые рассказал мне о том, что пришел к нему Преображенский и предложил собрать его статьи; он, мол, долго отнекивался, но Преображенский настаивал, работа пошла, а потом он уже и сам увлекся.

— Да, да, да, статьи попадаются интересные. Выйдет, так сказать, целая история советской литературы... И знаешь, Анатолий, мы были не так уж глупы... Вот, послушай...

Фадеев стал читать длинные отрывки из статей, все более увлекаясь, комментируя их различными воспоминаниями, то и дело восклицая: «А помнишь? Помнишь!»

Но вдруг устал, потерял интерес. Отодвинул папку. Агнеш заговорила о каком-то романе, напечатанном в одном из журналов.

— Не читал, — нервно сказал Фадеев. — До сих пор мне ведь посылали все журналы. А теперь решил, видно, что я не у дела и посылаю не стоит... Вот я и остался без журналов! — и зазвучал стереотипный горловый смех. Но в нем слышалась тревога.

Разговор оборвался. Стемнело. Все трое сидели мы, словно пригвожденные к стульям. Фадеев у стены, резко похудевший в больнице, как и всегда. (Там он уж вовсе неукоснительно соблюдал диету.) Но сейчас больно было смотреть на него. Шел красная, морщинистая, старая. Даже второй подбородок висит мешочком. А в глазах ни капли голубизны — выцветшие, усталые, ускользающие. Видно, ему было очень тяжело.

Агнеш встала и спросила его с той прямоотой, от которой, в подобных случаях, он был готов бежать на край света:

— Александр Александрович, будете вы еще пить?

— Буду, — ответила Фадеев, даже не рассердясь, и тоже встал.

— Да ведь врачи говорят, что у вас цирроз печени, — решила Агнеш огоршить его, испугать, применить очередные «воспитательные меры». — Вы же умрете тогда...

— Никакого цирроза у меня нет, это только врачи пугают. И не беспокойся, не от этого я умру...

Агнеш попыталась еще что-то сказать. Я оборвала ее:

— Перестань воспитывать Саму!

Кинул мне благодарный взгляд, Фадеев заговорил: — Да, да, Агнеш, я совершенно здоров, а вот бедный Сamed, тот, наверное, померет. — И он сел, обрадовавшись, что может говорить уже не о себе. Долго и сочувственно рассказывал о Бургуне. В Кремлевской больнице в это время лежала Сamed Бургун, Маршак, Кончаловский и директор Гослитиздата А. К. Котов. — Сamed, наверное, померет... Как легких у него. Таинственный поэт. А вот со стихами у него беда. Половина к черту полетит...

— Почему?

— Да потому, что у него половина сочинений Сталину посвящена. Да, да! — И он задумался...

А потом снова стал вспоминать о дальневосточниках, о своей юности... Кто знает, который раз...

Сажу. Смотрю. Фадеев на глазах меняется. То молодой, то старый; то оживлен, то утомленно озирается вокруг.

— Саша! Ты устал, — говорю я. — Мы пойдем...

— Не-ет! Не уходите, ребята!

В это время зашла медсестра. Принесла судки со скудным ужином. Фадеев присел за столы и сказал:

— Уж извините, что не могу вас угостить. Буду есть один, как и положено в тюрьме. (Так называл он обычно свою больничную пауту.)

Мгновенно проглотив куриную ножку, ны к чему больше не притропувшись, он пересел опять на свой стул у стены. Заговорил о книге венгерского писателя Гезы Гардины, о «Звездах Эгера», к которым я написал беллетризованное предисловие для детей. Фадееву очень понравилась эта книга.

— Я почти целиком прочел ее здесь вслух Котову. Посоветовал и ему издать ее в Гослитиздате.

— Скажи, Саша, ты узнал себя в предисловии в образе казака? Ну как, похож ты вышел или нет?

— Похож-то похож... Вот только одно ты упустил: забыл написать о моем властолюбии...— И он рас- смеялся с нескрываемой горечью.

Я понял, на что он намекает. Об этом говорил на съезде один из писателей.

Но вдруг, отведя и этот разговор, Фадеев повернул- ся ко мне, положил руку мне на колено.

— Ты, Анатолий, все обижался, что я долго не хотел ставить вопрос о твоём восстановлении в партию. Теперь-то понял, почему? К кому же попало бы твоё дело? И чем кончилось бы всё? Посадили бы тебя опять. Были подобные случаи... Так мог ли я пойти на такой риск? Теперь-то ты понимаешь, Анатолий?

И не успев я ответить, как он снова мгновенно за- говорил о другом — с восхищением, с почтением — о Кончаловском.

— Богатырь, богатырь, могучий человек! И жена его тоже могучая женщина. Оба они верующие, и столько в них спокойного величия! Когда Кончалов- скому стало уже совсем худо, я начал утешать его жену. А она сказала мне, спокойная, протестантская: «Саша, ты не утешай меня, я ведь совсем спокойная. Мы же с Петей ненадолго растаемся. Скоро встре- тимся на том свете. Петя тоже спокойный». И сказа- ла она это без малейшего сомнения. Такие могучие были они оба своей верой в бога, в загробную жизнь. Богатыри, русские богатыри! — возбужденно восклик- нул Фадеев. Потом продолжал еще более возбужден- но: — Но разве слабее, немощнее наша материалисти- ческая философия? Нет, нет! Еще сильнее, еще могу- щественней. Энгельс просит разрезать свой прах в мо- ре...

Я привел ему строки из стихотворения Уитмена «Умирающему».

— Да, да! — воскликнул Фадеев. — Вот видишь: Двадцатый съезд... Сколько отчаянных перемен... И так я рад за вас! — Он заговорил о Бела Куле, о лю- дях ленинской гвардии. — А мы-то думаем: умирали, политические мертвецы. Нет, нет, живые... Вот и Бе- ла Кул, один из самых романтичных героев нашей юности... Интернационалист... Можно сказать, обра- зец интернационализма...

Взгляд его остановился, а он, как будто решил про- демонстрировать свою противоречивость, заговорил совсем о другом.

— Но то, что было недавно сказано об Иване Гроз- ном, мне совершенно непонятно. Это же не марксист- ский подход. Иван Грозный был великий русский государственный деятель. Создатель российской державы... И таким образом, он был, так сказать, несом- ненно, прогрессивной фигурой в истории...

Агнешь ринулась в спор. Душевная, дружеская ат- мосфера нарушилась. Мы долго молчали. Потом Фа- деев сказал, будто самому себе:

— Да, все это — только начало начал...

Наконец, в половине одиннадцатого ночи мы по- днялись. Фадеев больше не удерживал нас. Пошел прожывать по тускло освещенным коридорам больни- цы, до самой лестницы. Мы остановились на пло- щадке. Он обнял меня, потом как-то мгновенно отстранил. И, когда мы спускались уже вниз, давно затихшая больничная лестница огласилась вдруг его голосом:

— А вот когда я умру, пусть и мой прах развезут в море, как и прах Энгельса...— Он высоко вскинул руки и громко, почти торжественно сказал: — Да, да, это великая победа материалистической мысли!

И так он стоял с высоко поднятыми руками, пока не скрылся с наших глаз.

Воскресенье, 29 апреля 1956 года, мы поехали в Переделкино. (То, что эта дата так точно запе- чаталась у меня в памяти, объясняется события- ми, которые произошли две недели спустя.)

Приехали мы к Фадееву посоветоваться по одному очень сложному вопросу, который я, по своему обык- новенно, хотел разрешить, не глядя ни на кого и ни на что, без остатка излив на бумаге все, что на- кипело за много лет.

Фадеев с непривычным для меня раздражением прислушивался к этому извержению Везувия.

— Так что же, врать прикажешь? — спросил я вдруг уже со злостью, почувствовав его несогласие.

— Врать не надо. Но и время для такого ответа еще не пришло. А предпринимать что-нибудь до вре- мени так же неправильно, как и упускать нужный момент... Да, дипломата из тебя явно не выйдет, — добавила он задумчиво. — Ведешь себя, что твой гос- подин Фидел. Ведь, по сути дела, и он всегда был прав, а все же каждый раз оставался в дураках. Фадеев размышлял о чем-то. Потом поднял глаза к написанному на стене портрету Сталина.

— Да, этому человеку я верю... — произнес он, как бы отвечая своим мыслям.

Мы сидели наверху в кабинете: Фадеев, жив- шая у него на даче Кинпович, Агнешь и я. Фадеев принялся вдруг рассказывать какую-то забвную ис- торию о некоей истеричной девушке, письмом которой к нему начиналось словами «О мой властелин!»

— Также ведь угадала мое властолюбие, — уже ве- село заметил он, и, не зная я его так хорошо, мог бы подумать, что он снова здоров, в форме и все в порядке. Но этот гордый человек, забывший, верно, что он уже говорил нам об этом, сказал без всякого перехода:

— А вот ведь журналы перестали мне посылать...

Я отчасти понимал, что речь вовсе не о журналах, а о людской неблагодарности. Потому и восприни- мал он с такой болью этот, в сущности, пустяк в сравнении со всем остальным. А мне больше всего было то, что Фадеев уже не умеет скрыть своего бес- покойства, высказывает его, желая пояснить, что мы скажем на этот ничтожный факт, что он значит, кроме того, что значит. Словом, больно было, что этот с виду еще сильный человек очень болен, утратил равновесие, не в силах держать в руках свою жизнь, что в нем водарился тот беспорядок и сумятица, ко- торые он сам ненавидит больше всего. И как ни ста- рался он говорить решительным тоном, смятение крылось за каждым его словом.

Мы сели ужинать. Он поставил передо мной гра- фин и сказал больше с грустью, нежели с гордостью:

— Я не пью...

— Мне тоже не хочется, — непринужденно отве- тил я и отставил графин.

Тут он развеселился внезапно. (Эти скачки настро- ений стали все более характерными для него.) Обеи- ми руками пригладил голубовато-серебристые воло- сы, еще ярче заблестевшие в сиянии лампы. (Фадеев принадлежал к той породе мужчин, которые хоро- шенют с годами. К пожилым годам он стал гораздо красивее, чем был в юности.)

...От стола мы встали поздно вечером. Фадеев по- шел прожывать нас на станцию. В лесу только не- давно стоял снег, было еще сыро. Фадеев надея рез- инзовые сапоги. Его худой, натянутый, как струна, стан казался еще выше.

Звездная, лунная ночь. Кинпович с Агнешь пошли

вперед. Мы с Фадеевым шли за ними. Я рассказывал ему о романе.

— Три года уже пишу, и кто его знает, когда закончу.

...В сотни образов помню я Фадеева, но острее всего запечатлелся у меня в памяти тот, что шел со мной по лесной просеке и бог знает который раз говорил о своей, о нашей юности. О том, что, став мы снова молодыми, какие бы трудности ни выпадали на нашу долю, все равно ввязались бы за то же самое.

Мы стояли уже на платформе. Электрички приходили каждые пятнадцать — двадцать минут. Мы все пропускали их.

Потом — было уже очень поздно — начали прощаться.

— Прощай, — услышала я.

Тогда это прозвучало тихо, а с тех пор все громче, все более потрясающе звучит для меня.

...Когда-то, лет десять назад, сюда еще с грохотом и треском прибывали паровозы и с таким же грохотом и фырчанием отбывали дальше. А теперь почти безмолвно причаливают к платформам стройные электрички.

— Как прекрасен был полный жизни паровоз, — сказала я, — когда он в дыму и в пламени, ворча и громясь, останавливался на станции, весь дрожа от напряжения! Не может быть, Саша, чтобы техника изгнала чувства из мира. Тогда уж лучше к черту ее, и прав Толстой!..

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Фадеев. — Ты тоже становишься консервативным!

И он быстро пересказал Кинпович мои слова. Видно, и они разговаривали уже об этой «консервативности».

...На станции не было уже никого. А мы все говорили и говорили, чуть не выхватывая слова друг у друга. Говорили, что писателям XIX века не приходилось грустить хотя бы о том, что они написали меньше, чем хотели. Конечно, настоящие художники и всегда-то с сомнением взирали на то, что же вышло из той туманности Канта — Аппаласа (словом, из того, что они чувствовали) и что стало плотью (тем, что написалось); настоящие художники всегда были недовольны разницей между туманным представлением и тем, во что оно вылилось. Революционный писатель XX века выпадал на долю еще одна боль. Он и по количеству сделал много меньше, чем хотел. Писатель нашего поколения был занят и организационной, и пропагандистской работой, и непосредственной политической борьбой. Все время отдалека от того, что называется «творческая работа». Но это был приказ революционной эпохи. И мы приняли его. И приняли бы опять, если пришлось бы начать вновь.

Редко говорили мы о таком с Фадеевым. А теперь на этой ночной платформе словно отчитывались: мы, ответчики за эпоху, не могли поступать иначе. И все-таки было больно. И, чтоб выразить это, я прочел Фадееву одно свое стихотворение, перевел его прозаически. (Я привык Фадееву читать те свои стихи, которые нельзя было еще печатать.)

Я съел половину своего хлеба
И стал, чем стал.
От всей души говорю:
Нет надо мной печали.
Одна у меня забота.
Из того, что я мог,
Даже половины не сделал.

Он закурил губы. Сжал мою руку. И, подавив хлынувшее через край чувство, начал рассказывать одну историю (себя или меня хотел утешить?).

...И тогда во Владивостоке была такая же апрель-

ская ночь. Они лежали в сарае с Гришей Билияменко, укрывшись одним овечьим тулопом. Дверь сарая была открыта. Они смотрели на звезды. Сначала говорили о любви. Потом делались фантастическими планами, открытиями. Гриша изобретет самолет, на котором можно будет летать до звезд.

— Я до сих пор слышу запахи овчины, которой мы укрывались... А над нами сверкало тихоокеанское звездное небо...

И впервые сказал мне Фадеев, что и Гриша Билияменко, и Петя Нерезов, и Паша Цой погибли в 1937 году.

...Снова, бог знает который раз, причалила к платформе электричка, сияя желтым светом окон. Теперь и в самом деле пришлось проститься. Мы зашли в вагон. Выглянули в окно. Видно: Фадеев идет. Постучали ему. Он подошел. Поезд медленно тронулся. Мы помахали друг другу. «Прощай!»

Станция все дальше отступала. За окнами лес... Тьма... Я сел на скамейку. Тяжело было у меня на сердце. Агнеш тогда сидела, молча уставившись перед собой.

Что же будет с Фадеевым? С виду еще крепкий, красивый, здоровый. А изнутри что-то наступают на него... И он уже все меньше и меньше в силах справиться с этим.

«Разгром» — было заглавие первой и лучшей его книги. Неужто разгромом кончится и его жизнь?

XXIX

В первых числах мая в Москве, как и обычно, наступил холод. Я лежал в гриппу. С температурой пошел выступать на телевидение. Помню, говорил о Матэ Залке. То ли из-за гриппа — он и всегда-то расшатывает мне нервы, — то ли из-за нехватки, но на меня накатили хандра, которая уже давно не навещала. Последняя встреча с Фадеевым, разговор на переделькинской платформе — все застряло в голове, и я никак не мог это «переварить».

Несколько дней спустя поправился. Улучшилась и погода. Числа десятого позвонил Евгения Федоровна Кинпович.

— Саша просит передать, что любит вас, крепко целует... Желает всего хорошего... И просит не забывать его...

«Что это такое?» — думал я, слушая ее. Никогда не передавал он таких сентиментальных приветов. Но конец телефонного разговора успокоил меня:

— На днях он сам позвонит, и тогда приедете к нему.

...В тот день над Москвой сверкало прекрасное ярко-синее небо. Было воскресенье. 13 мая. Над городом, будто он глубоко вздохнул, распахнулись ясные небеса. Только высоко-высоко блуждало несколько тучек.

Мы равно побеждали, потому что наша Маруся — уже тридцать пять лет вела она у нас хозяйство — хотела пойти к сестре. Зычно крикнув: «Ну, я пошла», — она прошакала к дверям. Я остался один. Агнеш побежала вниз на угол к Кропоткинским воротам купить номер «Нового мира», в котором был напечатан роман моего погибшего друга Бруно Ясенского «Заговор равнодушных». Жена Бруно Ясенского — Анна Берзиня — еще зимой читала нам отрывки из этой случайно уцелевшей рукописи. По-

трясающе звучал эпиграф, взятый Ясенским в 1937 году: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предадут, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

— Я сел за стол, чтобы ответить на письма, полученные во время болезни. Первым положил перед собой письмо из Будапешта от одного венгерского поэта. Он писал о том, что каждое утро, когда встает, часами размышляет о том: стоит ему жить или нет? Этому хорошему поэту, а стало быть, и умному человеку мне хотелось написать что-то очень убедительное.

Я выпянула в окно, уставился на синие московские небеса. И мысли, образы зашвырнулись в голову. Медленно, каллиграфическими буквами — чтоб было еще время подумать — написал я обращение. Потом после нескольких шуточных вступительных слов перешел к сути дела: «Что же касается самоубийства...»

И в тот же миг гаркнул на меня телефон, до того тихоко стоявший на столе. Дребезжащий звон напугал меня, прошел от головы до пят.

— Я слушаю!

— Анатолий? — забился в трубке голос Валерии Осиповны Зараханы, секретарши и свояченицы Фадеева. — Немедленно приезжай за мной... Саша застрелился... На даче... Достань хирурга...

— Хирурга? — крикнул я. — Так он жив?

— Не спрашивай ничего... — Трубка была брошена. Что делать? Агнеш ушла. Оставить записку? Перегнать до смерти.

Но вдруг слышу — отворяется дверь в прихожую. Кричу:

— Валя звонила!.. Саша застрелился!..

Рывок к телефону. Агнеш Дрожжащими пальцами набирает номер. Слышу, хотя трубка прижата к уху:

— Говорю же, не спрашивайте ничего... Приезжайте немедленно.

Мчусь вниз. И о чудо из чудес! На углу вашей улочки, улицы Фурманова, стоит пустая машина. Видно, ждет «левого» пассажира. Шофер соглашается ехать. Сперва мчим в Газетный, за Валерией Осиповной, и оттуда в Переделкино.

Машина несется по широкому Минскому шоссе.

— Как ты думаешь, он жив? — уже десятый раз спрашивает Агнеш, так что я даже не отвечаю ей. Врываемся в сад. Через кухню мчимся в столовую. Там сидят рыдком Федин и Всеволод Иванов. Два-три слова. Несемся вверх по лестнице. В дверях боковой комнаты стоит Кинпович и молча указывает на кабинет. Входим. Голый по пояс, высоко, на двух подушках лежит Фадеев. Рот открыт. Правая рука откинута... Рядом наган.

Больше секунды не выдерживаю, Шатаюсь, выхожу из комнаты. Нет, даже не крик, а какой-то звериный лай выпрыгивает из меня.

— Что же это такое? — спрашиваю Кинпович, которая стоит оцепеневшая, неподвижная, руки опущены (на египетских картинах встречаются такие женские фигуры).

— В два часа Минка поднялся к отцу и...



Памятник на могиле А. А. Фадеева (Москва. Новодевичье кладбище).

(В два часа сел я писать письмо.) Переделкино словно взбудораженный улей. Все рвется в дачу. Валерия Осиповна никого не пускает.

Приехал Сурков. Увидев Фадеева, закричал не своим голосом: — Это не он, это не он... Сашка! Что ты наделал! Что ты наделал!

Мы с Сурковым уезжаем в Москву. По дороге миллионер оставивает нашу машину, которая несется с недоуздочной скоростью. Этот будничнейший инцидент заставляет Суркова прийти в себя.

Союз писателей. Сурков звонит повсюду. Я звоню Агнеш в Переделкино.

— Только что увезли его, — говорит она. — Когда прощались и я поцеловала его в лоб, он был совсем теплым... И волосы пахли одеколоном...

— Среда. Дом Союзов. Десять часов. Оркестр играет траурный марш Шопена. Вместе с Тихоновым и Агнеш стоял я в почетном карауле у гроба.

Перед этим Маршак рассказал, что в субботу вечером Фадеев был у него и долго говорил обо мне. Что говорил, он потом расскажет... Что же?

Гроб поднимают. Он качается, окруженный штуканми, и выплывает на улицу.

Новодевичье кладбище. Помню речь Суркова, его прерывающийся голос:

— Саша, пусть тебе духом будет земля.

С кладбища вернулись вместе с Тихоновым прямо к ним. На поминки.

Уже серело зареное небо, когда мы с Агнеш возвращались. На Каменном мосту я начал читать стихотворение Эндре Ади:

Хоть туда, хоть сюда

(Тыкая прекрасная весенняя ночь)

Мы можем идти

Только со взбаламученным сердцем.

Хоть туда, хоть сюда.

Когда я начал писать эти воспоминания, я был снова в Москве, сидел в той же самой комнате возле того же телефона — и грези.

— Алао... Анатолий? Говорит Фадеев.

— Это ты, Саша? Как хорошо, что ты позвонил! Сколько всего случилось с тех пор! А я-то думал... Говорили ведь, что...

— И ты поверил, что я мог?..

— А что мне еще оставалось?.. Своими глазами видел. Но, по правде сказать, до сих пор не верю...

— И правильно делаешь. Знаешь, что?.. Приезжай ко мне в Переделкино...

Напрасно поехал бы я в Переделкино.

Поэтому он пришел ко мне на улицу Фурманова и, что еще более странно, приехал даже в Будапешт, а потом и на Балатон.

Пять долгих месяцев, что я писал о нем, он был все время со мной.

И теперь больно, что я закончил. Снова надо расставаться.

Москва — Будапешт — Балатонарач.

Май — сентябрь 1963 года.

Перевод Агнесы КУН



Фото В. Шиня,



Его зовут Мстислав Иванович. Но когда я спросил о нем у пожилой колхозницы, она недоумевно пожала плечами.

— Что-то не знаю такого, — сказала она. — Садоводом у нас Славик. Гайдин ему фамилия.

Узнав, что Славик и Мстислав Иванович — одно лицо, она искренне удивилась.

— Славка, Славик, Слава — мы так его кличем, — словно оправдываясь, сказала она. — Только вы его не слышите, в садах небось. Вон.

И она кивнула на горы, заслонявшие добрую четверть неба.

Славик Гайдин. Звучит как-то по-мальчишески. Ласково и несомненно. А он и в самом деле похож на озорного мальчишку. Глаза у него светлые, насмешливо-задиристые и очень ясные. И лицо подвижное, с лихим чудом, выбивающимся из-под соломенной шляпы, по такому лицу всегда можно понять, в каком настроении человек.

Мне частенько доводилось слышать: «Нечего обо мне писать. Не лучше других». Бывала в таких словах и стыдливость, бывала в них и доля рисовки: мол, вот я какой скромный.

Но Славик не произнес традиционных слов. Он насмешливо взглянул на меня и сказал с вызовом:

— Не надо, с работы выгонят. У меня и так последнее предупреждение.

Гайдин окончил сельскохозяйственный институт в Алма-Ате, и работать его направляли в колхоз «Алатау». Оттуда пришел запрос: хотим Гайдина, мы знаем его, он проходил у нас практику.

Практику проходят все студенты. Но далеко не всех выпускников приглашают вернуться в тот же колхоз на постоянную работу. Чем же понравился Слава колхозникам «Алатау»? Он был еще практикантом и не знал, что ему придется здесь работать, но уже тогда решил: хозяйство надо перестроить!

Он говорил об этом везде и каждому. На заседаниях правления, в клубе, на танцах. Говорил старинку агротехнику Николаю Семеновичу Змейкову и мальчишке Витке Ефименко, который сразу и безоговорочно влюбился в Славика.

— Болтуни! — презрительно отозвался о нем бригадир Василий Баев, человек хмурый и озлобленный.

— Молодой, — заметил Змейков, не любивший делать скорованительные выводы. — Нетерпеливый.

Славе действительно не терпелось. Он знал, что садоводческое хозяйство не может расти без питомника. Слава заявил об этом в правлении колхоза. Ему ответили: «Подождем. Есть более неотложные нужды». А Гайдин не хотел ждать. Он отправился в питомник садоводческого хозяйства и отобрал для колхоза саженцы, похожие на прутики.

Нужны были наличные деньги. «Нету», — сказал Славе председатель колхоза.

Слава написал матери и кое-кому из друзей. Переводы пришли быстро. И в один из прекрасных дней Гайдин привез в бригадный стан саженцы яблонь.

— Это зачем? — спросил его Баев. — Где взял?

— Купил, — ответил Слава. — Главное дело — начать. Современное садовое хозяйство не может существовать без питомника.

И он отправился копать ямки на участке, что пустовала возле бригадного стана. Бригадир не возражал: чем бы дитя ни тешилось...

Практика подходила к концу. Однажды, выбравшись в город, Слава зашел в свой институт. Там в канцелярии лежала посылка, адресованная профессору Драгавцеву.

— Из Ташкента, — пояснила Славе секретарша директора. — Усы нового сорта земляники. «Бомба» называется.

Слава начал вскрывать посылку.

— Что вы делаете? — возмутилась секретарша.

Слава улыбнулся — у него была обаятельная улыбка.

— Профессор разрешил мне взять немного усов, — сказал он. — Этот сорт интересно испытать в колхозных условиях.

Секретарша пыталась посмотреть на Славу, Славина улыбка дышала искренностью. А профессор Драгавцев потом долго смеялся.

— Не надо сердиться, — сказал он сконфуженной секретарше. — В данном случае средство оправдано целью. У меня и у Гайдина одна цель.

Председатель колхоза заварила Славе машину: надо было привезти семенной материал. Но Гайдин сначала поехал в другую сторону — в соседний колхоз «Вторая пятилетка».

Известный в Алма-Ате селекционер Николай Никитич Моисеев вырастил там маточное дерево нового сорта яблони. Этот сорт пока еще не имел имени и назывался «речет Бурхарда, сеянец номер два». Но Слава отлично знал его: большое, красное, сахар-



ристое яблоко, созревающее осенью и способное лежать до мая. Знал это Слава потому, что считал себя учеником и последователем Моисеева.

По пути Слава заехал к Моисееву. Но его не оказалось дома. Слава едва не заплакал от досады: не каждый день в распоряжении практиканта бывала машина.

Он оставил Николаю Никитичу письмо, Сообщил, что колхозу «Алатау» позарез необходимы черенки решета Бурхарда номер два. И пошел в правление колхоза «Вторая пятилетка».

Ни председателя, ни главного агронома там не оказалось. Славе не везло. Но он был упрям. И отправился в сад.

Сторож не подпускал Славу к дереву.

— Застрелю! — кричал он, направив на Гайдина старую берданку.

Тогда Слава залез обратно в машину, вырвал из тетради лист и написал записку: «Разрешаю Мстиславу Ивановичу Гайдину срезать черенки с маточного дерева моей селекции решета Бурхарда номер два». И подписался: «Н. Моисеев».

Старик долго вертел в руках записку.

— Николай Никитич не смог приехать, — вдохновенно сочинял Слава. — Вызвали на совещание в облисполком. Туда, кстати, ваш председатель тоже укатил.

Сторож знал, что председатель колхоза уехал в область. И сдался.

Рассказывая мне эту историю, Моисеев улыбался.

— Слава действовал наверняка, — говорил он. — Теперь у них в колхозе мой сорт прижился. А от этого всем хорошо.

Слава прививал черенки нового сорта в саду своего колхоза. Помогал ему Витя Ефименко. Рядом, занятый работой практиканта, стоял агротехник Николай Змейков.

Витя острым садовым ножом надрезал кору дерева. Слава нахмурился и слегка шлепнул мальчишку по затылку.

— Я как учил тебя делать надрез?

— Ой, извини! — смущенно пробормотал Витя. — Задумался.

Некоторые время они работали молча. Потом Витя Ефименко, старательно обмазывая ранку садовым варом, сказал:

— Все-таки я не понимаю. Кончается твоя практика. Славик, и ты уедешь. Яблоки вырастут без тебя. Ты их даже и не увидишь.

— Что же, я их выращиваю для себя, что ли? — спросил Слава.

— Нет, это-то я понимаю, — сказал Витя. — Но ведь интереснее же. Как приживется новый сорт? Или питомник, какой он получится? И сад молодой! Ведь интересно, а?

— Ааааа, — угрожно прервал его Слава. — Я не увижу — ты увидишь. Не все ли равно?

Николай Семенович Змейков, прислушивавшийся к разговору, откатываясь и правоучительно заметил: — Человек должен оставлять после себя добрый след.

Через год, когда пруттики-саженцы в питомнике покрывались сочными листочками, а черенки нового сорта яблок пустили молодые побеги, правление колхоза написало в сельскохозяйственный институт:

«Принимите нам садоводом выпускника Мстислава Гайдина».

Правление колхоза «Алатау» направляло делегацию в Москву на Выставку достижений народного хозяйства.

— Славу надо послать, — неожиданно предложил Василий Баев. — Он парень шустрый, и, главное, не о себе думает...

И Гайдин поехал в Москву.

Павильон «Садоводство» осматривала правительственная комиссия.

Густой аромат поднимался над рядами красиво уложенных груш, яблок, слив, персиков.

Слава стоял возле стенда своего колхоза и ревниво следил за комиссией — она задержалась у мичуринских сортов.

— Прекрасное яблоко! — проговорил председатель правительственной комиссии, указав на бельфлер-китайку. — Не хуже знаменитого апорта.

Славик сделал нетерпеливое движение. Чуб выбился из-под шляпы, светлые глаза сердито прищурились.

— Спокойно, Слава, — шепнула ему методист павильона: он, видимо, уже знал Славиного характер.

Слава только крикнул. А когда комиссия подошла к стенду его колхоза, он быстро и ловко отрезал ломтик яблока.

— Попробуйте лашу бельфлер-китайку.

Председатель правительственной комиссии взглянул на раскрасневшееся лицо парня, взяв кусочек яблока, съел и улыбнулся.

— Да, — проговорил он, — один сорт, а яблоки разные.

— В предгорьях Алатау выросло, — гордо заявил Слава.

Он победно взглянул на методиста.

Схватив большое красное яблоко, Слава отрезал ломтик и от него.

— Попробуйте вот это. Новое.

— Я не обедал, — улыбувшись, сказал глава комиссии. — Вы мне аппетит отобьете.

— Наоборот, — возразил Слава, — разовью. Возмите, пожалуйста.

Председатель комиссии взял и, вдыхая медовый аромат, надкусил. Его брови удивленно поднялись.

— Ого! Что за сорт?

— Незаконнорожденный, — ответил Слава. — Пока у нас его узаконят, какие-нибудь американцы привезут такие яблоки и выдадут за свои.



Слава Гайдин (слева) и Н. Н. Моисеев.

Кто-то из комиссии взял Славу за рукав. Он выдернул руку.

— Дайте поговорить с человеком! — сердито сказал он.

Председатель комиссии расхохотался. Засмеялись и окружающие.

А Слава, боясь, что его прервут, торопливо проговорил:

— Специализация нам нужна. Вот так необходимо!

Он провел ребром ладони по горлу. И так же торопливо, глотая слова и перескакивая через мысль, стал доказывать, что в предгорьях Алатау растут лучшие в мире яблоки. Природа там создала идеальные условия для яблоневых садов. А крутые склоны и ущелья — земли, неудобные для земледелия, — ведь это же целина под горные сады! Зачем же там заниматься животноводством, свекловодством, овощами, полеводством? Это же невыгодно ни государству, ни колхозникам! Специальное плодово-ягодное хозяйство — вот что выгодно! Механизировать его, создать автоматизированные поточные линии — как было бы здорово! Завод по производству плодов, а?

Славино лицо, обожженное горным солнцем, заблестело капельками пота. Нож, которым он разрезал яблоки, вытерчивал в воздухе зигзаги.

— В глаз себе не угодите, — сказал председатель комиссии, когда Слава умолк. — Завтра зайдите к нам, с вами побеседуем.

Слава вернулся из Москвы возбужденный, радостный.

— Ну, бригадир, — сказал он, встретившись с Баяевым, — требуй чего хочешь. Манной кашей с неба хочешь? Или душа жаждет молочных рек?

— Болтал бы поменьше! — ворчливо ответил Баяев. Слава не обиделся. Он повернулся к подошедшему Змейкову.

— Николай Семенович, вам сейчас никак нельзя на пенсию. Без вас трудно будет...

Мир лежал у Славыных ног, ему хотелось поскорее начать его перекрашивать. Когда пришло известие, что в адрес колхоза отружены бульдозеры, кусторезы, корчеватели, Слава совсем потерял покой. Чуть свет он отправлялся в дальние сады. Взибался на крутые холмы — «прилавки», как здесь говорили; спускался в глубокие ущелья — их называли «щелями»; переправлялся через kloконущие горные речушки. Слава выбирал трассу будущей дороги. Самую короткую и самую удобную.

Однажды он устал, как колхозники, кивнув ему вслед, рассмеялся.

— Дорожный мастер, — сказала одна.

— Шosse имени Гайдина, — сказала другая.

«Хихикают, черти!», — подумал Слава. — А потом сами же будут благодарить!»

Машины пришли, но правление колхоза решило направлять их на расчистку земли под пастбище. Слава убеждал, уговаривал, доказывал и даже угрожал.

— Поимайте, — кричал он, — без дорог нельзя культурно хозяйствовать! Силы расходуются непроизводительно! А сколько плодов гнивет, пока мы доставляем их на базу! Через несколько лет дороги вернут нам все затраты.

Спор, конечно, был не о дорогах. Спор был о том, как жить дальше. Заниматься ли по-прежнему малопродуктивным в этих местах хлебопашеством, животноводством, табаком и овощами, свеклой и травосеением или главное внимание уделить плодам и ягодам? Что полезнее, экономичнее, лучше?

Слава засел за книги, за расчеты. Он цифрами доказывал, что производительность в специализирован-

ном хозяйстве выше. Труд затрачивается меньше, плоды будут дешевле... Славу поддержал Змейков, и это никого не удивило. Николай Семенович был садоводом, влюбленным в свой край. Не он ли и внушил Гайдину мысль о том, что здешняя земля создана для произрастания великолепных плодов и ягод!

Всех удивила неожиданная позиция бригадира.

— Дороги — это поделка, — решительно заявил Василий Баяев. — Надо строить и полевые станы в «щелях». Возле дальних садов. Чтобы в страду там жить...

Удивили не только слова бригадира. Удивила его горячность: казалось, он торопится высказать все, о чем молчал раньше. Когда и председатель колхоза поддержал Гайдина, спор был решен окончательно. Дорогу начали строить. Ее так и зовут: шоссе имени Гайдина. Только теперь это название звучит уважительно.

Слава обладает редким даром заражать людей своим беспокойством. За это его один любят, другие относятся неприязненно. Безразличных нет.

Одни говорят:

— Побольше бы таких агрономов, как Гайдин!

Другие:

— Визабомонный мальчишка! Ни порядка, ни дисциплины! Фантазер!

...Мы бродили по кусочку земки, который колхоз выделял Гайдину. Этот кусочек был обнесен символической оградой: она ничего не скрывала и не утаивала. У калитки стояло небольшое строение, где Слава жила. Оно напоминало купе вагона, так строго и целесообразно был использован каждый сантиметр. Столик, стул и койка откидывались к стене. Книжная полка спряталась в углублении. Одна дверь вел в платный шкаф, другая — в душ таких же размеров.

— Некоторые смеются над моим курятником, — сообщила мне Слава. — А по-моему, красиво. Малогабаритная мебель. Стильно.

Я понял, что ему безразлично его жилище. Было бы где спать, спрятаться от дождя, вымыться. А вот когда мы подошли к яблоньке — еще совсем молодой, с тонкими веточками, одетыми в редкие яркие листья, — Славино лицо сделалось очень серьезным и даже каким-то торжественным.

— В июне цветет, — сказал он. — Когда заморозков уже не бывает.

Торжественно-серьезным было выражение лица Славы, когда мы бродили по усадьбе. Оно странно не вязалось с небрежными интонациями, заунывными в его голосе. Сначала я подумал, что в этих интонациях скрывается отношение Славы ко мне, профану в садоводстве. А потом догадался: это Славино самозащита. Он боялся, как бы я не сказал ему: «Фантазер!» А мне и в самом деле он представлялся фантазером. Действительность в его рассказе настолько тесно переплеталась с мечтой, что невозможно было их разъединить.

Слава говорил о густой сети дорог, незрешимых предгорья Алатау. А на самом деле таких дорог было всего восемь, включая шоссе имени Гайдина.

Слава рассказывал мне о каскаде искусственных озер в горах. Оттуда по трубам в колодези сады поступает вода. На самом же деле два аспиранта сельскохозяйственного университета, увлеченные Славиной мечтой, только начали работать над решением этой интересной проблемы.

Слава видел канатную воздушную дорогу, по которой на центральную плодобою колхоза спускаются корзины с плодами. А этой дороги еще не было. Выпускники факультета механизации — их тоже уба-

дня Слава — в дипломном проекте доказывали целесообразность ее строительства.

Наш разговор в тот день кончился несколько неожиданно. Слава прервал себя на самом интересном месте и хмуро сказал:

— Они могут снять меня с должности агронома. Но из колхоза они меня не выгонят. И я все равно добьюсь своего. Рядомым колхозником буду работать, а все равно добьюсь!

Все началось после того, как колхоз «Алаута» объединился с соседним большим хозяйством и начал тоже называться «Горный гигант». Новый председатель, новое правление, новый главный агроном — все было против планов Гайдина. Но Слава продолжал вести себя так, будто ничего не изменилось. Он написал статью, которая называлась «Организация садового хозяйства в горных условиях». Тут была и канатная дорога, и водоемы в горах, и полевые станы у дальних садов, и машины, поднимающие сборщика к самым плодам. Тут было все, о чем мечталось Славе Гайдину. Статья была напечатана и вызвала глухое недовольство новых колхозных руководителей.

Впрочем, раздражала не только статья. Раздражало все поведение Славы. Занимаясь с молодежью, обучая делать прививку, окулировку, обрезку, он обязательно приговаривал:

— Специализированное садовое хозяйство требует высокой культуры производства. Вот нам и надо готовиться. Заранее.

Ученики верили Славе и становились его друзьями.

Вместе с механизаторами Слава сконструировал машины для заготовки семян, для работы в горном саду. При этом он утверждал, что только специализация позволит использовать новые машины на полную мощность. Механизаторы тоже становились его друзьями. По всем пунктам Гайдина, по его поведению можно было подумать, что колхоз «Горный гигант» уже превратился в плодородное хозяйство.

Славу вызвали на заседание правления.

— Ты прекратишь свою вредную агитацию?

— А почему вредную? — обиделся Слава.

— Потому! Какая там специализация! Сады не урожат, как будем жить? И потом, где взять деньги на строительство водоемов, воздушной дороги, бригадных стантов Дояххотство! Смотри, Гайдина, не успокоюсь — снимем с работы!

Но Слава не мог успокоиться. Он был убежден в своей правоте. И опять засел за книги, опять занялся расчетами. Фактами и цифрами он доказывал, что даже при самых неблагоприятных метеорологических условиях плодородное хозяйство не будет убыточным. Сады и ягодники надо расположить на разных высотах, на разных склонах холмов. Надо учитывать микроклимат, почву, агротехнику...

Слава показала мне питомник. Тот самый, где несколько лет назад он посадил первые прутики. Теперь здесь росли ровные ряды яблоны, вишни, груш.

На сажелцах новых сортов бирки с надписями. По соседству расположился колхозный розарий.

— Цасты дадут деньги для строительства канатной дороги, — пояснил мне Слава и подвел к загорелой девушке. — Шура Шенятская, — представил ее Слава — Зеньская на питомнике. Между прочим, урядил коммунистического труда.

Шура подала мне ладошку, согнув ее ковшиком, и весело протворила:

— Как сделаем колхоз плодотворным, так все будут ударниками труда. А пока только мы, питомниководы. Потому что новое хозяйство должно и изобилие иметь хороший посадочный материал. Верно, Славик?

Слава одобительно хмыкнул:

— Вот видите!

Я видел, что питомник, которым сейчас гордится весь колхоз, уже не мечта Славы Гайдина. Питомник стал весьма ощутимой реальностью. И эта реальность приносит немалый доход.

Потом мы поехали в один из самых дальних садов. Дорога, петля по крутым холмам, незаметно взбиралась на полуторакилометровую высоту. Слава то и дело останавливал машину, мы вылезали, поднимались на склоны, бродили между тоненькими яблоньками.

— Молодые сады, — небрежно бросал Слава. И опять за его небрежной интонацией сквозила счастливая гордость. — Почти все деревья прижились, видите? А не будь дорог, не было бы и этих садов. Как бы сюда добираться? Возвращались мы другим путем.

Дорога пролетала через густые заросли на северном склоне ущелья. Машина снова останавливалась, мы вылезали, и Слава водил меня по лесу в горах. Лес неожиданно редел — неплодовые, кустарники были вырублены, — и мы попадали в яблонный сад.

— Около двадцати тысяч диких яблонь привили культурными сортами, — говорил мне Слава. — Апорт, ренет Моисеева, пармен зимний золотой... Вы знаете, что это значит? Ведь дикорастущие дают урожай на третий год после прививки. Это вместо пятнадцати — двадцати лет ожидания, понимаем?

Он остановился возле огромного дерева, похожего скорее на дуб, чем на яблоню.

— Сто лет яблоньке, — сказал он, поправляя шляпу, чтобы она не свалилась с затылка. — Тониз яблочек — вот урожай. К шестидесяти пятому году хотим принести сто тысяч дикорастущих, понимаем?

Я понял самое главное. Я понял, почему колхозники восстали против увольнения Гайдина. Его оставили. Но выговор правление вынесло. «За самовольство».

Слава и я разыскивали Николая Никитича Моисеева. Дома его не оказалось. С восходом солнца он отправился километром за пятнадцать в учебно-опытное хозяйство университета. Там у него участок с новыми, опытными сортами яблочек.

Я представил себе семидесятилетнего человека, вышагивающего километры под палящим солнцем.



Агротехник Н. С. Змейков.

— И часто он туда ходит?
— Плодовое дерево — как ребенок. Недога-
дишь — погибало.

— Но вы, кажется, говорили, что он пенсионер?
— Садовод разве может быть пенсионером? — воп-
росом на вопрос ответил Слава. — Садовод умирает
у любимой яблони.

Мы долго не могли найти Николая Никитича. Пока
мы добирались в один конец сада, он уходил в дру-
гой. А звать его было бессмысленно: он туговат на
ухо. Тогда мы дали боевое задание мальчишкам. Они
бросались враспышную, и через несколько минут по-
казалась высокая, чуть сутуловатая фигура, в сапо-
гах, черном костюме и выгоревшей на солнце
шапке.

Мы пошли по саду. Николай Никитич, застенчиво
улыбаясь и вглядываясь в лицо собеседника напря-
женно-внимательными глазами, говорил о каждом де-
реве. Его глуховатый, словно простуженный голос
был наполнен ласковыми интонациями.

Гайдин шагал рядом. Шапка сбита на затылок, под-
вижное лицо то улыбалось, то хмурилось, то загора-
лось живым интересом.

Иногда они начинали спорить: Слава — горячо и
безапелляционно, Николай Никитич — осторожно,
как бы раздумывая вслух. Мы остановились у дере-
ва с крупными сочно-зелеными листьями.

— Ренет Моисеева, — сказал мне Славик. — То са-
мое яблоко, которым я угощал на выставке предсе-
дателя правительственной комиссии. Теперь уже
узокосено. Николай Никитич получил авторское
свидетельство, а наши колхозы выращивают эти яб-
локи чуть ли не наравне с аспортом.

Я обратил внимание на руки Николая Никитича.
Крупные, потрескавшиеся, с негнущимися, сучкова-
тыми пальцами, они с осторожной нежностью прика-
сались к цветам, усыпавшим яблоно.

— Сколько времени нужно, чтобы вывести новый
сорт? — спросил я.

— Лет двадцать, — ответил Николай Никитич. —
И еще годы, чтобы проверить сорт. Дело долгое, под-
час одной жизни не хватает.

Он внимательно смотрел на меня и, видимо, поняв
мой невысказанный вопрос, добавлял:

— Я начал, Славик продолжит. Глядяшь, что-ни-
будь доброе и получится.

— А почему именно Славик? — спросил я.

— Слышали поговорку: рыбак рыбака видит изда-
лека, — сказал, усмехнувшись, Николай Никитич. —
Про садоводов можно сказать так же. Я оставляю
в наследство Славику все свои гибриды. Да и не

только я. Брат мой, Тихон Никитич, — тоже. Славик,
думаем, не подведет.

Мы сидели в кабинете председателя колхоза «Гор-
ный гигант» Якова Алексеевича Цыса. Он, заве-
дующий первым участком Валентин Яковлевич Су-
кач, главный агроном колхоза Ольга Петровна Скри-
пникова и я. Речь шла о Гайдине. Я рассказал о сво-
ем впечатлении от Славы.

— А мне он напоминает породистого жеребенка, —
сказала Ольга Петровна. — Когда тот скачет, играя,
его заносит, видел? Вот и Славу так же заносит.

— Побольше бы таких садоводов, — сказал Сукач.
Яков Алексеевич внимательно выслушал всех. По-
том, выйдя из-за стола, медленно прошелся по каби-
нету.

— Значит, прогрессивный агроном и отстаемый
председатель! — спросил я, повернувшись ко мне,
и густо покраснел.

Я пожал плечами.

— Вас бы в мою шкуру! — сказал Яков Алексе-
евич, закурил и тут же погасил папиросу. — Накурил-
ся, будь она проклята!

Вдруг, словно переключив скорость, он зашагал
быстро туда-сюда, туда-сюда. И короткими, энергич-
ными фразами стал рассказывать о положении в кол-
хозе. Земли разбросаны — есть отгонные, за 500 ки-
лометров. Животноводство пока убыточно. Дисци-
лина расшатана. Ожидается неважный урожай фрук-
тов.

— За что братья? Думаете, мне не нравятся пла-
ны Гайдина? — сердито спрашивал он. — Нравятся.
Даже очень. Только попробуйте занкните, чтобы
убрали животноводство, когда стране нужно мясо.
Гайдин просит двести рублей на нивелировочные
работы в горах. А их нету, понимаете, нету! У нас
коронники разваливаются...

Он говорил зло, но убедительно. Одного я никак
не мог понять: каким путем собирается он исправ-
лять дела? Когда я спросил его об этом, он сразу ос-
тановился. Словно на стену наткнулся.

— Каким путем? Один есть путь. Специализация.
Другого не знаю.

Я изю всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться.
Одного он заметил это. И еще крепче рассердился.

— Да, специализация! Но проводить ее надо не
кустарно, не отрываясь от реальности. Я вон пору-
чил Гайдину еще раз составить расчеты...

Я подумал: что ж, это справедливо. Мечта не дол-
жна отрываться от земли. Даже мечта о космосе.
А уж тем более мечта, всеми своими корнями ухо-
дящая в землю.

—



3. ПАПЕРНЫЙ

*Вместо
нашего
древетон*

За здоровый СМЕХ!

Рисунки В. Сидура.

(Опыт научно-популярного пособия)

Как знают все, в том числе и лекторы общества «Знание», смех — дело серьезное.

Может показаться: а что такого? Смех — когда смеются. Но это не научный подход. Все гораздо сложнее.

Обратимся к авторитетам. В «Неделе» была напечатана статья врача-психиатра. Он пишет:

«...Смех начинается с глубокого вдоха, за которым следует выдох, происходящий отдельными порциями. Такой механизм выдоха обусловлен тем, что щель между голосовыми связками суживается и воздух, ритмично проталкиваясь через это узкое отверстие, порождает те самые отрывистые звуки (например, «ха-ха-ха»), которые служат специфической характеристикой смеха» («Неделя», 8—14 марта 1964 года).

Как видим, смех — действительно дело серьезное.

Правильное определение будет таким: смех — особая форма ритмического проталкивания воздуха сквозь щель между голосовыми связками, порождающая отрывистые звуки «ха-ха-ха», «хи-хи-хи» и так далее, уж как вам угодно.

Парфразируя известное высказывание — «смех без причины...», можно сказать более научно: «Ритмическое проталкивание воздуха без причины — признак дурачины».

Так или иначе, смех играет огромную роль в нашей жизни. Научкой установлено¹, что наш организм непрерывно стареет, за исключением двух случаев:

- а) когда человек спит,
- б) когда он смеется.

И, наоборот, особенно интенсивно старится человек, когда он

- а) сердится,
- б) завидует или ревнует,
- в) заседает — разумеется, если он на заседании не спит и не смеется.

Как рождается смех? Или, говоря более научно, каков генезис смеха?

Прежде всего следует отметить, что смех возникает не совсем тогда, когда его хотят вызвать. Сколько раз приходилось наблюдать: выбегает конференсье — не выходит, а именно выбегает, выпархивает, оживленно перебирая ножками, на бегу потирая ручки, блаженно улыбаясь в предвкушении общего хохота. Весь вид его говорит: «Ну, сейчас вы у меня животик надорвете!» Затем подает репризу,



¹ См. ряд работ по этому вопросу, а также некоторые другие.



следует пауза безо всякого смеха: он был, так сказать, посеян артистом, но не взошел в зрительских рядах.

И наоборот: на собрании выступает докладчик, читает по бумажке, как будто по-пластунски ползет по тексту, боясь приподнять голову. И вдруг — в зале смех, на который меньше всего рассчитывали те, кто писал доклад.

Так что граница между смешным и несмешным условна, это самая легкопереходимая граница в мире.

Мы часто жалуемся: мало юмора на страницах газет и журналов. Да, мало юмора, с самого начала задуманного. Но юмора невольного гораздо больше. Иные статьи и газеты вызывают смех, но не в тех местах, в каких предполагали авторы. У нас даже есть мастера невольного смеха.

В рецензии на оперу Верди «Отелло» я прочитал: «С большим тактом проводит актер сцену удивления Деизмоны». Ясно, что писал юморист, который сам себе цены не знает.

В сообщении о встречах на узбекской земле: «Долго не отпускали рабочие текстильного гиганта Советского Востока народного артиста СССР Б. Андреева». Мы всегда знали, что Б. Андреев крупного телосложения, но здесь он уже «текстильный гигант».

В одном недавнем международном обзоре сказано: «Лишь человеческому уму дано вывести из этого вавилонского столпотворения тот основной параллелограмм, который, подобно верстовому столбу, указывает определяющие тенденции, главное направление исторического развития». Кажется, авторам обзора надо сделать еще одно небольшое усилие, и они станут заправскими пародистами.

А как занимательны бывают опечатки! Вместо «завоевания замечательного лирика» — «завывания замечательного лирика», вместо «художник должен быть искренен» — «художник должен быть искоренен». Вместо «пережитки прошлого в сознании людей» — «пережитки прошлого в создании людей».

Важно указать, что в юморе нет ничего непостижимого. Он доступен всем, во всяком случае, многим. И часто один и те же шутки одновременно приходят в голову разным людям.

Мой приятель, физик-теоретик, рассказывает:

— Когда я защитил докторскую диссертацию, первый поздравивший меня шутил: «Теперь тебе надо есть только докторскую колбасу». Я от души посмеялся этой неприятной шутке, но второй поздравляющий только улыбнулся и сказал то же самое — насчет колбасы. В общем, каждый из поздравлявших неизбежно приходил к докторской колбасе, только один с нее начинал, другие увенчивали его свое поздравление. Только один друг мой, самый близкий, не говорил никаких пошлостей, молча пожал руку, сузил подарок и ушел. Дома я развернул сверток — колбаса! Правда, краковская — видно, докторскую расхватали. Я жевал ее вечером и с грустью думал, что пути юмора исповедны.

Огромную роль в возникновении смеха играет репутация того, кто стремится смех вызвать. Если человек себя не зарекомендовал, как бы он ни острял, как бы ни старался, никому и в голову не придет смеяться. Он шутит непрерывно, измучился, а ему вдруг говорят: «Ты даже сам не знаешь, как ты прав! Очень, очень дельно».

Но уж если человек зарекомендовал себя шутиком, остряком, затейником — смех обеспечен.

Помню, мы поехали как-то на обсуждение областного журнала. Об одном нашем критике распустили слух, что он ужасно смешной и остроумный человек. И вот на банкете подходит, слегка покачиваясь, местный литератор к зарекомендованному остряку и говорит: «Добрый день». Тот отвечает: «День добрый». Тут его собеседник расхохотался и совершенно искренне воскликнул: «Верно про тебя говорят — остроумный ты человек!»

Вот какова сила предубеждения в юморе. Зарекомендовавший себя просто ходит обреченный на смех, приговоренный к смеху. Захочет сказать что-то серьезное, доказывает, волнуется, а ему все равно кричат: «Ну, уморил, перестань, вот отмоchl!»

Работа юмориста трудна и опасна. Пародиста — тем более.

Что такое пародия? Я бы предложил такое определение: пародия — такое произведение, где пародирующий пародирует пародируемого.

Отношения между ними лучше всего охарактеризовать словами персонажа Аркадия Райкина: «Саржи на меня делаешь? Я из тебе такой сарж сделаю, что тебя никакая больница не примет!»

Каждый пародист инстинктивно чувствует: одними пародиями не проживешь, — и хватается за какое-нибудь второе дело. Пародистка Наталья Ильина взялась, например, за серьезную прозу. Чего не придумаешь!

Сергей Сергеевич Смирнов устроился еще похитрей. Первые свои пародии он написал и напечатал, будучи главным редактором «Литературной газеты».

Начинающим пародистам, которые боятся редакторов, советую испробовать этот способ: сначала стать главным редактором, а потом публиковать в своем органе пародии. Других способов рекомендовать пока не могу.

Александр Раскин, этот Ботвинник смеха, долгое время держался на одних



пародиях. Было как-то радостно и жутко смотреть на этого седого ветерана са-тиры. Но потом и он дрогнул: начал писать детские книжки.

Стало быть, неверно думать, что пародист — это человек, пишущий пародии. Точнее было бы определить так: пародист — человек, который питает слабость к пародиям и в силу этой слабости должен заниматься не пародиями (проза, редак-тура, детские книжки).

Как делается пародия? Довольно просто. Каждый человек со средним образо-ванием легко напишет среднюю пародию. Надо взять что-нибудь очень известное: «Жили-были дед да баба», «Уронили Мишку на пол», «Ах, зачем ты меня целова-ла!», «Выхожу один я на дорогу», «У пола была собака» или «Я люблю тебя, жизнь!». Затем вы берете разных поэтов по очереди. Допустим, вы остановились на козлянке, который жил-был у бабушки.

Что бы написал Леонид Мартынов? Он любит начинать стихи с громогласного вопроса-восклицания, как будто его внезапно поразил какое-то открытие. И он вполне мог бы начать так:

Вы замечали бабушек с козлами?!

Владимир Солоухин пишет прозаизированным стихом, не стесняя себя ни риф-мами, ни размером:

Что такое козёл? Нечто ужасно рогатое.
Впереди — борода. А сладки, как правило, хвост.
Впрочем, я не настаиваю. Я — поэт
И могу ошибаться. Ведь мне все равно,
что рожили, что ножки.
Главное — я человек, а не козлик,
и смело смеюсь прямо волку в лицо!
Ха-ха-ха! — вот так!

Евгений Винокуров тяготеет к философской раздумчивости:

Все долгие думаю о зле —
о волке, бабке, о козле.
Все служил пиццеру уму,
мне мысль всякая и дорога:
козел...
Рогата нужны ему,
а мне вот ни к чему
рога.
Так прямо сказано: козел,
мужской определенный пол,
а я закрою лишь глаза
и винку явственно: коза.
Там говорится — бабка.
Нет,
передо мною старый дед
восьмидесяти с гаком лет.
Нет волка ни в одном глазу,
все ту же винку я козу,
И говорит не «ба», не «бля»,
а шепчет мне: «люблю тебя»,
и ей примерно двадцать лет...
Ну что ж поделаешь — поэт!

Роберт Рождественский, наоборот, тяготеет к прямой разговорно-публицисти-ческой манере:

Козлик сер и не развит был,
не взял он главного в толк:
он в обществе хищников
жил да был,
где волк
волку — воли!

Мargarита Алигер, как истинный лирик, касается козляка лишь для того, что-бы, оттолкнувшись от серенького, перейти к самой себе:

Козлик в далекой жил стороне,
К нему затерялись дорожки.
А ты искудал от любви ко мне —
Остались лишь ножки
да рожики.

Булат Окуджава — это, конечно, что-то напевное:

Из окон козликом дохнуло сереньким,
а также бабушкой пахнуло вдруг.
И вот уж рожек нет,
и вот уж ножек нет,
козляк угробился, мой лучший друг.

А волки дикие блещут глазницами,
грозят ногтищами. Ну и дела!
Ах, бабка-бабушка, напрасно свищешь ты.
Напрасно ищешь ты свое козла.



Тот же в лесенном духе, но совсем по-иному решила бы эту тему Новелла Матвеева:



Жил-был козлик, и серый и стройный,
по поднимам, как взрослый, бродил,
сам себя, говорят, он построил,
сам и хвостик себе смастерил.
Сам и шкуру себе добывал,
сам и бабку себе подобрал,
сам отправился в лес,
сам с собой козлик,
сам за бабку
и сам себе волк.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля.
Сам за бабку.
И сам себе волк.

Михалков, конечно, написал бы басню:

Вот тебе, бабушка, и серый волк!
Один козел,
Выл вол
И сер.
Но волк
Его не съел.
Выл тот козел
Из вышних сфер.

На этом маленьком примерике
Судите сами об Америке.

В пародии передразнивается стиль манеры писателя. Иногда пародия позволяет нам увидеть человека заново. Напомню случай с одним сотрудником, который талантливо пародировал своих товарищей по редакции. Однажды на вечерне отдыха он публично изображал члена редколлегии, и сидевшая в зале жена пародируемого, не вытерпев, вскопчила и закричала на весь зал, обращаясь к мужу: «Ну, теперь ты видишь, какой ты противный!» Вскоре они развелись. Такова сила пародии.

Немалое место среди «смешных» жанров занимает фельетон. Здесь выработана довольно устойчивый набор проверенных ходов, чтобы не сказать штампов.

Начинаются фельетоны чаще всего со ссылки на толковый словарь Даля. Например: «Как известно, жук — это особая разновидность жесткокрылых насекомых. Но здесь речь пойдет о других жуках, вернее, жучках...»

Считается также, что читатель будет очень смеяться, если современный язык заменять старославянскими выражениями. Допустим, вы хотите сказать: «Он работал в торговой сети». В переводе на фельетонный язык фраза будет выглядеть так: «Сей муж подвизался на торговом поприще».

Фельетоны четко делятся на две половины. Вначале автор высмеивает своих персонажей. Тут уместны упомянутые архаизмы и образные выражения. Затем наступает тот момент, когда автору следует показать, что он тоже не может молчать, и, отбросив фельетонный реквизит, сказать прямо от себя.

Формулами перехода обычно являются: «Шутки в сторону», «Но, право же, довольно шутить!» Читателю тем самым дается понять, что до сих пор все было очень смешно и весело. Теперь он снова перечитывает первую половину и уже смеется. А затем идут гневные публицистические отступления:

«Я смотрю на его тревожно бегающие глазки и думаю: откуда берутся вот такие на нашей земле?»

Или: «В тем, что Павел бросил Варю, виноват не только местком, виноват весь коллектив учреждения и виноваты мы с тобой, читатель. Мы все проглядели, прохлопали».

Завершать фельетон лучше всего пословицей: «А воз и ныне там», «Ну как тут же вспомнить крыловского Васюку, который слушает да ест», «Вот уж действительно, как, друзья, вы не садитесь...»

Для конца фельетона хорошо идут восклицания, как бы невольно вырвавшиеся у автора: «Хорош гусь!», «Мария Никифоровна, опомнитесь, пока не поздно!», «Честное слово, стыдно за активистов жилищно-эксплуатационной конторы № 11!»

Впрочем, неплохо заканчивать риторическим вопросом: «Перед нами явная халтура. А что думает по этому поводу ответственный редактор книги та-ой-той?» Или: «Канализацию починили. Но кто ответит за моральную травму, за долгие месяцы бегания по чужим людям?»

Берегите смех: он, как лифт, сохраняет ваше здоровье!





Алла ГЕРБЕР

КЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА

„Четыре на восемь“

Рисунки Ю. Вечерского.

Вчера еще дул ветер, и пизко-рослые волны, подбивая друг друга, играли в салочки. А сегодня море устало. Разомлело от солнца, спит... Только в моей каюте по-прежнему «бушует стихия». Грохочут за стеной машины. Извергается под иллюминатором многотонная водяная лава: отработала свое — и обратно, в море. За несколько дней я привыкла к шуму, вроде бы не замечала его. А вот сегодня никак не могу уснуть. Через семь часов танкер «Молодечно» подойдет к Батуми, и все — мое путешествие кончится. Танкер уйдет в Арктику, а мне придется вернуться в Москву.

или — или

Рядом с моей каютой «курилка» (каюта матросская — койка, столик, полочка для книг, кожаный диванчик). В курилке сидят, покуривают после вахты матросы. Вспоминают, кого в каком море «блало», с какими капитанами плавали, какие девушки на свете самые красивые. Я останавливаюсь, слушаю. Кто-то подвигается, предлагает сесть.

— Ну что, корреспондент, скоро Батуми?

— Да, скоро. Слишком скоро...

Я поднимаюсь вверх и попадаю прямо в кубрик, где дневальный Витенька заканчивает уборку.

— Не спишь? — сочувственно вздыхает Витенька и нежно проводит мокрой тряпкой по клеенке. — Вот такие дела, — снова вздыхает Витенька, хотя о делах его я ничего не знаю. Но понимаю: охота ему поговорить, да и мне тоже.

— Так я за слабых, — говорит Витенька, будто продолжает прерванный разговор. — Я на заводе в слабых ходил. Пришел в цех, работаю месяц, другой и все дрожу: ой, не получится, ой, испорчу!.. Никак в силы свои поверить не мог и решил: надо эти распроклятые силы в самую трудность бросить. Чтобы вылечить, крепкими сделать. И пошел на танкер. Это мой третий рейс. И, знаете, выздоровел!..

Витенька решительно одергивает забрызганный борцом фартук. Он ему чуть ли не до пят. Больно мал. Витенька и хил, а вот надо же, силы свои лечить вздумал на самой что ни на есть тяжелой работе.

— И правда, удивительно. Как же такое случилось, Витенька?

— Сам не знаю. Жизнь, что ли, здесь другая. И дом, и улица, и друзья — это танкер. Все на виду, вся твоя душа, как на фотографии. Каждый изъян виден. И деться некуда. И спрятаться не за кого. Или будь человеком, или «с приветом». Понимаете?

Кажется, понимаю. По несколько месяцев тянется рейс. Четыре часа — вахта, восемь — отдых. «Четыре на восемь», — говорят моряки, — и никаких отклонений. Есть в этой жизни и романтика: бури, страны, расстояния. Но проходит год, а то и меньше, и новичок начинает понимать, что бури и штормы — это тяжкий, изнурительный труд, а дальние расстояния — вечная тоска по дому, где знаешь, что есть дверь, а за дверью земля, и на той земле люди, много людей. А здесь дальше палубы нигуда. И сорок лиц, на которых знаешь





каждую морщину, и сорок характеров, у которых больше нет секретов. И двадцать фильмов, которые к концу рейса пускают вверх ногами, или без звука, или с конца — для разнообразия.

Чтобы это выдержать, мало быть физически сильным. Ведь не о мускулах и бицепсах беспокоился Витенька. Он не расширился в плечах и не вытянулся в росте. Зато поборол слабость духа. «Витенька — это Человек», — говорят на танкере. И никаких добавлений, этим все сказано.

Видно, есть у моряков свой, неписанный устав Человека. Его мало выучить, его надо выдержать. Я поняла это уже на второй день нашего рейса. В тот день вечером, после ужина, секретарь комитета комсомола судна Толя Ежилов сказал:

— Мальчики, в восемь полчаса открытое комсомольское собрание. Будем «надрывать» Варшавского.

И ровно в восемь в кубрике негде было сесть.

Валя Варшавский — красивый, спортивный парень, похожий на Рокко или на кого-то из его братьев (хотя, конечно, никакой он не итальянец, а коренной одесит с Дерибасовской), — забился в угол на «галерею». Его вполне героическое лицо дергает вымученная улыбка, глаза растерянно шныряют по лицам товарищей. Напрасно: они непроницаемы и угрюмы.

И не перестало, что еще час назад, сбившись после вахты на палубу (кто лежал, кто присел на корточки, а кто занял единственную скамейку, чтобы со всеми удобствами), ребята эти развлекались грубоватыми анекдотами и деловито обсуждали достоинства новой поварихи, двадцатилетней Диночки. И Диночка, пушистая от такого внимания, в конце концов решилась обидеться и убежала на кухню.

— Ну и дурочка, ох, и дурочка, — успокаивала ее буфетчица, баба Вера. И, прищурившись, долго смотрела куда-то далеко, точно

вглядываясь в свое прошлое. В эту минуту ее дубленное от солнца, рассеянное глубокими морщинами лицо казалось величественным и прекрасным. — Дурочка, — улыбаясь баба Вера, обнажив все еще крепкие, ровные зубы. — Моряки — они ведь короли, если рядом королева.

А «короли» тем временем продолжали веселиться, не подозревая, что их возвели в столь высокий ранг. И «глава королевства» — всеобщий любимец Толя Ежилов — вел со мной отнюдь не королевский разговор.

— Май фэмилли — Ежилов. Май бизнес — электромеханика... Плиз сигаретт — экстра-люкс, дары соседней державы... Вы были на Кубе? Зря, такие девочки! Пардон, запретная тема, шокинг, так сказать... — И потом очень серьезно: — Как я вам нравлюсь? То есть я хотела спросить: похож Анатолий Ежилов на настоящего моряка?

«Пхож, сашком пхож», — подумала я. Этакий шкипер скандинавского происхождения — метр восемьдесят пять, каштановые, спутанные рыжие волосы и морем промытые глаза. Хорош, ничего не скажешь. А вот все остальное — разбитная улыбочка, завлекающий прищур, соленые шуточки, портовый жаргончик — это ведь больше для «похожести», Толик, а? Для «похожести» на псевдоинтературных персонаж, на морячков из записных песенок, где «утюжат клешем мостовые и заливают в глотку ром». Но клешей больше нет.

Я к этому еще вернусь. Но когда я слушала Толю, мне почему-то казалось, что он из кожи вон лезет, чтобы не подвести своего кино-интературного прототипа. Да и все остальное тоже. Они добросовестно, со вкусом играли под «мориков», пока не кончился спектакль и началась жизнь. И тогда я увидела совсем другое, не «похожее», а настоящее.

—...Матрос Варшавский нас обманул. Понимаете, об-ма-нул... Ежилов говорил медленно, с пред-

варительной обработкой слов в голубе, чего никак нельзя было сказать, когда он попадала «шпокингами» и «пардонами». — Да, обманул...

Молчание. Все ждут, что он скажет дальше. Но «обманул» уже настораживает.

— Во время стоянки в Одессе Варшавский не явился на вахту, — продолжал Толя все с той же раздумной четкостью. — Попробовал Володю Пасацкого его заменить, сказал, что больна мать. («Так ведь мать» — это с места.) Да, если бы мать, мы не «травляли» бы здесь «бабайду». Он не пошел домой, зато пошел на свидание.

— Хитер! Так каждый может. Ну и тин! — заговорил сразу несколько голосов.

— И Володька Пасацкий отстоял на мостике восемь часов. Восемь! — повисла тишина.

Молчат капитан и старший механик. Молчат седой, угрюмый старпом. Им, конечно, есть что сказать. Но они знают: их слова — впереди. Сейчас говорить должны другие — те, кто сменяет Варшавского на вахте, кто на своей шкуре хоть раз попробовал, что такое двойная вахта — восемь часов. Говорить будут они, свои, товарищи.

— А чего тут долго «травить»? Раз обманул, и жевать нечего! — буркнул моторист Славик Дорошенко.

Славик — мой старый знакомый. В первый вечер, часов в одиннадцать, кто-то тихо, но достаточно настойчиво постучал в мою каюту. — Если вы спите, я пошел. Если нет, три минуты внимания. Есть дело.

Для начала довольно таинственно. Я немедленно вышла и попала под пулеметную очередь слов:

— У меня к вам дело. Так, ерундистика, заблуждение печальной молодости. Хочу в институт поступать — Московский энергетический. Интересно, как там обстановка... ну, в общем, насчет конкурсов...

— А звать-то как? — Кого? Меня? Пустяки, какое это имеет значение? Ну, Славик. Ну, Дорошенко. Слыхали? Я же говорю, пустяки...

Ему было лет двадцать, не больше. Но, видно, он нарочно недобрился усы, оставляя легкий пушок — для солидности. И говорил небрежно, вроде бы между прочим, — тоже, наверно, для солидности.

— Ну, а если серьезно? — спрашиваю я.

— Если серьезно? — вздохнул с облегчением Славик (очевидно, этот шутовской тон был ему само-

му в тягость).— Если серьезно, то плохо я устроился с мозгами. Да, да, я правду говорю. Два раза постунал в Одесский политехнический и последовательно проваливался. Ребята утешали: фортуна, несчастливый билет. Ни черта, это все мозги, ну... недостаточно развитые... Раз так, нечего лезть, и я спихнул учебники под койку. Правду говорю, год их там держал, пропылал как следует. Ну и... опять достал. Так вот, скажите мне — вы ведь всяких встречали, — есть еще такие ненормальные, которые по третьему заходу в институт подают?

Я стала что-то говорить об атаках и временных отступлениях. Он оборвал меня:

— Проще, проще.

— Проще, так проще. Некоторые и пять раз пробуют, и то не теряются, не жалуются на умственную недостаточность.

Я думала, он обидится. А он обдавался.

— Пять раз?! Так значит, у меня в запасе... Нет, дудки. В Москве встретимся, в этом году. В Энергетическом, на вечер. Вы как насчет танцев, не возражаете?

И я ему поверила. Поверила, что будет (как сам говорит) «доблать до победного». Вот и сейчас, на собрании, в руках у него был задачник по физике, которым он энергично разбивал воздух, когда говорил.

— Все можно простить, если правда, — поддержал Славик человек с квадратными плечами и нежным, мальчишеским лицом. — Но ведь напрал. — И человек покраснел, как краснеют люди, не привыкшие к публичным выступлениям.

— Кто это? — тихо спрашивала Ежилова.

— Боцман, по-нашему «дракона». Самый справедливый и самый добрый на танкере человек. Зафиксируйте это в своем блокноте.

Боцман! Добрый боцман с горбатыми бicepsами, застенчивым румянцем и грустными синими глазами. А я-то думала (спасибо штампу!), что боцман — обязательно «железный» мужчина: хриплый, грубый, сильный и резкий.

Но вернемся к собранию. Продолжалось оно недолго, а выступили почти все. И даже «док» (что значит доктор) Коля Анкин, чья разговорчивость им же самым строго лимитирована, произнес сразу четыре слова: «Терпеть не могу брехунов». А когда лениво, словно проснувшись, поднялся с места электрик Юра Овсянников, хрупкий мальчик с волосами цвета

спелой ржи, боцман шепнула мне на ухо:

— Парень-люкс. — И добавила: — Электра-люкс. Есан встал, Юра, значит, все! Винават Варшавский. Этот зря болтать не будет.

— Кончай, Овес, — заговорила наконец, не отрываясь от стула, Варшавский, — ни в чем я не виноват. Вахту не сорвал. Отпроситься отпросился. А то, что вы называете брехней, так ведь все... на том и держимся.

— Проваливаемся, ты хотел сказать? — резко повернулся к нему Юра.

— Держимся. Люди побольше меня, и те врут. Почему их не судят вашим справедливым товарищеским судом?

— Будут, доживешь. Специальную статью для таких, как ты, придумают. А пока мы уж как-нибудь, потихонечку, своими силами.

— Не поможешь. Не я, так другие...

— Все! — жестко оборвал Ежилов. — Все ясно! Слово капитану.

И все-таки Варшавского оставили на судье, разжаловали в дежальные. Иан будь человеком, иан...

ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ

На третий день танкер встал на рейд. «А вечер опять хороший такой...» Да, все было точно так: и вечер и песни. И гитарист с чубом и плясун-четвертник Сенечка с полным набором одесских каламбуров: «Разве это рыба, это пирожное, крем-брюле, мечта моей бабушки... Разве это сюр! Сямфонию Шостаковича, скрипка Паганини». И так далее, в таком же духе...

Был и ударник. Он «давал брэк» на игрушечном барабانه и улыбался всем тридцатью двумя зубами. Потому что третий механик Витя Мильман не может не улыбаться, не умеет.

...Были в тот вечер и рассказы

из серии барона Мюнхгаузена, когда выдумку принимаешь за правду, а правда кажется фантастикой. Рассказы, где кобры грызут крыс («В Индии видел, своими глазами»), а потом обвиваются вокруг упругих матросских шей («И это видел своим глазами»), а мальчики хоть бы хны... Рассказы, где любят исключительно красивую-люкс («Мэрилин Моэро — это что! Вот у меня была...») и пьют вино литрами, на пари. Все это я уже видела в кино. Иан читала где-то. Такой обычный вечер на рейде с шуточками, песенками и плясками.

Но было и другое. Не сразу, но приняло. Сквозь пустую «правду» прорвался наконец серьезный разговор. И одесский балагур Сенечка стал читать стихи Есенина. И моряки слушали стихи куда внимательнее, чем песню о красоте Нелли в том же исполнении. Оказывается, Есенин — их любимый поэт, потому что, по словам Сенечки, когда Есенина читаешь, в океане к земле прикасаешься.

И «король джаза» Витя Мильман «шпарил» наизусть Нильфа, как будто это был его, а не нильфские записные книжки... Так с анекдотов и неблизко незаметно перешли на разговор о литературе. Их все интересовало: и проблемы, и настроения, и новые рифмы, и новые течения. Мне даже показалось, что я сижу на редакционной «летучке». Может, это потому, что моряки — добросовестные читатели и больше всего на свете боятся отстать. Критерий хорошего — правда, и только правда. Чутье на эту правду у них обостренное, даже болезненное.

— Простите за резкость, — попытался объяснить за всех боцман Павлик, — по моряку противно показана «клоува». И, пожалуйста, не вздумайте писать очерк «Герои морских глубин». До глубин вы не доберались: времени мало. А героев среди нас нет. Обыкновенные работяги. Пишите лучше



о земле, чтобы пылью пахло, травой и лесом. Чтобы любовь была — земная, с муками и страданиями.

Редкий случай. Даже бухгалтеры — и те считают, что мало о них, люцманах дебета и кредита, пишут. И товароведы так думают, и фармацевты, и кондукторы. Я вовсе не собираюсь обижать представителей этих благородных профессий. Но почему они так уверены, что писать нужно именно о них, что каждая профессия непременно должна быть отражена в художественной литературе?

— Нет, если нужно, конечно, пишете, — пожалел меня боцман. — Только не умиляйтесь, не вздыхайте: морячки, братишки. Мы ведь разные. Хотя есть и у нас что-то общее. Только не то, что вы думаете: полунара, бескомарка и вообще — все трын-трава. Нет, совсем другое, да мало кто замечает. — Особенно те, кто культуру нам выдает, — отбарабанил Витя Мильман.

Я спрашиваю, о чем это он?

— Отвечать по совести или для карандаша?

— Это одно и то же.

— Как бы не так. Ну ладно, вопрос серьезный, у него два конца.

— Ну пошел, философ, — дружелюбно оставил Ежилов и уселся по-турецки рядом с Витей на всякий случай, если кто Витю обидит или сам Витя ошибется: как-никак друзья.

— Так вот, — покашляла для убедительности Мильман. — Мы уже не те...

— ...что были вчера, — подхватила боцман, припоминая, очевидно, старую цитату. — В школе сочинение на эту тему писали.

— Писали, да не дописали. — При этом пальцы Вити отбили злоую дробь. — Принято думать, что моряк недалеко ушел от первобытного человека.

— Не так сильно, держи левее, — вставил Ежилов.

— Есть держать! Дикари, конечно, не дикари, но простак — это точно. Учиться, мол, ему некогда, книжки читать — и поданию. А между прочим, мы все учимся: кто в школе, кто в мореходке. Есть и студенты — своя морская интеллигенция. На стоиках (в Союзе, конечно) к нам приходит учиться. Мы их называем «помощь на дому». Развивайтесь, говорят, просвещайтесь, только не ленитесь. Что правда, то правда, учиться можно, была бы охота. Да и во время рейса всякие кружки: философия, эстетика, экономика и производственные, конечно. Потом личные впечатления, кругозор путешественника — тоже, соглашались, фактор немаловажный. Так что катушка вертится, кое-какие извращения имеются. Однако... — И Витя поднял палец.

— Стой, желаю продолжить, — вскопчил матрос Паша Ботвинник.

Паша Ботвинник похож на физика, какими их полюбили изображать в кино: чуть усталые от избытка интеллекта, чуть насмешливые и чуть растерянные от повышенного к ним, физикам, интереса. Паше для полного сходства не хватало только очков. Говорят, в трудные минуты Паше поручают самые опасные задания. Говорят, во время какого-то шторма он «попылся на том свете»: чуть не свалился за борт. И еще говорят, но это уже шепотом, что у Паши страсть к криминалистике. По ночам он придумывает невероятные преступления, которые потом сам раскрывает. И еще он любит и умеет говорить, что тоже подтверждает его увлеченность юриспруденцией. Не удивительно, что в тот вечер он был оратором номер один.

— Трави, Паша, не стесняйся, товарищу интересно, — подбадривали моряки. И Паша «травил».

— Как правильно заметил мой коллега Мильман, на танкере обнаружена острая нехватка духовной пищи.

— Стурчиков бы, соленья — противнуло кто-то. На него сердато прыкнули.

— Приведу примеры. — От волнения Паша сорвался на дискант. — Ну скажите вы мне, почему нам дают фильмы моей бабушки? Вы про космонавтов смотрите, а мы «Небесный тихоход». Для вас «Русское чудо», а для нас чудо тридцатых годов — «Веселые ребята». Очень смешно, очень музыкально, но сколько можно! Просим дать нам научные. Пожалуйста, не отказывают. Но... за счет художественных. И то и другое слишком жирно, что ли? Боятся, наверно, что культурой обожремся. Или посмотрите книги в нашей библиотеке. Вам такие и во сне не снились. А надо бы почитать. Узнали бы, какой литературой моряка кормят! Хороших не дают. Сбавляют нехороший товар. Где-то на полках свои отлежал, а потом списывают «я море». Идем в управление пароходства или на культбазу. Возмущаемся, протестуем, а нам говорят: братишки, у нас план, лимиты... Какие, к дяволу, лимиты, когда у моряка и так жизнь лимитирована.

— Молодец, Ботвинник. Ты, брат, голова, недаром у вас с гротмейстером фамилии одинаковые, — заключил Витя Мильман и призывно ударил кулаком по барabanу.

И было мне стыдно, хотя я не представитель кинопроката и не агент по распространению художественной литературы. И все-таки стыдно, потому что и я (скрывать нечего) не такими представляла себе моряков.

Да, они не скажут капитана, а скажут «эксп», не боцман, а «дракон», не механик, а «дед». У них по-прежнему расквашенная походка и сомнительная живопись на руках. Они любят крепкое слово и глоток крепкого вина. Обидно, но это есть! Дать традициям, и ничего больше. Не это главное. Достаточно поговорить с ними, поспоришь, помечтать, чтобы понять, как не похож сегодняшний моряк на того «морского волка», каким его порой изображают и представляют. Он хочет знать, и много. Хочет думать, и по-своему. Он ловит каждое мало-мальски умное слово, чтобы потом, в долгом рейсе, вспомнить его, повторить, дать свою оценку. Злоупотреблять такой благодарностью преступно. Подсовывать ему вместо культуры макулатуру — преступно вдвойне. Я видела фильмы, которыми их «потуче» Одесский кинопрокат. Старые, до дмр высмотренные, да-леко не первого класса. Потому



что там (за дальностью) все стерпится, потому что те, неизбалованные, и дырам рады. Нет, не рады, не терпят. «Бунтуют» — и справедливо. Выходит, если сидит человек не в пзiorаппом кинотеатре, а щурится в кубрике, где вместо экрана простыня, да и та в складочку, пусть себе смотрит продукцию десятилетней давности.

На обратном пути, в Новороссийске, зашла я на портовую култьбазу. Встретили меня вежливо. Усадили в кресло. Показали планы и списки — пусть только придет ваш танкер в порт, все для него. Экскурсионный автобус? Есть такой — для иностранцев. Клуб? Пожалуйста, вот и клуб. Неуютно? Мрачно, серо, сыро, тускло!.. Правда ваша. Обстановочка нешикарная. Душа сюда не потянет, разве за пивом. В кино? Не всегда попадешь. И ходит наш моряк по Новороссийску и думает: куда податься? А ведь как важно (заряд на пельмей рейс), если на стоянке, в порту что-то новое покажут, что-то умное расскажут, повеселятся, наконец, дадут — занимательно, со вкусом.

Я говорю об этом директору Новороссийской култьбазы. Он снисходительно дергает губами.

— Так ли уж это важно? Да и козус? Морякаж? Ромочка — вот что важно. Им это нужно.

А знает ли он, что им нужно? Часто ли плавал на танкерах? Узнал как следует тех, кому поставляет гультуры? Если бы плавал, то наверняка заметил бы, что моряку подачки не нужны. Он слишком богат, чтобы довольствоваться малым. Богат и требователен — по большому счету. И я рада, что за короткое пребывание на танкере успела это понять.

ТИХИЙ РЕЙС

А... рассказывают в курнаке последние истории — скоро ночь. Добывают на корне «козала» — скоро пахта. Переворачиваются с боку на бок ленивые волны. И не верится, что они, такие миролюбивые, могут звереть и с бешеным набрасываться на танкер.

Да, это был тихий рейс. Ни одного шторма, никаких приключений. Сонные волны, рыднее сгущение.

— Не повезло вам, — сокрушался Ежилов. — И о чем только писать будете — ай доуит ноу...

Он старался обогатить мою, как ему казалось, скудные впечатле-



ния. И много чего порассказал. И правда жаль, очень жаль, что не «было» меня в Баренцолом и не «жарило» в Индийском. Что я так и не узнала, как прохвывает «до селезенки» в Арктике и прошибает пот в тропиках.

И все же напрасно Ежилов волновался. Я пришла на танкер не за приключенческим сюжетом.

Я не раз плавала на комфортабельных теплоходах по тому же маршруту Одесса — Батуми. «Там все к усаугам...» — как пишут в путеводителях. Но только на танкере я впервые почувствовала себя в море, а не в каюте «с видом на море». И хотя вроде бы ничего вокруг не изменилось — тот же пейзаж, та же, какая-то курортная голубизна, и воздух, и чайки, и солечные пятна на палубе — все то же. Но я слушала море сквозь грохот машин и мерное тиканье приборов. Я видела его глазами вахтенного матроса. И поняла, что и в Африке, и на Севере, и в шторм, и в немую тишину все будет точно так, как сейчас. «Четыре на восемь» — и всяких отклонений».

И спустится в «цех» (так здесь называют машинное отделение) механик ч отстоит секунда в секунду свои четыре часа, даже когда ртуть термометра дотянется до 70° жары. И упрется глазом в горизонт матрос в капитанской рубке. И проверит в сотый раз свое электрическое хозяйство Ежилов. И ровно в семь накроет стол к завтраку баба Вера. И ровно в пять заложит хлеб в печь повари-ка Диночки. И примет сигналы Земли радист. И выдаст папиросы артельщик. И даст команду бойцам. И, посаженные «дракону», разбегутся по судну матросы — тянуть, тащить, мыть, скрести...

Мы привыкли думать, что море — это романтика. Да, романтика. Но не всегда штормовая, стремительная, «бегущая по волнам».

Танкер — это завод на воде. Моряки — его рабочие, инженеры,

мастера. И они работают. Учатся, как и все. Повышают свою квалификацию, как и все. Читают техническую литературу, как и все, чтобы не отстать. И в то же время они не такие, как все. Они в море. Они далеко. И может быть, романтика их жизни как раз в том, чтобы работать, не тоскуя. Работать, не выходя из привычного ритма. Работать, стараясь поменьше думать о доме. Но только для того, чтобы еще больше обрадоваться ему. Потому что у каждого рейса есть свой обратный путь. Потому что, как бы далеко ни ушел корабль, он обязательно вернется на Родину.

...Пять часов утра. На горизонте, ослепленные рассветом, беспомощно мигают электрические точки. Тихий рейс подходит к концу. Пора гроташься. Я поднимаюсь в капитанскую рубку. На вахте второй штурман — Боря Пахомов, или Боба, как его называют.

Пахомов стоит у окна и, не отрываясь, смотрит на тусклою, перетянутую трещинами фотографию. Заметив меня, он смутился:

— Задумался, простите. Хорошенькая, правда? Это жена. А это сынишка. А это я, только я тут помоложе был. Сейчас мне 26, а тогда как раз 23 стукнуло.

Жена, сынишка. И когда он их увидит... В рубке тихо и торжественно. Только пощелкают, как в часовой мастерской, приборы, и мягко жужжит вентилятор. Машинны наворачивают мили, высчитывают расстояния. Боря — диспетчер, у пульта управления. Он дает машинам задания и тщательно следит за их выполнением.

Мы склоняемся над толстой книгой, которую Боря называет гроссбух, и вместе высчитываем, сколько миль до Мурманска. И сколько до Тихси. Далеко. Еще много часов проведет Боба в рубке, прежде чем вернется домой.

Ничего не поделаешь, такая у них работа.

— ММ

СЕГОДНЯ И ДЛЯ НАС

Владимир Рецетпер
исполняет
трагедию «Гамлет»



ГАМЛЕТ (обращаясь к призраку).

«Я озадачен так твоим явленьем,
Что требует ответа. Отзовись...»

Признаться, я шел на этот спектакль, настроенный весьма скептически. Драма требует актерской игры, а не художественного чтения; литературная композиция, материалом для которой стала пьеса — особенно такая, как «Гамлет», представлялась мне делом по меньшей мере малоубедительным.

Я уже не говорю о том, что последние месяцы были, как никогда, богаты Шекспиром, что недавно на экране мы увидели в роли Гамлета такого большого актера, как Иннокентий Смоктуновский. А тут молодой актер, фамилию которого я слышал впервые, решается сыграть всего «Гамлета». Я даже подумал о том, что смелость в искусстве не должна иметь ничего общего с самонадеянной дерзостью...

Но начался спектакль, и очень скоро от моего предубеждения не осталось и следа: захваченный происходившим на сцене, я забыл о своих казавшихся мне такими обоснованными сомнениях и опасениях. Владимир Рецетпер совершенно овладел залом. На сцене не было декораций: книжка да шпага — вот и весь реквизит. Музыка композитора Горюхиных — может быть, и неплохая, хотя явно неудачно записанная на магнитофонную ленту, — скорее мешала, чем помогала. На два с половиной часа актер остается один на один со зрительным залом, на бесконечно долгих два с половиной часа сценического времени! А мы, покоряясь обаянию актера, погружаемся в сложный мир шекспировской трагедии...

Все было настолько естественно, что я вдруг поймал себя на еретической мысли: а так ли уж обязательно сложные декорации для постановки Шекспира — все эти замки, крепостные ворота, роскошные королевские покои, площадки с фонтанами и мраморными ступенями? Известно, что в шекспировском «Глобусе» трон обозначал дворец, молитвенная скамья — церковь, пара деревьев в кадках — сад или лес. Неважно, объяснялось ли это несовершенством тогдашней театральной техники или какими-то другими причинами. Важно, что Шекспир писал свои вещи, предназначая их именно для такой постановки; в его театре ничто не отвлекало зрителей от игры актеров. Ведь декорации не только «подыгрывают» актеру, но и лишают его какой-то доли зрительского внимания.

И я убежден, что этот спектакль «Гамлет», сыгранный одним актером, в чем-то немаловажном ока-

Фото В. Шингарева.

зался чрезвычайно близким к тому, как представлял его себе Шекспир, когда писал свою трагедию. Конечно, ближе постановок, до сих пор широко распространенных, где театральность сродни той, что высмеивал Гамлет, иронизируя над желанием актеров «рвать страсть в куски и клочья». Ближе, чем другие, противоположные, претендующие на «современность», где улицы в Вероне хотят изобразить, тратя на это бездну времени и сил, с правдоподобием, присущим неореалистам, но никак не Шекспиру. Чтобы представить себе ту меру театральной условности, которой следовал Шекспир, надо вспомнить, к примеру, о том, что он писал для труппы, где женские роли игрались молодыми людьми. Кстати, не это ли дает возможность Рецептеру играть Гертруду и Офелию, не оскорбляя нашего эстетического чувства?

Нет, этот необычный спектакль не был литературной композицией — Рецептер не читал, а играл. Он наделен редким даром мгновенного перевоплощения: едва заметный жест, чуть-чуть изменившаяся интонация — и это уже не Гамлет, а Горацио или король Клавдий. Для каждого персонажа найден характерный жест, выражение лица, манера держаться. Вы не спутаете их даже тогда, когда они обмениваются, как фехтовальщики, короткими и быстрыми репликами. Рецептер сумел сыграть и такие диалоги, а это задача нелегкая.

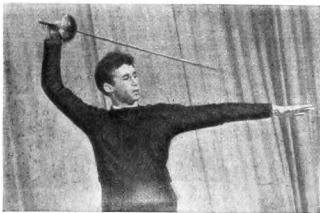
Однако все это хотя и немаловажные, но, так сказать, предварительные условия спектакля. Главное же — в другом: в глубоком постижении причин трагедии Гамлета и природы шекспировского гуманизма, в стремлении, не упрощая и не прибегая к натяжкам, сделать сегодня и для нас поучительным — в самом лучшем смысле этого слова — произведение, в истолковании которого существуют давние традиции.

Разумеется, каждая эпоха, каждый крупный художник находит свое в Гамлете. В последние годы некоторые режиссеры и актеры отказываются видеть в Гамлете особую «королевскую кровь» — так играет его и Рецептер. И дело вовсе не в том, что нашему веку трудно принимать всерьез королей, «царственные» заботы и тревоги. Обычно эта трактовка опирается на слова Гамлета об отце. «Краса человек был в полном смысле слова». Но не менее существенно и другое. Все эти короли, вельможи, князья — в конечном счете дань театральной услов-



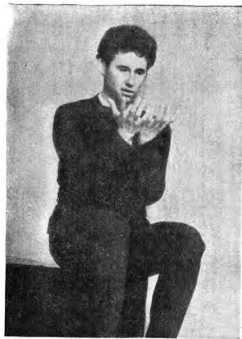
ПОЛОНИЙ.

«Это совершенная истина, милорд».



ГАМЛЕТ [при виде короля].

«Еще поцарствуй...
Отсрочка это лишь, а не
лекар твою».



ГАМЛЕТ.

«Бедный Иорик! — Я знал его, Горацио».

Пости, канонической для шекспировского времени. Что это именно так, нас убеждает живопись. Андрей Рублев рисовал иконы, на полотнах Рафаэля и Леонардо да Винчи — мадонны. Но разве мы не понимаем, что «божественные» персонажи и сюжеты этих картин — чистая условность, что человек был героем величайших художников? И короли Шекспира, в общем, того же происхождения, что святая троица Рублева...

Гамлет в исполнении Рецеттера совершенно лишен величественности, приличествующей принцу датскому, во сколько-нибудь этим не «снижен». Он велик уже потому, что противопоставлен не столько злодейству, сколько вполне «приличной» заурядности, выдающей себя за соль эпохи. Гамлет у Рецеттера не просто милый и честный юноша, пришедший в ужас от низости и преступлений Клавдия, а человек высокой страсти, великого ума, опередивший свой век, постигший, что нравственные нормы, представления о доб-

ре и зле, весь строй жизни в том мире, к которому он принадлежит, несостоятельны. Сам здравый смысл эпохи неразумен и подал. Вот почему такое значение Рецеттер придает Половию, которого он сыграл блестяще, — это, на мой взгляд, удача принципиальная и не меньшая, чем Гамлет.

Половий — олицетворение «здорового смысла» венавистного Гамлету века. Этот «вертлявый, глупый хлопотун», выступающий в трагедии все время как наставник, — фигура не смешная, а злобешая. Клавдий для Гамлета, как только он убеждается, что дядя — злодей, убийца, не противник — скорее цель: ведь Клавдий должен быть осужден даже тем моральным кодексом, полную несостоятельность которого так явно ощущает Гамлет. Половий же и после смерти остается противником Гамлета, потому что с точки зрения того же кодекса он вполне добродетелен, больше того, мудр, так как знает, «как жить». Лишь Гамлету дано понять, что этот, мы бы сказали, обывательский «здравый смысл» и порождает злодейство, что благодаря этим «добродетелям» и процветает порок.

Гамлет Рецеттера не только умен и бесстрашен в своем стремлении увидеть мир таким, каков он есть. Он щедр сердцем, он отзывчив к тем людям, которые, кажется ему, способны его понять... Вот он с Горацио, с актерами, первая встреча с Розенкранцем и Гильденстерном — эти широко распростертые, словно для объятия, руки, эта удивительная «распахнутость» души! Впервые наполнилась для меня таким глубоким смыслом одна из последних реплик Горацио: «Разбилось сердце редкостное». Разбилось в столкновении с жестоким и несправедливым веком, который уже изжил себя. Это трагедия человека, который, опережая время, несет в себе новый нравственный мир. «Ах, если б только время я имел... я столько бы сказал...» — эта фраза Гамлета, которой обычно не придают значения, вдруг оказалась ключевой...

Это был один из самых интересных шекспировских спектаклей, которые я когда-либо видел. И я не могу не рассказать о том, что я узнал после спектакля.

Владимиру Рецеттеру двадцать девять лет. В 1960 году он в Ташкенте окончил театральный институт, а за три года до этого — факультет журналистики (он и стихи пишет, одно из его стихотворений было напечатано в апрельском номере «Юности» — кстати, оно навеяно работой над образом Гамлета). Еще до окончания института был принят в Ташкентский русский драматический театр имени Горького, там впервые сыграл Гамлета. В 1962 году, после гастролей этого театра в Москве, был приглашен в Ленинградский Большой драматический театр имени Горького. Мне удалось повидать его на сцене и этого театра, и я мог бы сказать, что еще раз убедился, как талантлив Владимир Рецеттер. Но я не ходил проверять себя, потому что такие удачи, как сыгранный Рецеттером Гамлет, случайными не бывают.

Л. ЛАЗАРЕВ

— 222 —

ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ!

К 90-летию со дня рождения С. Т. Коненкова

В статье «Думы скульптора» старейший деятель советского искусства Сергей Тимофеевич Коненков писал:

«Молодость для художника не возрастное понятие. Художник должен быть всегда молод. Эта молодость не приходит, ее надо завоевать».

На всем белом свете вряд ли кто-нибудь сейчас может произнести эти вещи слова с большим правом, чем сам Сергей Тимофеевич. Ему исполнилось девяносто лет. Три четверти века он работает в искусстве. Но замечательный русский ваятель поистине завоевал нескончаемую молодость. Это можно сказать с полной уверенностью, без всяких скидок на юбилей. Ведь всякий, кто посетит мастерскую скульптора в эти дни, убедится собственными глазами, что она сплошь заставлена недавно выполненными или еще находящимися в работе произведениями. Что же может быть более бесспорным доказательством прекрасной, полной сил юности 90-летнего художника?

Искусство Коненкова всегда было полно сверкающей, молодой энергии, вдохновенной, яростной целеустремленности. Он и начинал, как дерзкий новатор, смело и решительно идущий к правде художественного образа. Уже его академический диплом «Самсон» 1902 года вызвал целую бурю. «Он весь был протест, весь — гниль силе», — писал современный критик. «...Это была революция!»

Одним из постоянных источников коненковской творчества является мир русского фольклора, народной фантазии, который скульптор — сын крестьянина — знал и любил с детских лет. В огромной серии деревянных скульптур он воспедал предания родных лесов и полей, показал былинных богатырей и своих современников-крестьян во всей гордости их безотрадной судьбы. В руках Коненкова дерево обрело великодушную, тончайшую выразительность, дыхание живой плоти. По словам А. С. Голубкиной, Коненков «так сроднился с деревом, что кажется, что он не работает, а только осво-

бождает то, что заключено в дереве».

Впрочем, и мрамор и бронза столь же послушны замыслам Коненкова. Взгляните, например, в Третьяковской галерее на такой шедевр, как «Сон». Эту скульптуру не только видишь, но и «слышишь»: ее ритмы так певучи, ее гармония так мелодична, будто зазвучала дивная музыка.

С первых же дней после Октября С. Т. Коненков — один из активнейших строителей новой, советской культуры. С присущей ему страстной энергией и работоспособностью он участвует в осуществлении знаменитого ленинского плана монументальной пропа-

ганды, находилась и монография, посвященная С. Т. Коненкову.

На протяжении последних десятилетий Сергей Тимофеевич работает во многих жанрах, больше всего в области портрета и монументальной пластики. За свой «Автопортрет» 1954 года Коненков был удостоен Ленинской премии. При всей своей глубочайшей жизненности «Автопортрет» приподнят над будничным бытием, представляет собой широко типизированное обобщение, образ художника-современника. Художник-гражданин, мудрец, слышащий голос времени и отражающий его в своем творчестве, — таков этот «Автопортрет».



С. Т. Коненков в своей мастерской.

гажды. Владимир Ильич дважды выступал на торжественном открытии созданных Коненковым памятников — мемориальной доски на Сенатской башне Кремля «Павшим в борьбе за мир и братство народов» и скульптурной группы «Степан Разин со своей дружиной». Любопытно, к слову сказать, что среди книг личной библиотеки

Такого и все искусство Сергея Тимофеевича Коненкова, крупнейшего скульптора XX столетия, гордости нашего народа, нашей художественной культуры.

Это искусство обладает обаянием и силой вечной молодости. Поэтому оно и принадлежит векам.

К. МИХАЙЛОВ

МЫ СОЧИНЯЕМ СТИХИ...



Мы с Нинитой долго были соседями и даже дружили. Только иногда мне казалось, что для своих неполных пяти лет он какой-то слишком воинственный и даже немного кровожадный.

Часто из его комнаты до меня доносились вопли или злобещий шепот. Это он ломал свои игрушки и приговаривал:

— Они на-а-а навалились, на-а-а оторвали у него все ноги, а он как вскричал, как схватил кубик и стал его душить... Они все сразу его окружили и стали тогда в него стрелять, а он выхватил саблю и всех их тогда убил!..

Однажды, когда он вопил слишком громко и никто не мог его утихомирить, я вошла и сказала:

— Ниню, ты можешь мне помочь?

— Могу, — ответил Никита, отрывая у жирафа еще одну ногу. — А что тебе нужно сделать?

Я сказала первое, что мне пришло в голову:

— Нужно, чтобы ты написал стихи.

— Зачем же их писать? У меня тысяча стихов в книжке. Сейчас я тебе их дам.

— Нет, мне обязательно надо, чтобы ты их сам написал.

— Ну, ладно, тогда давай скорей.

— А разве ты умеешь?

— Конечно, умею, это очень просто: сначала делают обложку.

Ну что ты? — удивилась я. — Сначала идут и редактору. Это я точно знаю.

Но все-таки мое предложение ему понравилось, и с тех пор мы стали сочинять стихи.

— Рина, ты свободна? — вырвался ко мне Никита. — Я уже придумал название: «Зима». Только у меня нет еще «рихмы».

Мы сядились и начинали сочинять. Иногда все складывалось сразу, и находились «рихмы», и мы оба были довольны. Иногда мы спорили и ссорились.

— Но нет, так не пойдет, — говорил он.

— Ну, а это уже совсем нигде не годится! — говорила я возмущенно. — Как это может быть: «Иду я, видно, в валенках по горбе ледяной»?

Сочинять нам приходилось довольно редко. Мы оба были заняты люди, а кроме того, иногда он заявлял мне:

— Слушай, я сейчас уйду к бабушкой гулять, а ты пока садись и сочини мои стихи.

Когда у нас на разных листочках было уже целых два стихотворения, Нинита спросил:

— Ну что, уже можно идти к редактору?

— Мне кажется, еще рано, — уклончиво ответила я.

Сейчас Нинита — уже серьезный человек. Он живет в новом доме, он уже во втором классе. У него нет времени не только писать, но и читать. А я некоторое время после его отъезда еще продолжала по инерции сочинять его стихи.

А недавно я нашла наше полное собрание сочинений и отнесла его и редактору.

Мои стихи

От медведя до блохи
Все поместится в стихи:
Маленькие мошки,
Чистые окошки,
Голубые птички,
Валенки и спички.
Захожу — на этой строчке
Помещу четыре бочки.

Прогулка

Вышли мальчик и папа,
На улице стали гулять.
На папе меховая шляпа.
А дома у папы кровать.
Вот оба идут по дороге,
И папа идет позади,
Ребенки быстрые ноги
Уводят его впереди.

Осень

Стоят рядом два клена,
Лист красный, лист зеленый,
Окончилось лето.
И все — другого цвета.

Космонавт летит

Гагарин над Землей летит,
Где тишина и тьма,
Ракета кружит и кружит
И ввысь летит сама.
А на Земле-то люди ждут,
Волиуются, кричат:
Хотим, чтоб был скорей он тут, —
И в телевизоры глядят.
Не скрылось солнце за горой,
Как вот летит герой.
Гагарин снова на Земле,
И он в Кремле.

Слон

Однажды мне приснился сон,
Как будто к нам явился слон.
Вот он вошел, вот сел на стул,
Потом вздохнул, потом уснул.

И вот слону приснился сон.
Как будто к нам явился он.
И видит он: кровать стоит,

А на кровати мальчик спит.
А этот мальчик — это я,
А слон — фантазия моя.

Кузнечик

Лети скорей подальше,
Кузнечик молодой,
Скорей лети подальше,
Скорей к себе домой.

Тут много птиц летает
И на тебя глядят,
И ведь никто не знает,
Когда его съедят.

Гроза

Пришла гроза, дрожали ветки,
Звонился стекла, дребезжа.
Белье промокло у соседки
От чрезмерного дождя.





Лариса ЛАТЫНИНА

Моя гимнастика

НЕМНОГО ПОЛЕМИКИ

Одна из наших известных спортсменок (не стану называть ее фамилию) как-то заявила:

— Хорошо гимнастам: им за выступление на Олимпийских играх дают сразу по несколько медалей.

Высказала она свою мысль не с глаза на глаз, не в узком кругу, а во время публичного выступления перед большой молодежной аудиторией.

Следующей выступала я. И вынуждена была ответить ей. Наверное, сделала это не очень вежливо. Я сказала:

— Никто не мешает легкоатлету завоевать на Олимпиаде тоже несколько медалей: скажем, в двух спринтерских дистанциях и в прыжках в длину. Ведь так когда-то сделала Джесса Оуэнс, присвоившись, кстати, к этим трем золотым медалям еще и четвертую — в эстафете. Солидный «набор» завоевала в Риме и «черная газель» Вильма Рудольф...

Обидно мне было в тот вечер слушать выступление нашей заслуженной спортсменки. Никому не придет в голову считать единым видом, скажем, разом все спринтерские или стайерские дистанции или различные легкоатлетические прыжки — в длину, в высоту, тройной, с шестом. А ведь они ближе друг к другу, чем, допустим, волновые гимнастические движения и упражнения на разновысоких брусьях.

Многие зарубежные спортивные деятели никак не могут примириться с тем, что советские гимнасты на олимпиадах «зарабатывают» львиную долю медалей. «Как же так? — говорят они. — В футболе всей команде-победительнице олимпиады дают одну медаль, а какой-нибудь гимнаст украшает себя сразу несколькими...»

Но постараемся же в таком случае быть логичными до конца. Попробуем считать, ну, если не всю легкую атлетику, то хотя бы часть ее, скажем, прыжки, или бег, или метания, одним видом, за успех в котором награждают одной «комплексной» медалью. Создадим пловцов-многоборцев, равно способ-

ных состязаться и в кроле, и в брассе, и стилем «дельфин», и на спине. Пусть лыжник-гонщик овладевает также и салаомом, а фехтовальщики всех родов оружия участвуют в совместных схватках. Разве не логично?

Видите, куда может завести логика, если исходить из абсурдной посылки.

В женской гимнастике четыре снаряда, у мужчин даже шесть. Есть спортсмены, успешно выступающие только на одном-единственном снаряде. Что же, не считать их гимнастами, не присуждать медаль за победу? А раз надо награждать за один снаряд, то разум подсказывает, что победа на другом снаряде — это вторая победа, и никак не меньше. И так далее...

Я, кажется, увлеклась спором. Увы, это, впрочем, часто со мной бывает, но вы, я думаю, спуститесь специальную сторону вопроса, уловив главное: гимнастика удивительно многообразна. Она охватывает огромное множество движений. Наверное, каждое доступное человеку движение с полным правом может считаться гимнастическим.

Бегун бежит. В гимнастике тоже есть спринтерская прямая — в опорном прыжке. А кроме опорного, есть и всякие другие прыжки, в том числе и такие сложные, как, допустим, сальто... Гимнаст в стойке выжимает (точнее, отжимает) собственный вес, то есть делает то же, что и штангист, только, если можно так сказать, в «обратной позиции» — вверх ногами. А кроме того, гимнаст проделывает многое такое, что ни бегуну, ни прыгуну, ни тяжелоатлету даже не снилось. Произвольная, то есть самостоятельная составленная, программа мастеров-гимнастов бывает подчас настолько изобретательна, что даже специалисты разводят руками: на своем долгом веку они такого не видели. Они даже не подозревали, что можно изобрести такое. (Впрочем, можно выдумать телегу и о пяти колесах. Не всякое изобретение, как говорится, «в строку». Об этом я скажу позже.)

Спорт расширяет границы человеческих возможностей. Каждый рекорд — это очередной рубеж физического совершенства. Человечество вместе с Брунелем стало прыгать в высоту на 2 метра 28 сантиметров. Оно стало выноснее вместе с Куцем, Болотниковым и Абебе Бикилай. Человек в двадцатом веке бежит и плавает быстрее, чем делал это в девятнадцатом. Это доказано. Рекорды первых Олимпийских игр современности находятся где-то на уровне теперешних третьих спортивных разрядов. Их повторяют тысячи и миллионы. А ведь и тогда, в конце прошлого века, рекордсмен казался уникальным, одиозной, а показанный им результат — недостижимым.

Так вот и гимнастика расширяет границы возможности. Она открывает каждый раз новые движения и делает доступными самые сложные. Двойное сальто, например, еще не столь давно считалось смертельным трюком. Его выполняли в цирках мира артисты-одиночки. И каждый выход мастера сопровождался трагическим барабанным боем. А сейчас двойное сальто стало непременным элементом выступления любого классного акробата. Акробатика — это часть гимнастики.

Свой «рекордный трюк» есть в арсенале у каждого гимнаста-мастера, но далеко не всегда он стремится продемонстрировать его. В гимнастике особенно важно выполнять не «что», а «как». Именно в этом «как» таится искусство.

Красота гимнастики и в сложности движения, но прежде всего в четком его выполнении. В том, что называется «подачей на зрителя». Тысячу раз (не меньше!) отрабатываясь на тренировках какой-ни-



Нужно обладать большим умением, чтобы приземлиться точно на узкую полоску гимнастического бревна.

будь элемент, а повторить его в тысячу первый раз, но уже «на зрителя», и все точно вновь, будто только что сам этот элемент придумал.

Такова гимнастка — всеобъемлющая, неожиданная, остроумная. Ты репетируешь долгие месяцы и однажды выходишь на помост — на сцену...

ТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В спортивном зале во время соревнований я чаще бываю зрителем, чем участницей. «Отработаешь» свое и сидишь до следующего выступления, смотришь. И оцениваешь, конечно. Во мне, где-то внутри, навсегда засел маленький дотошный судья. Он все время подает свои реплики. Вот, например, он считает, что выступающей сейчас гимнастке надо поставить не больше восьми с половиной баллов... Почему? Ведь только что спортсменка выполнила такой элемент, который я еще никогда не делала, — «суперэлемент», находка, трюк, одним словом...

Я уже говорила, что никакое головоломное трюкачество не заменит точности и чистоты движения, того, что мы называем гимнастической культурой, школой. Сейчас многие гимнасты стремятся «удивить» публику. Из кожи вон лезут, изошряются кто во что горазд. Накрутит спортсмен на снаряде что-то «этакое», замысловатое, что и уследить невозможно, — удивил! Летит в соскоке прямо на голову с тем, чтобы в последний момент удачно перевернуться и приземлиться благополучно на ноги — охля! удивил много болельщика. А судьи на это смотрят более

трезво, разве что удивляясь той небрежности, бестолковости, с какой был выполнен трюк.

Как-то на международных соревнованиях гляжу я: «навертела» гимнастка что-то непонятное на верхней жерди разновысоких брусьев, лягнулась животом на нижнюю жердь, да так плотно, что вес снаряд ходуном заходил. Понимаю — гимнастке не больно, потому что она, наверное, сто раз на тренировках повторила этот свой «ляп», и все равно вздрогнула от неприятного ощущения в собственном желудке. Вот вам и «эстетика!» Вот и «красота» движения, к которой призвана стремиться гимнастка!

Вспоминаю встречу гимнастов СССР — США в 1961 году. Какие только каверзные номера не исполняли наши соперники! Думаешь: вот-вот убьется... А все это не от силы, а от слабости. Летит какая-нибудь гимнастка со снаряда «крабом»-раскорякой и горда: «такой» соскок умеет! Но разве это называется «уметь»? Вот и ставят строгие, но справедливые судьи низкую оценку.

Я уважаю строгих судей. Они требуют от гимнаста «полноты знания», подлинной культуры движений, венцом которых может, конечно, явиться какая-нибудь неожиданная новинка, трюк, если хотите, но не случайный, не выхваченный наугад, не облюбованный только за свою эффектность.

Говорят, если зайца бить, он и спички научится зажигать. Гимнаста без подлинной культуры движения выдает даже миника. Перед кульминационным, «решающим» элементом лицо его становится напряженным: ведь все прочее, что он проделывал до сих пор легко и весело, — только «гарнир». Чувствуешь: свой трюк такой спортсмен готовил тайно от партнеров, десятки раз рисковал, запирался в зале на сутки, «обрекая», таким образом, себя на тренировки, забываю, что спорт — это радость, что он служит здоровью, молодости.

Посмотришь на девушку-гимнастку, злоупотребляющую специальной тренировкой, — оторопь берет: широкие плечи, спина горбится от обилия мышц. Увлекаются, на мой взгляд, такой силовой нагрузкой, в частности, наши подруги — некоторые гимнастки ГДР.

Я за радостный, веселый спорт. Конечно, тренировки — это большой и необходимый труд, но иной раз труд при этом понимают как нечто тягостное. А любящая работа не в тягость, а в радость. И если вам не нравится гимнастика, то сразу бросайте ее. Есть много других замечательных видов спорта. Выбор велик. Ищите себе по душе.

Я — за «Модартова» и в спорте, хотя понимаю, что упорные, одинокие в своей мучительной неразделенной любви «Сальери» тоже бывают. А так как я не верю в версию отравления Модарта, то не скрою, уважаю Сальери. Он труженик, хоть и бесталанный. В спорте тоже бывают такие. Иногда ступенька за ступенькой они добиваются и до вершины... (Я опять пытаюсь с кем-то полемизировать, хотя со мной никто не спорит. Увы, таков мой характер, ничего не могу поделать.)

А сказать я хотела несколько слов всего-навсего о тренировке.

Ко мне подходит в зале подруга.

— Ой, что-то ты, Лора, разучилась... Совсем «наскока» нет.

Тут я начинаю злиться. Ну как я объясню, что «наскок» мне сейчас не к чему, я отработываю другую часть прыжка — приземление. И вообще я была сосредоточена, ничего вокруг не замечала, чувствовала вдохновение, и...

Уже давно мой тренер Александр Семенович

Мишаков доверяет мне и даже настаивает, чтобы я подыгрывала его как можно реже. — Ты уже большая, — говорит он и при этом улыбается.

Я и сама понимаю, что чувствовать себя «большой» даже интересно. Каждый раз сама себе ставишь задачу. Делашь и тут же оцениваешь себя со стороны...

«Э, так дело не пойдет, — думаю. — Легкости не вижу...»

Очень интересно, как в подобном случае сливается личное ощущение с воображаемым видением.

«Сейчас на тебя, Лора, приятно смотреть», — говорю я себе, когда чувствую внутреннюю легкость. Но, конечно, такая легкость не приходит сама.

Мне рассказывала однажды знакомый молодой поэт, как он пишет стихотворение. Сначала оно является ему в голову сразу, целиком. Все так просто и ясно, что хочется немедленно схватить перо. И он берет это перо и кладет перед собой чистый лист. И тут-то, оказывается, ничего не ясно и, во всяком случае, совсем не просто. Слово не лезет в строку, а строка не хочет рифмоваться с соседней. Оказывается, сделать то, что понятно тебе, понятным для других очень трудно.

Я уже сейчас мысленно вижу свою будущую (конечно, замечательную!) произвольную комбинацию. Она возникла в моем воображении целиком — логичная и законченная. Затем ее придется расчленить на части — на элементы, отдельные движения. Это уже менее приятно. Затем каждый элемент надо повторить тысячу раз...

Бросила бы все это, если бы в моем воображении не жила бы постоянно вся композиция — изящная и законченная.

БЕЗ ПРОГНОЗОВ

Предсказать без труда можно только одно: борьба двух сильнейших гимнастических держав — СССР и Японии — на близких уже Олимпийских играх в Токио достигнет небывалой остроты и напряжения. Встретятся, по сути дела, две мировые школы в гимнастике: советская команда продемонстрирует стиль, отточенность движений; японцы покажут необычайные, невиданные дотоме элементы.

Спортивная печать всего мира уже давно говорит о «секретном оружии» японских гимнастов. Их подготовка была окружена особой тайной. Еще в марте этого года главный тренер команды господин Тосихико Сасано отказывался давать какое-либо интервью. Но уже месяц спустя он устроил показательные выступления своих питомцев, заявив, что теперь зарубежные спортсмены просто не успеют пережить новые упражнения: слишком мало времени осталось до начала игр.

Такое самоуверенное заявление прежде всего рассчитано на психологическую «обработку» специалистов по гимнастике и будущих судей. Им внушается, что они увидят нечто чрезвычайное, им как бы заранее советуется настроиться на повышенную оценку. Так, спортивный комментатор агентства Киодо Цуси писал: «Трудность этих упражнений выходит за рамки человеческих возможностей». Сосок с перекладина сравнивают с падающим в штопор самолета. В волновых упражнениях обещают целый каскад сальто. Ямасита — автор оригинального опорного прыжка — на последнем первенстве мира в Праге еще более усложнил свою новинку: теперь он проделывает некий «горизонтальный» штопор...

Думаю, что это интересно. Но, впрочем, далеко не все так уж ново. Многие мы видели раньше при встречах с японскими гимнастами, А на Олимпиаде

посмотрим, не забыто ли главное — высокое искусство движения.

Я говорила до сих пор о мужской гимнастике. «Экстра-новостей» в выступлениях японских женщин как будто не ожидается. Но не думаю, чтобы это ослабило интерес зрителей к состязаниям. Как и на прежних олимпиадах, монолитно выступит советская сборная. Не делая прогнозов, замечу лишь, что больше всего я «опасаюсь» своих подруг по команде — Софию Муратову, Тамару Манину, Полину Астахову. Это сильные спортсменки, идущие без срывов от снаряда к снаряду. У Полины когда-то отставал опорный прыжок. Теперь она смело может рассчитывать в этом упражнении на высокую оценку.

Искреннее восхищение вызывает у меня ветеран нашей команды Соня Муратова. Еще десять лет назад она выиграла первенство Союза, но и поныне считается одной из претенденток на золотые медали Олимпиады. Поистине нестарующий талант!

Помню я и еще об одной гимнастке — чешке Вере Чеслауска. Свое выступление она строит, как правило, из обычных элементов, но выполняет их необычайно лихо. Темп, энергия, какая-то бьющая ключом молодость — вот «козыри» этой неоднократно моей ближайшей соперницы.

Токийские игры — третьи в моей спортивной жизни. Вообще же мне «крупно везло» четыре раза подряд: дважды я была абсолютной победительницей олимпиад и дважды выигрывала первенство мира, которые тоже проходит раз в четыре года. Теория вероятностей подсказывает, что шансов победить на этой Олимпиаде у меня чрезвычайно мало. Но я тренируюсь, то есть делаю все для победы.

— Тебе легко, — иногда говорят мне подруги. — К тебе судьи привыкли...

Но это имеет и отрицательную сторону. Зрителям (а судьи тоже в некотором роде зрители) всегда хочется видеть успех неизвестной дотоме спортсменки. Надоедают примелькавшиеся имена. И это в какой-то степени может повлиять на субъективное впечатление, от которого в гимнастике отчасти зависит оценка.

Вывод один: выступить надо лучше, чем когда-либо прежде. А генеральную репетицию своего будущего олимпийского выступления я провела еще в прошлом году. И именно в Токио — олимпийской «столице». Организаторы Олимпиады пригласили тогда на Международную спортивную неделю сильнейших спортсменов из многих стран. Это были как бы «малые Олимпийские игры». Нам были розданы анкеты: что понравилось нам в Токио, что мешало, что бы мы посоветовали. Чувствовалось, что хозяева Олимпиады серьезно относятся к своей миссии.

А мы сделали кое-какие выводы для себя. Учли, что влажный и жаркий климат Японии может подействовать на нас расслабляюще. Поняли, что последние тренировки перед Олимпиадой надо проводить на востоке нашей страны, чтобы как-то скрадывалась разница в суточном времени между Москвой и Японскими островами. Увидели своих соперников.

Я называла лишь основных претендентов на медали. А знаете, свет от вновь родившейся звезды доходит до нас через длительный промежуток времени. Кто знает, не родилось ли уже где-нибудь новое гимнастическое «светило»?

И, безусловно, скажут еще свое веское слово наши более молодые спортсменки — белоруска Лена Волчекя, киевлянка Лида Лабунец, Тамара Люкина из Воронежа, грузинка Мзия Ниношвили, москвичка Лена Тяжелова. Я назвала их по алфавиту, потому что кто знает, в каком порядке они выступят на Олимпиаде!.. Подождем — увидим. Уже немало.





Талки Талкиной

ВННМАННЕС

Сегодня на страницах «Пылесоса» выступает ателье Галки Галкиной.

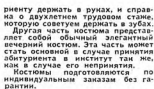
Ателье разрабатывает новые модели одежды, предназначенные для работающих, учащихся и отдыхающих, а также для неработающих, неучащихся и неотдыхающих.

Для последней группы лиц модели изготавливаются из специального материала сатирической окраски.

Несмотря на то, что наше ателье экспериментальное, многие фасоны одежды взяты прямо из жизни.

Авторы представленных образцов — художники-модельеры Иван Бронников и Анатолий Цветков.

Пояснения к костюмам дает директор ателье Галка Галкина.



КОСТЮМ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА,
УВИЛИВАЮЩЕГО
ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



Костюм предназначен для торжественного распределения выпускников института, чтобы разжалобить комиссию, прямо на голое тело надевается

жилетка. В нее легко и удобно можно поплакаться.

Броня носится на два размера шире, чтобы подчеркнуть «худобу» выпускника. Они снабжены большими накладными карманами для справок типа: «Мать — в больнице», «Отец — в командировке», «Дядя — в положении» (большой начальник).

Вместо галстука носится веревка, намекающая, что выпускник свободен на все.

Рекомендуем цвет костюма серый для полной гармонии с личностью владельца.

КОСТЮМ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ТАНЦПЛОЩАДОК

Данный костюм рекомендуется в качестве спецодежды для посещения танцплощадок. Основой костюма является легкий

КОСТЮМ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО
В ИНСТИТУТ

В моду вошел ансамбль несимметричного покроя, состоящий из двух совершенно разных половин — одной и другой. Абитуриент должен подойти к ансамблю таким образом, чтобы тот заметил только одну сторону его костюма.

плу, а с другой стороны, вышита из грубого, промашенного тика. Неслабительно, чтобы в некоторых местах ткань дымилась от трудового энтузиазма. Для законченности ансамбля могут быть использованы накладные мозоли. Неотъемлемой частью костюма являются нарядные, из которых должны торчать выпадать отвертки, гаечные ключи, яловые колёса. Особо тяжёлые детали ансамбля вышиты из пальто-маше. Очень гармонизирует с костюмом снап пшеницы, который мы рекомендуем абиту-



хлопчатобумажный комбинезон, защищающий девушку от ветра, пыли и партнера.

Костюм дополняет брезентовый монтажный пояс, который можно прочно и надежно пристегнуть к ограде, спасаясь от настоящего кавалера.

Изящные альпинистские ботинки предохранят ваши ноги от слушателей «Заочной школы танцев». Головной убор представляет собой элегантный звукозащитный шлем, в несколько раз снижающий шум духового оркестра.

Оригинальным украшением костюма служит смиренность из золотой проволоки, заставляющая партнеров держаться на почтительном расстоянии.

КОСТЮМ БОЛЕЛЬЩИКА



Костюм представляет собой удобный комплект для посещения футбольных матчей и других азартных спортивных зрелищ.

Костюм сделан из водонепроницаемой и водкоотталкивающей ткани.

Основным элементом костюма является грубо-расписная рубашка (на светло-зеленом фоне в беспорядке разбросаны словесные аппликации, выражающие всю футбольную мудрость болельщика).

Брюки цельнокроенные, безразмерные, безманжетные, безкарманные (чтобы по рассеянности не положить в карман бутылку).

Для удобства осмистывания, а также в целях соблюдения этикета костюм снабжен подвесными пальцами.

Дополнением к костюму является элегантный антиударный головной убор, предохраняющий от эмоций вышестоящего (сидящего) болельщика.

ПЛЯЖНЫЙ КОСТЮМ

Костюм разработан ретивыми блюстителями пляжного порядка в целях охраны нравственности купающихся и спокойствия блюстителей.

Пляжный комплект сделан по принципу: «Где бы кто бы что бы когда бы вдруг бы не увидел бы да не подумал бы».

Платье типа «саван» изготовлено из взглядопроницаемой ткани. Одинаково подходит для лиц мужского и женского пола.

Для предотвращения недоразумений пол легко установить по паспорту, который купающиеся обязаны всегда держать в руке.

Отличительными качествами пляжного костюма являются неудобность, незелегантность, несмукость и неумность.

Именно поэтому, мы надеемся, он будет радовать глаз пляжной администрации.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА, СОБИРАЮЩЕГО МЕТАЛЛОЛОМ

Костюм построен по тому же принципу, по которому многие школьники собирают металлолом.

Основополагающей частью костюма является огромный, сверхмощный магнит.

Именно эта деталь позволит объяснить, почему сплошь и рядом нелегальные металлические вещи в глазах школьника становятся металлоломом.



КОСТЮМ ПЕНСИОНЕРА

Костюм изготовлен по особому заказу молодых родственников пенсионера из новой разбачей ткани под названием «Ты БЫ...» («Ты бы пошел, папа...», «Ты бы купил, дядя...», «Ты бы погулял с детьми, дедушка...», «Ты бы сбежал на рынок, прадедушка...»).

С костюмом из такого материала хорошо гармонируют хозяйственные сумки, авоськи, детские коляски, а в случае необходимости — легкий контейнер для мебели.

Хорошим украшением костюма является элегантное седло, которое легко крепится в области шеи для того, чтобы владельцу костюма удобнее было возить всю семью.



В. СЛАВКИН

« СУВЕНИРЫ »



Рисунки И. Оффенгендема.

Когда я объявил, что на будущей неделе выезжаю за границу с группой туристов, среди моих родных и знакомых началось волнение. Каждый спешил первым попросить меня привезти ему какой-нибудь сувенир. Тут только я почувствовал, со сколькими людьми связан узлами родства и дружбы, потому что с каждым часом эти узлы становились все материальнее, и их уже можно было пощупать, как тот галстук, который просил меня привезти мой дядя.

Если бы я захотел удовлетворить все просьбы, мне пришлось бы возвращаться на родину с караваном из сорока двух верблюдов, причем самому ехать на осле, так как в этом караване для меня не хватило бы места. Я, пожалуй, так бы и сделал, но все дело в том, что ехал я не в восточную страну, а на запад, и вариант с верблюдами был малореален.

Но, несмотря на это, караван увеличивался примерно по верблюду в день. Там уже было все: от булавки, на голозке которой выгравированы виды столицы, до макета городской ратуши в натуральную величину. Всем хотелось

получить какую-нибудь безделушку в память о моей поездке.

До отхода поезда оставалось четыре минуты, когда я увидел Люсю. Она бежала по перрону прямо ко мне. Я понял, что пропал: Люсе я не мог отказать. Если бы она сейчас попросила привезти ей щенка с королевской псарни, то все свое зарубежное время я бы провел в приемной короля, пока не добился бы собаки.

Люся приближалась. «Самый лучший способ обороны — наступление», — подумал я и сделал шаг ей навстречу.

— Люся! — сказал я, прямо глядя ей в глаза. — Что тебе привезти?

— Ничего, — ответила Люся.

— То есть как ничего? — растерялся я.

— Так, ничего. Но у меня все-таки есть просьба к тебе.

Я приготовился к самому страшному.

— Прошу тебя, напиши мне письма, — сказала Люся и поцеловала меня в щеку.

Тут раздался свисток тепловоза, и меня втащили в вагон.

Поездка за границу приобретала теперь для меня новый, тайный смысл, о котором я не рассказы-

вал даже самому придирчивому таможеннику.

Как только наш поезд переехал границу, я купил несколько десятков одинаковых конвертов и столько же одинаковых марок. Наклеил марки на конверты, написал на всех один и тот же заветный адрес и опустил в почтовый ящик первое письмо.

Каждый день я отправлял Лусо по три-четыре письма. В них я подробно рассказывал об интересных встречах и любовных общах, о незнакомой природе и своеобразном искусстве, о старинных замках и современных отелях. В конце каждого письма я вставлял несколько слов, которые не имели никакого отношения ни к людям, ни к природе, ни к замкам и касались только нас двоих. От письма к письму этих слов становилось все больше и больше. Скоро они вытеснили все мои зарубежные впечатления.

На пограничной станции я опустил последний конверт с иностранной маркой. В этом письме я делал предложение Люсе.

На родном вокзале меня встречали толпы родственников и друзей.

Поезд еще не остановился, а я

уже объявил во весь голос, что ничьей просьбы не выполнил, никому ничего не привез. Узы дружбы и родства стали слабеть на глазах и за несколько секунд превратились из стальных канатов, притягивающих родственников к моему вагону, в тоненькие ниточки, готовые вот-вот порваться.

Но мне это было глубоко безразлично. Я искал глазами Люсю. Только она была нужна мне сейчас, только от одного ее взгляда зависла моя судьба.

Вдруг я увидел ее. Она стояла отдельно от толпы и даже не смотрела на меня. Больше того, она смотрела на какого-то рыжего парня в очках и разговаривала с ним.

Рассталившаяся дядей, тетей, сослуживцев и одноклассников, я бросился к Люсе.

— Ты получила мои письма? — спросил я, еле переводя дыхание.

— Получила, — ответила она и протянула шестьдесят два моих письма.

Они были не распечатаны. Я похолодел.



— Эта марка, с которой ты присылал мне все свои письма, уже есть в моей коллекции, — сказала она. — Кстати, познакомься с моим мужем.

— Саша. Председатель городского клуба филателистов. — Рыжий парень протянул мне руку. — А вас как зовут?

Я не ответил.

Гр. ГОРИН

"ХАНЖАМ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ!..."

Ханжой у нас не любят. Их не ценят. Их все чаще ругают в газетах. И, хотя ханжой становится все меньше, они по-прежнему наносят большой вред.

Но я их не ругаю и не пишу о них обличительных фельетонов.

Я пишу им письма... Нежные, полные трогательной заботы письма...

Вот одно из этих писем...

«Старшей вожатой Н-ской школы тов. Ханжиковой, которая выгнала со сбора октябрят первоклассника Тихонова Жаню за то, что он задал вопрос: «Откуда берутся дети?»

Уважаемая товарищ Ханжикова! Разделяю Ваше возмущение по поводу провокационного вопроса, заданного Вам семилетним Женей.

Говорят, что когда он спросил Вас: «Откуда берутся дети?», — у Вас на лице было такое выражение, словно Вы сами не имеете об этом ни малейшего понятия.

Я очень сочувствую Вам, ибо на этот и ему подобные антипедагогические вопросы не существует ответов, утвержденных соответствующими организациями.

Поэтому, желая помочь Вам, я предлагаю несколько стандартных ответов на наиболее сложные вопросы октябрят, которые уберут их от пагубного влияния правды...

Вот эти сложные вопросы и несложные ответы.



ВОПРОС ПЕРВЫЙ. Что такое любовь!

ОТВЕТ. Любовь — это вид хорошего отношения к какому-либо предмету. Например, любовь к учителю, вожатому, школе, политтехнизации и т. д. Самая сильная любовь — это любовь к работе! Тут в качестве примера некоторые ваши коллеги советуют привести известные стихи В. Маяковского:

Любить — это значит
вбегать в глубь двора
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой своей играючи



ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •



Г. ГОРОБИЕВСКАЯ.

Судостронтельница. (Гуашь).





Цена 48 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120